ЖАН ЖИОНО

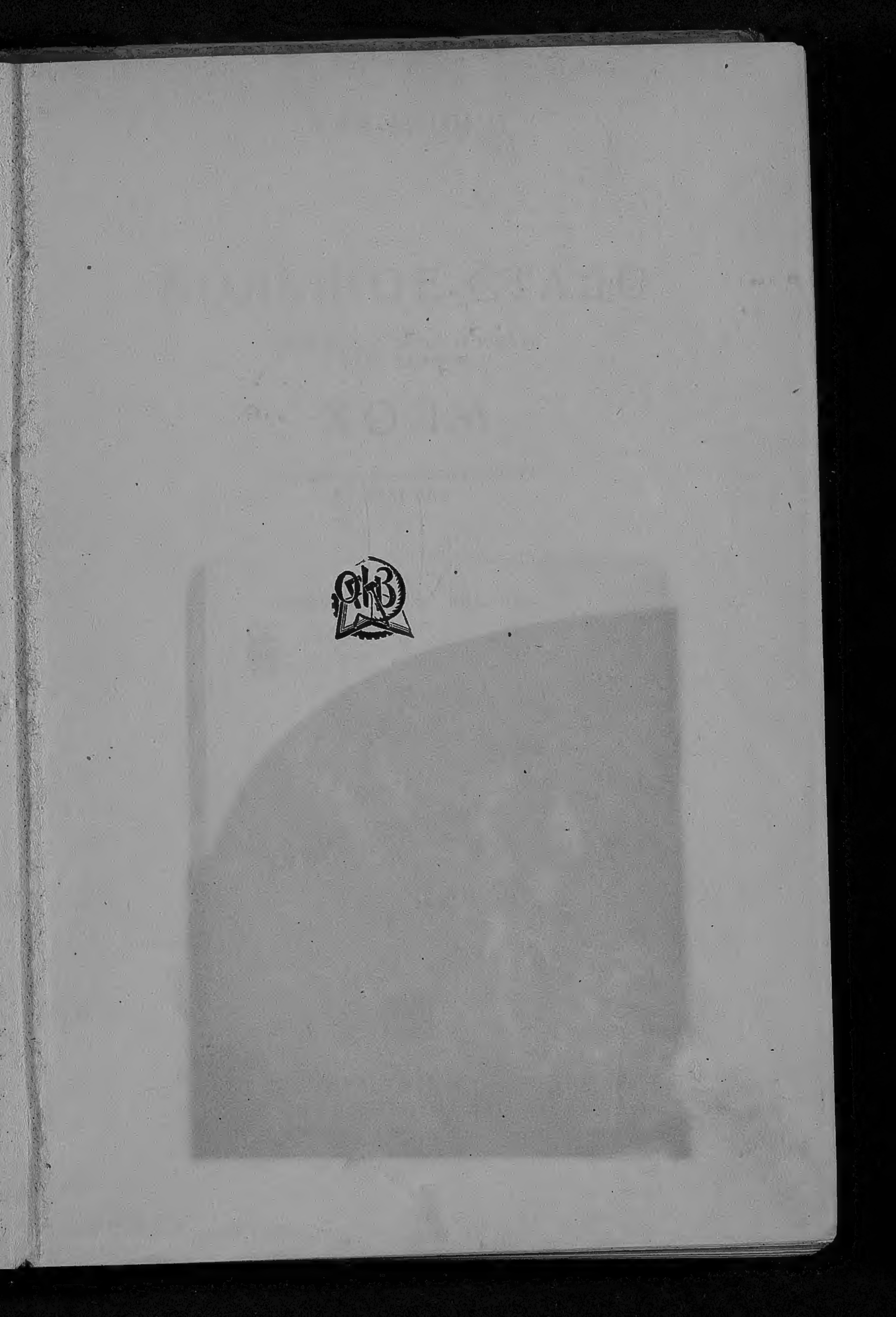


БОЛЬШОЕ СТАДО

ОГИЗ ГИХЛ 1934

Ж. ЖИОНО
БОЛЬШОЕ СТАДО







ЖАН ЖИОНО

БОЛЬШОЕ СТАДО

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
С. Я. ПАРНОК

ХОЛМ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Н. ИВАНОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ Н. ИВАНОВА.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1934 · ЛЕНИНГРАД

8

JEAN GIONO

LE GRAND TROUPEAU

LA COLLINE

АВТОЛИТОГРАФИИ

ОБЛОЖКА и ФОРЗАЦ

В. А. МИЛАШЕВСКОГО

Тип. изд-ва «Крестьянская газета». Москва, Сущевская, 21.

ЖАН ЖИОНО

1

Жан Жионо в самое короткое время — в какие-нибудь три-четыре года — завоевал громкую известность не только во Франции, — а выдвинуться в этой стране при обилии художников слова и ожесточенной конкуренции между ними очень нелегко, — но и далеко за пределами Франции.

Слава пришла к этому писателю с такой быстротой в одинаковой мере благодаря его достоинствам и благодаря его недостаткам: замечательный, необыкновенно свежий и сильный художественный талант соединяется у Жионо с реакционно-утопической философией, на которую в эпоху кризиса капитализма такая мода в широких буржуазных и мелкобуржуазных кругах.

Но в эту реакционную философию вплетаются идеи и настроения, которые проводят грань между Жионо и реакционными писателями фашистского типа. Достаточно сказать, что «Большое стадо» представляет антимилитаристский роман. Жионо осуждает мировую войну 1914—1918 годов, отбрасывает фетиш «отечества», выступает против шовинизма, не проявляет ни малейшей вражды к «бошам» — наоборот.

Правда, антимилитаризм Жионо нас удовлетворить не может: он лишен революционного жала и дальше мелкобуржуазного пацифизма не идет. Но все же по одному этому Жионо не укладывается в русло фашистской литературы, всегда проникнутой воинствующим шовинизмом.

И тем не менее доминирующие линии мировоззрения Жионо глубоко реакционны. Пока, на данном этапе сво-

его творчества, Жионо, несомненно, на девять десятых находится по другую сторону баррикады, как бы он ни протестовал против этого, — а он протестовал против обвинения в крайней двусмысленности классовой позиции, выдвинутого против него в прошлом году в «Monde» тов. Марком Бернаром[1].

Однако в ответном письме Жионо не дал четкой формулировки своей политической платформы и ограничился следующими строками:

«Я никогда ни перед кем ни о чем не ходатайствовал». (Марк Бернар обвинил Жионо в том, что тот ходатайствовал перед министерством народного просвещения о награждении его орденом почетного легиона. Оставляя в стороне вопрос, ходатайствовал Жионо об этом или нет, — факт тот, что французское правительство наградило его орденом почетного легиона, и он принял этот орден.) «Марк Бернар еще не дорос учить меня мужеству. Посмотрим, какое место займет он в рядах в тот день, когда дело будет итти не только о вопросах литературы».

Жионо имел полную возможность уточнить свою классовую позицию, показать, с кем он и против кого, в своем последнем произведении «Жан Голубой»[2], вышедшем в конце 1932 года.

«Жан Голубой» представляет особенный интерес для характеристики Жионо, так как это автобиография, хотя и не доведенная до конца, оборванная на первом годе войны.

Но и здесь Жионо старается обойти острые углы, не излагает своего общественно-политического кредо — и тем не менее полностью раскрывает реакционную сущность своей философии. Автобиография позволяет вместе с тем выяснить классовые корни, проследить генезис мировоззрения Жионо.

2

Лейтмотив философии Жионо — проповедь возврата к природе, отрицание культуры, науки, техники, неверие в силу разума.

---

[1] Статья т. М. Бернара: «Жан Жионо, или чего изволите» («Jean Giono, ou monsieur a sonné»), «Monde», № 217. Ответ Жионо: «Monde», № 218.

[2] «Jean le Bleu». Paris, Grasset, 1932.

Чем ближе человек к природе, к растениям и животным, тем он выше, тем он чище, тем мудрее, тем счастливее.

Ложь цивилизации исковеркала людей, исказила их природу, убила в них радость жизни.

Вместо того, чтобы следовать своим естественным влечениям, люди везде поставили искусственные преграды, выдумали фарисейскую мораль, великий простор жизни разгородили на тесные клетки, омрачили ее солнце, растоптали ее цветы — создали страдания там, где могло бы быть беспредельное ликование.

Где-то далеко в горах есть деревушка Бомюнь, оторванная от всего мира. Она населена потомками сектантов, которых в незапамятные времена — во времена инквизиции — объявили еретиками, преследовали и гнали. Им отрезали концы языков, чтобы они не могли проповедывать свою «ересь», и они бежали сюда, в дикие горы, в необитаемую пустыню, и поселились «на краю голубых пропастей, у щеки неба».

«Десять дворов и тяжкое молчание леса».

Общение с девственной, первобытной природой: ледяное дыхание глетчеров; алые зори, играющие на льдах; прозрачные, как хрусталь, горные потоки; пестрый ковер альпийских лугов, дремучий лес — наложили неизгладимую печать на их душу, сделали ее суровой и прекрасной.

Вдалеке от людей, изгнанные из общества, «они стали дикарями с чистотой и простотой животных», стали ясны и бесхитростны, как дети.

Один из них—герой романа Альбен—спустился с гор и работает батраком на ферме долины.

Весь он такой, каков его край.

«Бомюнь — это хорошо, это прекрасно, это широко и ясно; это из чистого-чистого неба, из добротного тучного сена и воздуха, острого, как сабля».

Все, что делает Альбен, «идет прямо из Бомюнь, прямиком от прекрасных деревьев и прекрасного льда, которым неведомо зло».

Когда Альбен говорит, то как будто ветер шумит, как будто говорят деревья, травы, горы и небеса.

«Сердце его прозрачно и чисто, как лед. Глаза — как вода родника, и смех — как снег».

Чистый, как альпийские снега, близкий к растениям и

животным, Альбен несет в себе настоящую правду, от которой отошли люди долины, — древнюю правду горных высот и дремучего леса.

Альбен мудр, великодушен и добр, потому что он первобытен, как его горы.

Альбен полюбил дочь соседнего фермера Анжелу, но она не откликнулась на его призыв и увлеклась другим — Луи из Марселя, который был весь, как гнилое яблоко, с самого дна портового города, циник и сутенер, и ушла с ним в омут — в Марсель.

Луи тоже такой, как его край.

«В этом деле бились два края, — говорит Альбен: — мой — прямой и здоровый, другой — кривой и с гнилой сердцевиной».

Луи отравлен ложью цивилизации. Луи — порождение города.

В Марселе Луи продавал Анжелу первому встречному. В конце концов она забеременела и с ребенком вернулась домой.

Отец — кряжистый мужик кулацкой складки — запер Анжелу в подвал, чтобы никто не слышал ее голоса, не видел ее «позора». И она месяцы жила с ребенком, погребенная заживо в подземельи, без солнца, без воздуха.

Внук мог бы быть для Клариуса и его жены источником радости, но Клариус уже не может просто относиться к жизни, он уже «тронут культурой»: раб свирепой и лживой морали, он мучает себя, жену, дочь и ребенка.

Альбен освобождает Анжелу с помощью своего приятеля, тоже батрака.

Анжела рассказывает ему всю свою страшную и смрадную жизнь в Марселе: она стала последней из последних. Но Альбен повторяет только, что это его не касается: что было, то прошло; он ее любит; ее ребенок будет его сыном. И они бегут в горы — в Бомюнь.

Реакционность идеологии Жионо в романе «Парень из Бомюнь»[1] бьет в глаза.

Идеализация природы и людей, близких к природе, — идеализация отсталости и дикости.

Жионо ищет правду у первобытных людей, у животных, у леса, у гор. Восставая против лжи цивилизации, зовет не к высшей общественной форме, где эта ложь

---

[1] «Un de Baumugnes». Paris, Grasset, 1929.

будет преодолена, а к полному отрицанию цивилизации. В цивилизации он не видит ничего, кроме лжи. Для него символ ее — Луи из Марселя, порождение ненавистного города.

Ненависть к городу сквозит во всех произведениях Жионо, хотя от изображения города, за исключением автобиографии, он уклоняется и упоминает о городе вскользь.

Город отожествляется с такими отбросами, как Луи. Революционного пролетариата Жионо не знает и не желает знать.

Сам горожанин, Жионо в автобиографии изображает город в самых мрачных красках.

Окно сапожной мастерской его отца выходило во двор, куда никогда не заглядывало солнце. В тот же двор выходили окна бедноты, ютившейся в этом доме. Это почти сплошь люмпен-пролетариат: проститутка, умирающая от голода; уличный акробат, замерзающий в суровую зиму; нищий-паралитик, гниющий на соломе.

Гной и язвы.

Безнадежность.

Дно.

Жионо очень хотел бы изобразить город одной черной краской — зачеркнуть положительное значение городской культуры. Однако это у него не выходит. Он сам себе противоречит. Главный персонаж «Жана Голубого», помимо автора, — его отец. Жионо относится к отцу с безграничным уважением. Это — светильник во тьме. Учитель жизни. Лекарь недугов душевных. Отовсюду, за десятки километров, к нему приходят советоваться в трудные минуты. Человек городской культуры, человек образованный, — он дает сыну читать лучших писателей всех времен, — отец Жионо — живое опровержение философии о лжи цивилизации: кроме «лесной правды» существует, оказывается, другая правда, порожденная городской культурой. Правда отца Жионо, на которой мы потом остановимся, так как она выражает сокровенные убеждения самого Жионо, кажется нам убогой и вредной, но с точки зрения Жионо это высшая правда. Он не сводит концы с концами.

То же самое поэт Франческо Одригано. Это великодушный, благородный, прекрасный человек. Его имеет в

виду отец Жионо, когда советует сыну быть поэтом. И, однако, он меньше всего похож на дикаря.

Но все же и отец Жионо, и Франческо Одригано — только светлые точки на общем темном фоне города.

Отношение Жионо к городу остается резко отрицательным. Он отворачивается от города, не хочет его знать. Этот горожанин делается крестьянским, или, точнее, как увидим дальше, кулацким писателем.

Везде, кроме автобиографии, Жионо изображает только деревню, только крестьян, и притом почти всегда самую отсталую деревню, самых отсталых крестьян. В его романах действие происходит в одних и тех же местах: это — Прованс, предгорье Альп, долина реки Дюранс, синяя громада Люр. В романе «Парень из Бомюнь», как лучезарное видение, встает кроме того далекая Бомюнь, находящаяся в нескольких днях пути, немного ниже линии вечных снегов.

Жионо хочет идеализировать отсталое крестьянство, но на каждом шагу отступает от этой идеализации. Уже в романе «Парень из Бомюнь» показан другой его лик,— великодушию Альбена противопоставлена звериная жестокость отца Анжелы. Жионо сам опровергает свою философию. Он пытается устранить противоречие, подчеркивая «культурность» Клариуса: Клариус поступает с дочерью так потому, что он тронут культурой, а Альбен великодушен, потому что он дикарь. Но это явная натяжка: Клариус по своему культурному уровню нисколько не выше Альбена. И он так же, как и Альбен, постоянно лицом к лицу с природой — среди животных и растений; альпийский воздух веет и в долине Дюранс, где находится его ферма; однако он почему-то совсем иной.

Жионо не видит связи между поведением Клариуса и мелкобуржуазным хозяйственным укладом, построенным на частной собственности на средства производства, — не видит корней этой свирепой морали.

3

Из других романов Жионо по теме, персонажам и настроениям ближе всех к «Парню из Бомюнь» — «Отава» [1].

Снова глухая деревушка — Обиньян, среди лесов, на плоскогорьи Люр.

---

[1] «Regain». Paris, Grasset, 1930.

Она заброшена; проселочная дорога к ней заросла травой; дома полуразрушены. Осталось трое крестьян: Пантюрль — охотник, Гобер — кузнец, но ему уже восемьдесят лет, и его кузница стоит холодная и мертвая, и Мамешь — старуха итальянка из Пьемонта.

Пантюрль сродни Альбену. Он тоже сросся с окружающей дикой природой, но, в отличие от Альбена, Пантюрль физически безобразен.

В образе Пантюрля Жионо хотел воскресить Пана древней Эллады. Он и имя ему дал — Пан-тюрль. «Отава» входит в состав трилогии под общим заглавием «Пан».

От одиночества Пантюрль разговаривает сам с собой, с деревьями, с ручьями, с камнями.

Природа и в него влила ту же силу, как и в Альбена, сделала его таким же чистым и простым, великодушным и кротким.

Возвращаясь вечером из лесу, «Пантюрль чувствует себя точно вымытым... Он весь белый, он весь новый. Он идет по земле с чистым сердцем».

В нем живет та же лесная правда.

Как чуток и добр этот полузверь с виду!

Когда Гобер тоже уходит из Обиньян, чтобы поселиться у сына, он хочет взять с собой наковальню: десятки лет она пела под его ударами, для него это что-то близкое и родное, с чем он не может расстаться. Сын, ожидавший в нескольких километрах с лошадью, называет Гобера сумасшедшим, но Пантюрль его понимает и охотно тащит тяжелую наковальню.

О старухе Мамешь, которая осталась одна, как перст, после того как трагически погибли ее муж и сын, Пантюрль заботится, как о матери. И она называет его «сынок».

После того как Обиньян начинает оживать благодаря Пантюрлю и туда переселяется фермер с равнины, Пантюрль братски помогает ему устроиться, делится с ним всем, что у него есть.

И любит Пантюрль, как Альбен.

Он так же перешагивает через мещанскую мораль; ему так же нет дела до прошлого любимой женщины, которое для другого было бы непроходимой пропастью. У Арсюлы, которая делается потом женой Пантюрля, жуткое прошлое, еще более жуткое, чем у Анжелы.

«Отава», как и «Парень из Бомюнь», — поэма о мо-

гучей силе любви, о великой любви, которая может поднять из бездны и воззвать к новой жизни того, кто, казалось, погиб безвозвратно.

Неиссякаема, неистребима сила жизни, — поднялась отава, снова зацвела жизнь. Пантюрль переживает вторую молодость. Арсюла все равно что воскресла из мертвых. И даже земля, давно заброшенная вокруг Обиньян, заросшая сорняком, затвердевшая, как камень, начала родить: Пантюрль пашет, — Арсюла не может обойтись без хлеба.

И Жионо слагает настоящие гимны этому труду пахаря, озаренному солнцем, над непокорной, но укрощенной землей.

Жионо идеализирует труд крестьянина — мелкого производителя с примитивной техникой — каторжный труд от зари до зари. Пантюрль работает самыми простыми орудиями, и тем не менее (Жионо подчеркивает это) у него родится великолепная пшеница, зерно к зерну, без соринки, «чистая как ключевая вода». На всей ярмарке нет лучше пшеницы.

Пантюрль не нуждается в сельскохозяйственных машинах. Когда на ярмарке говорят, что у него, конечно, есть молотилка, иначе зерно не было бы таким чистым, — Пантюрль с гордостью отвечает, что он молотит цепом, и показывает свои руки: они в струпьях, из ладоней течет кровь.

Автор умиляется над этими руками, умиляется над каторгой.

Идеолог отсталого крестьянства, Жионо проповедует техническую отсталость.

У Пантюрля, хозяйничавшего без книжных мудрствований, по-старинке, уродилась отличная пшеница, а на равнине, где по совету ученых агрономов сеяли зерно, выписанное из Индии, вместо золота спелых хлебов — грязно-желтые поля с плешинами на каждом шагу.

А когда один такой ученый агроном вздумал устроить опытное хозяйство и нанял для этого прекрасную ферму с фруктовым садом, с плодородной землей, то через год у него был пустырь.

— Лучше подальше от ученых господ, — творят крестьяне, и Жионо вместе с ними.

«Пантюрль победил». Он достиг предела доступного человеку счастья.

Узнав о беременности Арсюлы, Пантюрль выходит на пашню и «берет в руки горсть земли — тучной, полной воздуха и обсемененной».

Ему вспоминается прежняя, одичавшая земля.

«Он стоит перед своими полями. На нем широкие пан-талоны из коричневого плиса. Он кажется одетым в ку-сок своих пашен. Вытянув руки вдоль туловища, он не двигается. Он победил — победил окончательно.

Он стоит незыблемо, как колонна, вросшая в землю».

Этим символическим образом заканчивается роман.

Забавное впечатление производит эта попытка дока-зать прочность экономического положения французских крестьян, в огромном большинстве владельцев парцеллы, которая уже к половине XIX столетия «превратилась из условия свободы и независимости крестьянства в причину его рабства и пауперизма» (К. Маркс, «18 Брюмера Луи Бонапарта»), которая «по своей природе исключает: раз-витие общественных производительных сил труда, обще-ственные формы труда, общественную концентрацию ка-питалов, возрастающее приложение науки и ведет к ко-лоссальному расточению человеческой силы, к бесконеч-ному раздроблению средств производства, к возрастаю-щему ухудшению условий производства» (К. Маркс, «Ка-питал», т. III, гл. 47: «Крестьянская парцеллярная соб-ственность»).

И именно деревня Обиньян с истощенной хищнической обработкой почвой, — потому она и заброшена, — явля-ется хорошей иллюстрацией того, к чему приводит вос-певаемое Жионо мелкое крестьянское хозяйство.

Сказки, рассказываемые Жионо, — вода на мельницу буржуазии. — Зачем крестьянской бедноте низвергать капитализм, когда даже бедняк вроде Пантюрля может подняться при капитализме? Не в борьбе за социализм в союзе с пролетариатом, а на базе единоличного хозяй-ства при капитализме завоюет себе крестьянство место под солнцем.

Если бы Жионо действительно был реалистом, имею-щим мужество всегда смотреть правде в глаза, то он дол-жен был бы изобразить «создаваемый мелкой собствен-ностью класс варваров, который наполовину стоит вне об-щества и соединяет в себе всю грубость первобытных об-щественных форм со всеми страданиями и всей нищетой цивилизованных стран» (К. Маркс, «Капитал», т. III, гл. 47).

Грубость и варварство крестьян Жионо изобразил достаточно ярко—и в романе «Парень из Бомюнь» и в других романах, особенно в «Холме». Но нищету крестьян, страдания крестьян, связанные с этой нищетой, эксплоатацию крестьянской бедноты Жионо не изобразил нигде.

В деревне, изображаемой Жионо, классовая борьба отсутствует. Классовые противоречия затушеваны. Господствует полная гармония интересов, по крайней мере экономических.

Кулак не эксплоатирует бедняка.

В «Отаве» рассказывается, как Пантюрль, задумав пахать, пошел к богатому фермеру Амурэ: у того три батрака, несколько батрачек; у Пантюрля нет ни лошади, ни семян. Амурэ дает Пантюрлю лошадь, дает семена — с отдачей из урожая кило за кило. Амурэ не пользуется нуждой Пантюрля; он рад помочь ему; рад тому, что оживает Обиньян. Он посылает с Пантюрлем ковригу хлеба и корзину маслин в подарок Арсюле.

Кулак не эксплоатирует батрака.

У отца Анжелы два батрака; но Филомена, его жена, так заботится о них, так их кормит, что они меньше всего чувствуют себя эсплоатируемыми. Клариус обращается с ними плохо только потому, что у него испортился характер после того, как случилось несчастье; раньше во всей округе не было человека лучше — всякому готов был помочь.

То же самое и в других романах — отсутствие эксплоатации и взаимопомощь крестьян.

И не только в деревне, но и в городе классовой борьбы Жионо «не замечает».

Городская нищета показана, но нищета эта рассматривается как стихийное бедствие, вне всякой связи с существующим экономическим строем («Жан Голубой»).

Беглыми штрихами очерчена начавшаяся безработица, но объясняется она не экономическим кризисом, а сменой времен года — наступлением зимы.

Ни проблеска революционного протеста, ни проблеска революционной борьбы.

На сцене появляется анархист-рабочий, которого укрывает отец Жионо. Но это случайная, эпизодическая фигура, ничего не меняющая в общей картине пассивного терпения, безмолвного страдания.

Жионо смотрит на действительность сквозь классовую

призму. Типичный представитель городского мещанства (его отец — кустарь, мать — владелица мелкого предприятия — прачечной с тремя работницами), Жионо, несмотря на остроту своего художественного зрения, не видит рабочего революционного движения, которое он должен был наблюдать изо дня в день, так же, как не замечает эксплоатации батраков и крестьянской бедноты.

К революционной борьбе — борьбе за социализм — Жионо, несомненно, относится отрицательно, хотя прямо этого не говорит. И прав Марк Бернар, обвиняя Жионо в том, что он «подобно множеству других избегает занять отчетливую позицию перед лицом наиболее неотложных и трагических проблем современности, избегает сказать определенно, в одном ли он ряду с теми, кто бьет дубиной, или с теми, кого бьют, — с теми, кто поддерживает капиталистический режим, который десятки миллионов наших приводит к голоду и смерти, или с теми, которые объединяют свои усилия, чтобы опрокинуть его и заменить лучшим миром, как сделали наши товарищи в России».

К чему сводится главная заповедь отца Жионо? В чем его правда — правда самого Жионо?

«Исцелять, облегчать — в этом все».

Христианское «милосердие». Любовь к «ближнему».

Ни слова о революционной переделке существующих общественных отношений. Вместо революционной борьбы — филантропия, в которой буржуазия всегда видела одно из условий сохранения своего господства.

4

В романах «Парень из Бомюнь» и «Отава» Жионо ответил на вопросы: в чем счастье? что надо делать человеку, как ему построить жизнь, чтобы она стала прекрасной?

В романах «Холм»[1] и «Большое стадо»[2] он, сам того не сознавая, вопреки своим намерениям, показал всю ненадежность, непрочность, иллюзорность своего идеала. Этот идеал зиждется на песке, рассыпается прахом; ми-

---

[1] «Colline». Paris, Grasset, 1929.

[2] «Le grand troupeau». Paris, Gallimard, 1931.

раж, расцвеченный перлами поэзии, рассеивается. Символическая фигура Пантюрля на пашне, казавшаяся такой незыблемой, шатается и падает.

В «Холме» полудикие, темные крестьяне, изолированные от мира, не вооруженные технически, беспомощные перед лицом стихийных сил природы — рабы земли, делаются жертвой призраков, созданных их собственным воображением, кошмаров и ужасов, которыми оно населяет окружающее.

С большой яркостью показано, как возникает религия, как родятся и распространяются мифы; обнажены корни мистицизма — разоблачен мистицизм.

Действие происходит во Франции, в XX веке, но перед нами настоящее средневековье.

Однако надо сейчас же сказать, надо со всей силой подчеркнуть, что в планы Жионо меньше всего входила борьба с мистицизмом — показ той тьмы, которая родится на почве технически отсталого мелкого крестьянского хозяйства, обрекающего на рабскую зависимость от природы и одичание.

До выхода автобиографии Жионо можно было думать, читая «Холм», что автор изобразил здесь мистицизм крестьян, но сам далек от этого мистицизма: слишком дики, слишком чудовищно нелепы суеверия крестьян, составляющие стержень драмы, развернутой в этом романе. К тому же в других романах трилогии нет мистицизма.

Но «Жан Голубой» показал, что Жионо сам в сильнейшей степени заражен мистицизмом.

Закваска дана была ему конгрегационной, руководимой монахинями школой.

«Я чувствовал себя влюбленным, — говорит Жионо, — во все, что касалось потустороннего, влюбленным как в отчизну, как в любимую страну, где обитал когда-то и откуда был изгнан, но которая еще вся целиком живет во мне — с реками, деревьями, холмами».

Жионо рассказывает, с каким экстазом обнимал он статую мадонны, стоявшую во дворе школы.

Отец, отрицательно относившийся к официальной церкви, что не помешало ему отдать сына в конгрегационную школу, также воспитывал его в духе мистицизма. Автобиография пестрит разговорами о боге, которые отец вел с сыном в различные моменты его жизни — и тогда, когда Жионо был уже взрослым.

И семена эти падали на благодарную почву. У Жионо полное единомыслие с отцом.

Особенно любопытен один из их последних разговоров, раскрывающий пантеизм Жионо.

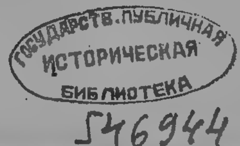
После «Жана Голубого» совершенно очевидно, что хозяин Жионо, конечно, не верит во все, во что верили бастидские мужики, но он верит, что «холмы из плоти и крови», и в «гнев холмов», и в «грозную своей скрытой силой жизнь, которая волнует чудовищное тело земли», и в «великую и злую силу деревьев, животных и камня».

Мистические видения Жанэ о первом дне мира, когда не было срублено еще ни одной ветки и деревья не озирались от страха и руки человека не были в крови, и о грядущем дне, когда «хозяин» созовет все деревья, всех животных и между ними снова воцарятся мир и любовь, — это видения самого Жионо.

И тем не менее «Холм» никого не заразит мистицизмом. Этот роман дает оружие против мистицизма и против хозяйственного уклада, который порождает варварство — переносит средневековье в XX век. Жионо опровергает здесь свои реакционные установки по всей линии. «Лесная правда» находит выражение в казни колдуна. Жанэ, центральная фигура романа, сделанная превосходно, строго реалистически, должен был бы, согласно философии Жионо, походить на Пантюрля и Альбена, быть таким же простым и чистым, как они, — не меньше их он близок к земле. А между тем это «лгун и хитрец»; его индивидуализм — индивидуализм обособленного хозяйчика-собственника — перерастает в чудовищный эгоизм: он хочет потащить за собой «на тот свет» всех остальных, погубить Бастиды, чтобы не умирать одному. «Ты хуже волка»,— говорит Жом, хватая его за горло.

5

В романе «Большое стадо» крестьяне, политически безграмотные и неорганизованные, делаются жертвой империалистической войны. Они безоружны перед лицом капитализма, перед централизованным буржуазным государством. Его рука протянулась к самым глухим деревням, разрушила тихую и мирную жизнь Альбенов и Пантюрлей, камня на камне не оставила от их маленького счастья. Они смотрели не дальше деревенской околицы.



ничего не знали и не хотели знать, отгородились от мира, замкнулись в своей скорлупе — и жестоко поплатились за это.

Они ненавидели войну, которая несла им смерть и разорение, но не понимали связи между капитализмом и войной, о социализме имели самое смутное и извращенное представление, к промышленному пролетариату, гегемону социалистической революции, относились недоверчиво и враждебно — и поэтому не могли найти революционный выход из войны, неспособны были революционным путем разрубить мертвый узел войны.

Большое стадо: крестьян погнали на войну, как баранов. Они покорно пошли и воевали до тех пор, пока им приказывали воевать.

В первой главе бесчисленные отары овец движутся в тучах пыли в знойную летнюю пору непрерывным потоком, устилая дороги выбившимися из сил, истекающими кровью, издыхающими животными. Их гонят с альпийских пастибщ на бойни — после объявления войны.

В предпоследней главе, которая так и называется «Большое стадо», изображено такое же необозримое стадо в солдатских шинелях — французов, англичан, бельгийцев, так же измученное бесконечными переходами, так же оставляющее падающих от усталости на пути, и это людское стадо тоже идет на убой, в атаку, под ураганный огонь артиллерии и пулеметов, готовый пожрать его.

Чтобы подчеркнуть сходство, здесь повторены даже некоторые детали первой главы: там пастухи играют на волынках, чтобы подбодрить овец, — здесь перед английскими полками идут музыканты с волынками и играют до тех пор, пока шаг солдат не делается тверже и увереннее; там падает окровавленный баран-вожак, — здесь капрал, тоже в крови, грохается на землю и остается лежать без движения, и т. д.

Жионо опровергает сказки империалистов о патриотическом подъеме крестьянских масс, поднявшихся на защиту «отечества» против вторгшихся в него «бошей».

Крестьяне в тылу и на фронте относились иронически к патриотической шумихе и хотели окончания войны во что бы то ни стало, какой угодно ценой. После разгрома французских войск у Кеммеля — Оливье, один из главных персонажей романа, и его товарищ выражают наде-

жду, что, может быть, теперь все кончится и их отпустят домой. Меньше всего они думают о войне до победного конца.

Жионо показывает, что крестьяне на фронте и в тылу не питали никакой вражды к «бошам». Отношение солдат к пленным — братское. В деревне к пленным относятся, как к своим: это такие же крестьянские парни, и притом прекрасные работники, заменяющие тех, кто на фронте. Да и они чувствуют себя, как дома. Национальная вражда искусственно раздута.

Те же настроения повторяются и в автобиографии.

Жионо говорит о своем приятеле, что его сначала обманули призраком Франции, а потом убили. Немец, который его застрелил, не виноват: его тоже обманули призраком Германии.

В «Большом стаде» с огромной силой, может быть не превзойденной во всей мировой литературе, изображена работа чудовищной мясорубки — машины мировой войны. Ни героев, ни подвигов, о которых трубила буржуазная пресса, — одно только жалкое пушечное мясо, расстреливаемое на расстоянии нескольких километров тяжелой артиллерией и на более близком расстоянии, иногда почти в упор, пулеметами и вслед за тем превращающееся в гниющую падаль, от которой струится тошнотворный, приторно-сладкий запах и над которой вороны, крысы, черви справляют свой пир.

Отношение крестьян к войне — отношение к войне самого Жионо — резюмирует один из пастухов, гнавших отары овец, тоже очутившийся на фронте.

«Зря пропадает жизнь... (Пастух повторяет фразу, произнесенную им, когда он смотрел на проходивших овец.) Зря пропадает жизнь... Как будто кто-то ходит по гроздьям винограда ногами, облепленными навозом... Дороже всего, понимаешь ли, дороже всего жизнь человека с ее радостями... Строить жизнь — и ничего больше, чувствовать, как она растет, чувствовать в ней опору, — это и только это...»

Солдат-пастух, устами которого говорит Жионо, протестует против войны во имя жизни, бессмысленно уничтожаемой войной. Жизнь — высший закон бытия. Нет ничего выше и прекраснее жизни. Страстная, можно сказать — зоологическая, стихийная любовь к жизни пронизывает все произведения Жионо. Он любит все, в чем

трепещет, искрится, переливается через край жизнь, все, в чем бродят ее соки, будь это человек, баран, дерево — все равно.

Война 1914 — 1918 годов осуждается независимо от ее целей, не потому, что это империалистическая война, а потому, что это смерть и разрушение. Осуждается всякая война. Жионо не понимает, что только революционная война может положить конец войнам, что знамя революционной войны необходимо поднять именно во имя жизни, во имя ее безграничного развития и расцвета.

Сущность империалистической войны не понята. Ее корни не вскрыты. Революционные выводы из нее не сделаны.

В силу своей мелкобуржуазной ограниченности и враждебности социализму Жионо и его крестьяне хотят уничтожить войну при сохранении капитализма, порождающего войны. В «Большом стаде» как и в других романах, нет ни намека на критику капиталистической системы. Жионо ухитрился разрешить мудреную задачу: написать роман против мировой войны, не затрагивая империализма. Он не дал ответа на вопрос, поставленный заглавием романа: если крестьяне, если народные массы превращены существующим экономическим и политическим строем в «большое стадо», которое гонят на бойню, то не следует ли отсюда, что этот строй должен быть уничтожен и заменен другим?

«Строить жизнь — и ничего больше, — говорит Жионо устами пастуха: — чувствовать, как она растет, чувствовать в ней опору, — это и только это».

Но какую жизнь призывает строить пастух? Жизнь Пантюрлей и Альбенов, на которых так похож он сам, такой уклад, который является базой империализма, превращая крестьян в «большое стадо», в пушечное мясо буржуазии.

Пастух фактически призывает к сохранению существующего общественного строя.

В автобиографии появляются глухие намеки на виновников войны: войну вызвали правители народов, «старые люди, искусившиеся в краснобайстве и притворстве, в уменьи скрывать свою жажду богатства».

И тут же, рядом идет несусветный вздор, маскирующий истинные причины войны: «Люди начали воевать, потому что было слишком хорошо». Вокруг все цвело,

соки жизни бродили в растениях и животных; «самцы разбрасывали живое семя, как млечные пути». «Люди бросились в войну от избытка жизни». Они стали любить, как женщин, нефть и фосфор — взрывчатые вещества, «вещи без бедер»; отсюда родилась жажда крови.

Крестьяне, изображенные Жионо в «Большом стаде», совсем не похожи на людей, «любивших взрывчатые вещества, как женщин, и жаждавших крови». Незаметно также, чтобы они «бросились в войну от избытка жизни».

Жионо ни в «Большом стаде», ни в автобиографии, разумеется, ни словом не обмолвился о революционных выступлениях в момент объявления войны. Они выпали из его поля зрения так же, как и все рабочее движение до войны. Тот же своеобразный дальтонизм, та же классовая аберрация зрения.

В «Большом стаде» не нашло, конечно, никакого отражения и чрезвычайно широкое по своему размаху революционное движение на фронте в последние годы войны, когда бунтовали и отказывались итти в наступление целые корпуса французской армии. Этого грандиозного движения, руководимого социалистами, Жионо тоже «не заметил».

Сцены на фронте чередуются со сценами в глубоком тылу.

Война разоряет деревню. Поля зарастают сорняком — они плохо вспаханы, плохо засеяны. Остались одни старики, женщины и дети; всех здоровых, умелых и сильных «стадами погнали на смерть». Но машина войны работает безостановочно. Пушечного мяса не хватает. При переосвидетельствованиях признают годными и посылают на фронт даже заведомо тяжело больных. Реквизиции идут за реквизициями. Пустеет и нищает деревня.

«Все пропадает, пропадает пропадом!

Остались только солнце, дождь, ветер, земля: все свободное, все освобожденное от людей. Вновь начиналась великая жизнь первобытных времен».

Глухое возмущение растет среди крестьян. Кое-где начинается сопротивление властям при реквизициях.

«Кто отдал такой приказ? — спрашивает старик-крестьянин, не пуская жандармов. — Только сумасшедший может отдавать такие приказы!.. Забирают людей, хлеб, баранов, лошадей, коз — все забирают... И почему вы приходите к одним и тем же?»

Проклятие войне посылают старики, у которых сыновья умирают на фронте, а хозяйство, сколоченное с таким трудом, приходит в упадок.

Проклятие войне посылают женщины — старухи-матери и молодые, которые надрываются на работе и томятся от неудовлетворенной жажды любви и материнства.

Но вот война кончается. Некоторые возвращаются калеками. Некоторые не вернутся никогда. Но некоторые уцелели — и начинается новая жизнь.

Вернулись работники и производители. Они глубоко вспашут землю и умелой рукой оплодотворят ее. Они оплодотворят истомившихся от ожидания женщин, произведут потомство на смену убитым. Жизнь победит смерть. Поднимется буйная молодая поросль. Раны, нанесенные войной, зарубцуются. Разрушенная живая ткань восстановится.

Такими бодрыми нотами заканчивается роман. Но этот оптимизм непрочен. Остается вопрос, на который у Жионо нет ответа: а что же дальше? где гарантия против новой войны? как предотвратить надвигающуюся, еще более ужасную войну?

В автобиографии Жионо говорит об общем жизнерадостном тоне своего мироощущения, о своем «космическом ликовании», о солнце, зажженном в нем мудрецом отцом. И действительно, во всех произведениях Жионо побеждает жизнь, даже в «Холме» и «Большом стаде», не говоря уже о «Парне из Бомюнь» и «Отаве» — настоящих гимнах жизни. В творчестве Жионо есть солнечность. В нем чувствуется стихийная, подспудная, бьющая, как родник, радость бытия. Но это чисто биологическая жизнерадостность: она идет от ощущения молодости, здоровья, крепких мускулов, от близкого общения с природой, от свежего воздуха и буйного ветра, от зорь и гроз, от гор и лесов, от трепета разлитой в природе жизни. Эта инстинктивная жизнерадостность ненадежна. Она не оправдывается ни общественно-политическим, ни религиозным мировоззрением Жионо. Снова налетит ураган войны и сметет «счастье маленьких долин», которое проповедует поэт Франческо Одригано; это неустранимо; это будет всегда. Таинственные и грозные силы, от которых всецело зависит человек, в любой момент могут притти в движение; холм может опять разгневаться; «хозяин» дунет — и не будет Бастид.

В оптимизме Жионо — глубокие трещины, черные провалы.

Жионо подтверждает, что подлинным, несокрушимым, основанным на научном предвидении оптимизмом может обладать только писатель, связанный с передовым революционным классом, которому принадлежит будущее.

6

Художественное творчество Жионо вследствие его реакционной философии много ниже его таланта.

Пример Жионо блестяще доказывает, что в период ожесточенной классовой борьбы реализм в полном объеме доступен только художнику, проникнутому психоидеологией передового класса. В современную эпоху быть реалистом, объективно правильно отображающим действительность во всей ее полноте, со всеми ее противоречиями и тенденциями развития, — может только художник, который смотрит на мир глазами революционного пролетариата.

Беспощадная правдивость Бальзака, который, будучи сторонником реставрации Бурбонов и дворянства, дал картины разложения аристократии и победоносного шествия буржуазии, — не всем по плечу. И, кроме того, не надо забывать, что Бальзак писал десятилетия спустя после Великой французской революции, когда вековая тяжба в основном была решена, присутствовал при последних всплесках революционной волны.

Жионо лакирует действительность; из поля его зрения выпадают кричащие, бьющие в глаза факты; он не вскрывает переплета классовых отношений; замазывает классовые противоречия; замалчивает революционное движение.

Но в то же время Жионо, как мы видели, очень часто поднимается до подлинного реализма. Художественная правда — правда создаваемых им образов то-и-дело прорывается у него наружу, неполная, урезанная, но все же прорывается. Иногда она совпадает с воззрениями Жионо, — не все его воззрения реакционны; но чаще художественные образы Жионо опрокидывают его реакционные установки. Художник Жионо на каждом шагу изображает не то, что ему подсказывает его убогая философия.

Одной силой давления фактов и силой таланта этого не объяснишь. Тут решающую роль играет промежуточ-

ное классовое происхождение Жионо. Это типичный мелкий буржуа; он гораздо ближе к буржуазии, чем к пролетариату, но его классовая природа противоречива; он не связан всеми своими корнями с крупной буржуазией.

Говоря о художественном таланте Жионо, надо отметить прежде всего его необычайно острую и жадную восприимчивость ко всем внешним впечатлениям, ко всему вещному, физическому — к краскам, звукам, запахам. Остроте этой восприимчивости соответствуют свежесть, сила и яркость художественных образов, в которые он перерабатывает свои впечатления. Эти образы воспринимаешь прямо физически — ощущаешь запах леса, осязаешь, видишь и слышишь то, что он описывает.

В биографии Жионо сравнивает себя с каплей воды, пронизанной солнцем, отражающей все формы и краски мира, и говорит, что основное в его натуре — «чувственность» (sensualité). «Я — чувственник» («Je suis sensuel») Сравнение с каплей воды хромает. Художник не просто отражает, а всегда преображает действительность, причем огромную роль играет его классовое лицо, но «чувственную» сторону своего художественного облика Жионо отметил совершенно правильно.

Произведения Жионо напоминают лучших импрессионистов. Они полны воздуха и света, как картины Монэ. И палитра Жионо так же богата. Он находит многоцветные, полнозвучные слова, адекватные выражаемым понятиям.

Жионо отличается сжатостью, лаконичностью, лапидарностью настоящего мастера. Два-три штриха, два-три мазка — и законченный образ, картина природы или человек. Мастерская лепка характеров. Тонкий психологический анализ.

Хорошая композиция: все персонажи на месте; каждым своим словом, каждым своим действием — они способствуют развертыванию основной темы. Эта тема неизменно остается стержнем, определяющим не только главное, но и все второстепенные куски, все детали произведения. От первого до последнего аккорда — единая симфония.

Мастера такой силы в современной мировой литературе — наперечет.

Н. Иванов

УМЕРШЕМУ МУЖЧИНЕ
И ЖИВОЙ ЖЕНЩИНЕ

БОЛЬШОЕ СТАДО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОНА ПОЖРЕТ ВАШИХ БАРАНОВ, ВАШИХ ОВЕЦ И ВАШИ ЖАТВЫ

Прошлой ночью видели великий отъезд всех мужчин. Это была густая августовская, пахнущая хлебом и лошадиным потом ночь. Упряжки стояли тут же, во дворе вокзала. Крупных тяжеловозов, привыкших к плугу, впрягли в оглобли одноколок, и они всем упором крестцов поддерживали на спуске груз женщин и детей.

Поезд медленно двинулся в ночь: он плюнул искрами на ивы и пошел полным ходом. И тут все лошади в один голос заржали.

Нынче утром, как обычно, мясничиха вышла на порог, чтобы промести перед домом сточную канавку; сапожник стоял уже тут как тут, засунув руки в карман на животе, высматривая и вынюхивая; время от времени он мотал головой, как будто отгоняя муху.

— Роза, — сказал он, — ты о деле-то знала?

— О каком деле? — сказала Роза и так и осталась с поднятой кверху метлой.

Мастерская сапожника и мясная лавка на одной и той же стороне улицы, дверь к двери. Сапожник сделал шажок в сторону, точно в танце, и этого было достаточно, чтобы очутиться совсем рядышком с Розой.

— Ты Боромэ видела? — сказал он.

— Которого?

— Как которого? Не молодого, разумеется, — ты ведь знаешь, что он уехал со всеми остальными, — старого, моего товарища.

— Нет.

— Ну, а я, — он только что был у меня, — я прямо после него и вышел. Он приоткрыл мою дверь и кликнул: «О!» Я сказал: «О, Боромэ!» Он сказал: «Ты сам приготовил кофе?» И он попил со мной кофейку. Оказывается, по направлению к плоскогорью Хуга... (Боромэ не мог спать оттого, что сын его уехал, и пробродил по холмам всю ночь...) так вот, оказывается, по направлению к плоскогорью Хуга он видел только что выросшую из-под земли скалу. «Она точно новенькая», — сказал он. На скале этой земля будто взрыта, не нарочно, а оттого, что по ней прошли какие-то толпы, не люди — животные, точно большое стадо с твердыми копытами, и как только земля стерлась, показался камень. Так сказал мне Боромэ. И на камне этом можно различить выгравированный на нем треугольник с острыми концами да круг с приклеенной стрелой.

Роза не сделала ни шагу, только отодвинулась бюстом и с некоторого отдаления глядела на сапожника куриными своими глазами.

— Ты пугаешь меня! — говорит она.

На колокольне пробило восемь; и в дне никаких перемен не было; солнце, как и каждое утро, спускалось по скатам крыши дома Алика.

Выходя из дома, там, напротив, бакалейщица опрокинула стул и коробки с консервами; это означало, что она торопится, потому что при ее толщине...

И не успев отдышаться, она кликнула, как человек, который тонет:

— Роза! Дядюшка Жан! Вы не слышите запаха?

Они, прежде чем ответить, раза два-три потянули носом.

— А что?

— Понюхайте, — сказала бакалейщица и перешла улицу. — Так у вас нос, значит, заложен. Я поднялась к себе наверх, чтобы посмотреть, сколько у меня осталось сахару. Только я открыла форточку, запах этот прыг мне в лицо, как кошка! Меня от него так в жар бросило, что я и до сих пор вся красная.

— Теперь я слышу, — сказал сапожник.

— Я тоже, — отозвалась Роза и снова отодвинулась бюстом, чтобы с высоты своего роста поглядеть на сапожника и бакалейщицу.

Это был запах шерсти, пота и разрыхленной земли; им, казалось, полно было небо.

— Что же это такое?

— Я и сам себя об этом спрашиваю, — сказал сапожник.

Они, все трое одновременно, подняли глаза к небу, потому что в этот миг день словно подернулся тенью: поверх крыш, перед солнцем проплывал широкий стяг пыли.

И тут они услышали шум.

Точно прекрасный полноводный поток вырвался из своего русла, и казалось, — он зазвонными колоколами звенит во всех выступах земли и неба.

Они приближались, эти колокола и шум вод, и минутами там, наверху, клубами облаков проплывала пыль, и уличный свет становился мускатно-рыжим, рыжим, как виноградный сок, и наконец, растворившись в дыме неба, донеслось дуновенье стонов и жалоб, подобно жалобному ржанью лошадей.

Дядюшка Жан поглядел на Розу и на бакалейщицу; он жевал хлопья своей белой бороды и потом выплевывал обгрызанную щетину.

— Ну, я пойду, погляжу, — сказал он.

— Подождите нас, мы тоже пойдем.

Роза бросила метлу, бакалейщица застегнула кофту. Они втроем спустились по улице.

И отставной Малан тоже бегом спускался по улице; он был в одной рубашке и побрит только с одной стороны; одна щека у него была чистая, другая — в мыле, и на бегу он поднимал голову и смотрел вверх, как человек, спасающийся от грозовой тучи.

Дорога в горы проходит у самого городка. Там она делает изгиб, красивый поворот вокруг фонтана, и удаляется к равнинам, где об эту пору видно, как дрожит зной.

На повороте собрались уже все старики «Рабочего клуба», кассирша с налитыми кровью глазами и какие-то женщины и малыши, всей пятерней цепляющиеся за юбки женщин. Старый Бюрль открыл окно: он был болен, в ночной сорочке и с горчичником из серой бумаги на груди; но он настежь открыл окно, потянул воздух — и так и остался у окна.

Судя по шуму, это надвигалось со стороны гор и даже

было уже в самом городке, там, в квартале Сен-Лазар; дома дымились от пыли, точно рассыпались мусором.

— Хорошо, нечего сказать! — произнес сапожник. — Да, настали времена! Все пошло прахом. Виноградник погнил: пятнышко на листе будто от грязного пальца — и все засыхает.

Рот его, в гуще бороды, остался открытым, точно произнося еще какие-то слова. Теперь слышны были колокольчики и бубенцы, и на уровне земли — топот ног, и на высоте живота человека — гул блеянья и криков ягнят.

— Бюрль, что ты скажешь на это? — окликнул Малан.

— Бараны,— сказал Бюрль. Он говорил с расстановкой, точно размалывая старыми зубами свою боль в груди. — Бараны. Но такого шума я сроду...

По листве вязов, как град, забарабанил полет крупных мух. Туча ласточек, увлекшая с собой несколько затерявшихся голубей, взметнулась в небе белыми брюшками и пронеслась, шурша и свирестя, как масло на сковороде.

— Все пошло гнить, — сказал сапожник. — На Дюрансе есть целые острова мертвой рыбы. Если возьмешь ее в руки, по пальцам так и потечет какая-то слякоть чешуи и гнили.

Молочница Бабо, которая стояла как раз перед ним, как и все, ожидая чего-то, слегка обернулась.

— Это уж в воздухе, — говорит она. — А вчера вечером ты видел?

— Да. А ты?

— Да. Вернувшись с вокзала, я вышла на порог освежиться, у меня от всего этого кожа так и горела. Тут-то я и увидела, вот отсюда досюда, большие этакие полосы света. Похоже это было на утиную лапу.

— Это похоже было на большой, точно вылитый из золота лист змеевика, — сказал сапожник.

Но теперь весь воздух дрожал, и говорить стало невозможно.

И тут увидели приближающегося старика и идущее за ним стадо.

— Пресвятая богородица! — сказала молочница.

— Он спятил, этот человек! — воскликнул Бюрль.

Это палящее солнце и пыль, и густой зной на дорогах, которые с таким трудом пробуравливаются человеческим или звериным шагом, это солнце, точно смерть...

Сапожник буркнул себе под нос:

— Война!.. Это война заставила их спуститься.

И сразу все вокруг закрыли рты, и даже Бюрль там, у себя наверху, понял, и остальные все поняли.

Сердца заколотились глухо и чуть быстрее. Вспомнилась минувшая ночь, которая слишком уж пахла хлебом. Да, слишком. И какое охватывает отвращенье, когда чувствуешь этот запах хлеба, когда видишь маленьких детей на руках у женщин, когда видишь этих молодых женщин, всегда полных услады, стоящих вот так, крепко на двух своих ногах, когда понимаешь все это и видишь в то же время, что мужчины-красавцы уезжают при жалобном ржаньи лошадей.

Шедший впереди стада человек был один.

Он был один. Он был стар. Он смертельно устал. Достаточно было видеть, как волочит он ноги, каким грузом в его руках казалась палка. Но голова его, должно быть, полна была мысли и воли. Он был весь белый от пыли с головы до пят, как скот на дороге. Совсем белый.

Он сдвинул шляпу на затылок и тяжелыми кулаками протер глаза, и тут, на этой сплошной белизне, проступили широкие красные впадины его больных от пота глаз. Он скинул всех волевым взглядом. Не промолвив ни слова, не издав ни звука, не сделав ни единого жеста, он повернул, следуя повороту дороги, и тогда все увидели, что взгляд его устремился вдаль, по прямой линии, туда, в самую глубь пути, и казалось — он видит все: всю муку и солнце. Резким движением руки он снова надвинул шляпу на лоб и, волоча ноги, прошел мимо.

И за ним не видно было ни навьюченного мула, ни ослов с поклажей — нет, непосредственно за ним, опережая стадо шага на три, шло только одно большое, совсем черное животное с окровавленным брюхом.

Животное тоже свернуло на повороте дороги. Клеристэн надел очки. Он сморщил нос и стал всматриваться.

— Да это баран, — сказал он, — это вожак стада. Баран!

Все вокруг утвердительно закивали. Все видели барана, из которого струйкой на пыльную дорогу лилась кровь, и видели также твердую волю человека, упорно стремящего свой шаг вперед, ко всем невзгодам пути.

Клеристэн снял шляпу и всей пятерней почесал голову. Бюрль высунулся из окна, чтобы как можно дальше про-

водить взглядом истекающего кровью барана. Когда-то сам он был старшим пастухом. Он нагнулся, горчичник отклеился от шерсти, покрывающей его грудь.

— Это значит загубить жизнь, — сказал он, — загубить жизнь...

Наконец, он поправил свой горчичник, отодвинулся и, изо всех сил хлопнув задвижкой, закрыл окно.

Старый пастух был уже далеко, там, на спуске. Стадо медленно-медленно следовало за ним. Все это были животные почти одинакового роста, тесно прижатые друг к другу, двигающиеся бок-о-бок, как волны грязи, и в шерсти у них запутались крупные горные пчелы, мертвые или живые пленницы. Были в ней и цветы, и колючки, и совсем зеленые, обвившиеся вокруг ног травы. Была там и толстая крыса, которая, спотыкаясь, разгуливала по овечьим спинам.

Из общего потока вышла голубая ослица и, широко расставив ноги, остановилась. К ней, качая большой головой, приблизился осленок; он поискал сосок и, вытянув шею, стал сосать изо всех сил, подрагивая хвостом. Ослица глядела на людей прекрасными, замшелыми, как камни в лесу, глазами. Время от времени она вскрикивала, потому что осленок сосал слишком быстро.

Все это были животные здоровые и благодушные, и шли они, еще не хромая. Крупные косматые головы с мертвыми глазами полны еще были образами и запахами гор. Там, впереди, стоял еще запах барана-вожака, запах любви и ошалелых овец; и жили образы гор. Головы с мертвыми глазами покачивались сверху вниз; они витали в воспоминаниях гор, тихонько смакуя вкус тамошних трав: ночной ветер, который свивает себе гнездышко в шерстяной подкладке ушей, и ягняточек, белеющих, как молоко, на свежей траве, и дожди...

Стадо течет с шумом, подобным шуму потока, во всю ширину дороги и с обеих сторон трется о стены домов и садовые изгороди. Осленок перестает сосать; он охмелел. Он дрожит на своих ножках. Струйка молока стекает с его мордочки. Ослица лижет осленку глаза, потом поворачивается, уходит прочь, и осленок идет за ней следом.

Подошел другой баран-вожак; вначале долго не могли увидеть его. Слышен был его колокольчик, но ничто не возвышалось над спинами овец; тогда стали высмат-

ривать его по рядам. И подконец увидели: это был самец с черными завитками. Его широкие, изогнутые спиралью рога были разлатыми, как ветви дуба. Он опустил их на спины идущих по обе стороны от него овец и предоставил им нести тяжелую его голову. Ветвистая голова колыхалась на живой волне стада, как дубовая коряга на взбаламученной грозою Дюрансе. На зубах и на отвислых губах его виднелась запекшаяся кровь.

Поворот дороги выдвинул его к самому краю стада. Он попробовал было самостоятельно держать голову; но она потянула его вниз; он уперся передними ногами, но потом опустился на колени. Голова его лежала на земле, как какая-то мертвая вещь. Он попытался еще упереться задними ногами и подконец повалился в пыль, как куча срезанной шерсти. Постепенно, мучительно, в несколько приемов раздвинул он ляжки: весь пах представлял какое-то кровавое месиво, с шевелящимися в нем мухами и пчелами и с двумя красными ядрами, болтающимися у живота на одном только толстом, как шнурок, нерве. Бюрль снова подошел к своему закрытому окну; видно было, как он шевелит губами:

— Загубить жизнь! Загубить жизнь!

А Клеристэн разговаривал вслух сам с собой. Он ничего никому не говорил, он говорил просто так, на ветер, для того лишь, чтобы выблевнуть из себя эту страшную боль, которая засела в нем с тех пор, как он проводил в путь-дорогу своих сыновей.

— Знать бы только, что дальше будет, — говорит он. — Ведь мы все-таки не из породы вояк. И меньшой-то мой ушел больным-больнешенек! А старший со своими слабыми ногами! И вдобавок еще внутренние недуги, такие, которых и не знаешь... Нет, это несправедливо!

Он так и остался со шляпой в руке, и видны были его мокрые от слез глаза, зеленые и замшелые, как глаза ослицы, ушедшей со стадом.

Время от времени раздавался звон крупного колокольчика или целой грозди звонких бубенцов, и появлялся мул или осел, или лошак, а то и попросту плелась старая кляча; у всех у них уже не было танцующей поступи благородных животных, все они тащились на перешибленных ногах, с травой и комьями земли в шерсти или залепленные грязью на ляжках.

Порой происходила какая-то задержка там, впереди,

вдали, где скрылся пастух. Остановка волной прокатывалась по всему стаду, потом все снова двигалось в путь, и при первом шаге все животные в один голос блеяли от боли.

Звон лошачьих и ослиных колокольчиков затих где-то в отдалении; слышен был только однообразный шум потока да ропот страдания.

Тогда кто-то сказал:

— Слушайте!

Прислушались. Там, наверху, в небесной глубине задохшаяся от пыли колокольня пыталась отзвонить полдень.

Мясничиха накрывает на стол. Она как попало расшвыривает по столу тарелки. Губы ее капризно надуты, как у маленькой девочки, и время от времени она посапывает.

Мальчуган взлезает на свой стул.

— Убирайся ты отсюда! — говорит мясничиха.

Она уже пыталась скрыть пустое место кувшином с водой и бутылкой.

— Убирайся ты отсюда, да ну тебя! Освободи место, проваливай!.. А впрочем, делай, как хочешь.

Она идет к кухонной раковине за стаканами и долго стоит там неподвижно, обернувшись лицом к стене.

— Кушайте, мама, — говорит Роза.

Но мать отрицательно качает головой и говорит:

— Кто знает, где они теперь?..

А снаружи все течет и течет большое стадо.

— Они, наверно, не очень далеко отсюда, — говорит Роза. — Надо ведь одеть их, снабдить всеми вещами и оружием, и патронами. И надо еще приучить их стрелять, — не обязаны же они знать, что он умеет.

— Достаточно ему сказать, что он не умеет.

— Ну да, — говорит Роза, — это не так-то просто. Все это записано у нас в мэрии — и что он брал охотничье удостоверение, и все прочее. Лучше уж ему ничего не говорить, пусть говорит, как все остальные. Да к тому же семейных не сразу пошлют на фронт. Сначала пошлют тех, кто не женат, потом — тех, у кого нет детей, потом — тех, у кого нет торговли. А наш-то женат, имеет ребенка, имеет торговлю, стало быть... Да и до тех пор... Аптекарь говорит, что к празднику всех святых,

самое позднее, самое позднее... А по-моему, и раньше все дело так или иначе уладится... Кушайте, мама!

— Нет, — говорит мать, — кусок застревает в горле. Пусть улаживается как угодно, лишь бы поскорее кончилось!

Клеристэн продолжал стоять на том же месте, у самой дороги, по которой шло стадо, набухая болью, как пьяница, обливаясь болью.

«Зачем мне итти домой? Один я теперь».

Он окликнул булочницу:

— Амели, дай мне ломоть хлеба и отметь на моем счете.

Но есть он не посмел. Так он и стоял, зажав хлеб в руке.

Овцы все еще шли да шли, но уже медленно. Теперь это уже были больные животные. Тяжко было глядеть на длину этого стада, на всю эту муку, на всю эту растраченную в дороге жизнь. Под каждым брюхом виднелась кровь. Раздавалось это особенное чиханье, после которого животное остается в полном одурении от головной встряски.

— Упадет или нет? — говорили вокруг.

Нет, оно снова трогалось в путь на одеревянелых ногах.

Баран, раздвинув ноги, все еще лежал на земле. Из него теперь лилась кровь; вся его короткая, вымоченная кровью, развившаяся, отяжелелая шерсть обвисла на нем, как мох на водоеме. Он не стонал; он дышал изо всех сил, и дыхание его ноздрей проложило в пыли две маленькие бороздки.

Подошел другой пастух. Остановившись на повороте, он глядел на проходившее мимо стадо. Чтобы выйти из уносящего его потока, ему пришлось коленом растолкнуть своих овец. Он вытер лицо; от пота он весь сиял, как святой; опершись на посох, он смотрел куда-то вдаль.

Кровать Бюрля, там наверху, стоит у самого окна. Видно, как он встает, как натягивает плисовые штаны, поправляет свой горчичник, застегивает поверх него рубашку.

Мгновенье спустя дверь коридора открывается. Бюрль выходит. Он босой; левую распластанную руку он при-

жимает к груди, правой он тащит стул. Вот он тихонько прикасается к плечу пастуха.

— Послушайте, милейший, — говорит он, — не можете же вы все время быть на ногах, возьмите-ка стул.

Тот продолжает где-то витать. Он садится, ставит посох перед собою, между ног, скрещивает на нем ладони и, опершись подбородком на кисти рук, опускает голову под лучами солнца.

— Судя по его ширине, — говорил вернувшийся сапожник, — судя по его плотности, потому что ведь это все равно что вода в реке или потоке, стадо еще и наполовину не прошло. Так вот, подумай-ка, с восьми часов утра оно все идет да идет... подумай-ка, что, считая этого вот, спящего здесь на стуле, да того, что шел впереди, первым, всего-навсего было два человека на все стадо. Подумай-ка, что не видно было собак, мало ослов, и скажи мне теперь, разве не свидетельствует это о том, что наступили проклятые времена?

И Клеристэн тоже глядел куда-то поверх проходящих мимо животных, на письмена судьбы, на то, что кровью и мукой начертало большое стадо на белой глади дороги.

— Я доходил до последних деревьев. Там видна долина Ассы. Она спускается оттуда, сверху. Вся гора дымится, как будто ее подожгли. Да вот, слышишь, как громыхает?

Там, в горах точно железными молотами раскалывает небо гроза.

Видно, что проходящие теперь овцы только что вышли из-под дождя. Они отяжелели от воды. Они идут мелкими шажками, толчками головы прокладывая себе место в воздухе. Посреди них шагает человек, с него ручьями течет вода. Он несет укрытого под курткой ягненка. Он окликает того, кто сидит:

— Антуан! Антуан!

Но тот не поднимает головы; он продолжает все так же сидеть в тени своей широкополой шляпы; он только машет правой рукой:

— Иди, иди...

А баран только что умер. Он сразу, точно по приказу, поднял ветвистую голову; из-за ветвей своих рогов он поглядел на небо, — долгий, нескончаемый взгляд.

Шея его вытянулась, он испустил жалобный стон ягненка, раздвинул ляжки, вытянул ноги; с треском лопающегося пузыря вывалились из него кишки и сгустки черной крови.

Когда пришла пора зажигать лампу, мясничиха сказала:

— Мать, на эту ночь вы бы легли со мной. Быть одной...

Ей незачем досказывать свою мысль. Она только немножко дольше протянула пухлыми влажными губами слово «одной».

И вот мать заняла подле женщины место своего сына. В тюфяке остался отпечаток уехавшего; мать вытянулась в этой ямке, как раз по мерке сына. И не говоря ни слова, бок-о-бок, прислушивались обе женщины к шуму стада в ночи. А оно все шло и шло, точно горы хотели вконец изойти этим живым потоком.

Наступила минутка покоя, неведомо откуда явившаяся; и обе женщины забылись тяжелым, дурманящим сном. Потом мать внезапно проснулась:

— Слушай, — сказала она.

— Что? — спросила Роза.

— Кто-то стонет.

Не слышно было больше шума стада, но где-то точно плакал ребенок, точно кто-то кликал мать, — зов, проникший в самое сердце обеих женщин. Они вскакивают с постели.

— Возьми свечу. Зажги.

— Мать, поглядите-ка, уж не малыш ли это, не завелись ли у него глисты?

— Нет, Роза, это доносится снизу, с улицы.

— В такой поздний час! — сказала Роза.

Но и впрямь кто-то звал мать:

— Ма-ма...

— Да! — откликаются обе женщины, и босые ноги шлепают по лестнице.

— Погодите!

Засов тугой. Роза натрудила на нем свою мясистую ладонь, и груди ее подпрыгивают под сорочкой.

— Ну, вот. Заслоните свечку.

Ночь пахнет бараном.

— Дождь, что ли, идет?

— Нет, это земля. Это оседает пыль, поднятая стадом. Вот оно, то, что плачет, то, что зовет мать, — вот оно тут, на мостовой, это маленькое белое пятнышко. Роза опускается подле него на колени. Это ягненок; дрожащий, покрытый грязью ягненочек, большеголовый, заплутавшийся в мире ягненочек.

— Мать, это заблудившийся ягненок.

Роза обнимает его голыми руками; он кладет ей свою влажную мордочку во впадину на изгибе локтя.

— Зверок, зверок, — тихонько напевает мясничиха и оттопыренными губами подражает звуку поцелуя. — Зверок... Взгляните-ка на него, на бедняжку.

— Да это еще сосунок, — говорит мать.

Роза вздрагивает от дыханья маленького зверка, там в ямке, у локтя.

— Я думаю, что таких можно выкармливать детской соской, — говорит она.

Ягненок больше не жалуется, он ищет тепла руки, он жмется к теплу тела. Он закрывает глаза; он снова открывает их, чтобы убедиться, что руки все еще здесь, и трепет счастья пробегает у него по спине. Он тычется головой в грудь Розы; она смеется.

— Сухо здесь, — говорит она. — Ах! Если б у меня еще было молоко, я бы тебе дала, но у меня его больше нет... Мать, надо позаботиться о том, чтобы завтра взять лишний литр.

— Идем, — говорит мать, — войдем в дом, мы ведь с тобой в одних сорочках.

— Хорошо, — говорит мясничиха, — но откройте сени. Через лавку его пронести нельзя. Там полно мяса, пахнет кровью, он может испугаться.

На рассвете Клара открыла дверь своего маленького кафе на повороте дороги. Посреди пустынного переулка, один-одинешенек, стоял стул. Стадо уже иссякло, пастух ушел, собаки жадно подлизывали кровь павшего барана.

Около пяти часов утра пришел старик Сотейрон с фермы святого Патрика. Он вел лошадь на реквизицию.

— Клара! — крикнул он. — Дай-ка мне чего-нибудь покрепче.

Клара появилась на пороге со стаканом и бутылкой водки.

— Ты что-то бледен, — сказала она.

— Есть от чего, — ответил старик. — Вся дорога покрыта мертвыми овцами.

Лошадь глядела на зеленую зарю. Она потряхивала головой, точно отгоняя слепня, и тихонько ржала себе в удила.

ПРИВАЛ ПАСТУХОВ

Часы пробили в Валансоле — одиннадцать ударов глухого колокола. Ночной ветер обвевал гумна, и полова дымом поднималась к луне.

На ферме Шоран, там на плоскогорьи, сам собою поет чердачный блок. В пазу колесика позабыли веревку. Старый Жером прислушался к песенке блока. Он подумал о веревке.

— Уж эти женщины! — сказал он.

Потом он повернулся на левый бок, прислушался к своему сердцу, которое так колотилось в ушах, точно внизу, под домом, чугунной трамбовкой утрамбовывали подвал. Он подумал о сучке Диане; нынче вечером она не вернулась домой.

— Я так и говорил. Я сказал: смотрите, эта уж наверняка удерет. Либо ей нужен кобель, либо охотится где-нибудь одна.

Он поднимает голову с подушки, он прислушивается. С холмов как будто доносится звон бубенцов..

— Когда Жозеф уходил, он сказал: «Присматривайте за этой сукой. Присматривайте за ней». И вот во вторую же ночь ей дали убежать.

Он поворачивается на правый бок. Он не может спать. Но так он уже не слышит своего сердца; он едва улавливает легонький свист ветра, который разбивается об угол овина, да шелест всех миндалей плоскогорья. По этому шелесту вполне можно судить о необозримом просторе возвышенности.

Теперь в Шоране он — единственный мужчина. Дочь его Мадлена, восемнадцати лет, да невестка Юлия, которой не более того, — вот и все, что осталось с той поры, как уехал Жозеф.

Кто приналяжет на рукоятки плуга? Кто, отправляясь на косьбу, привесит к поясу козлиный рог?

Вот он лежит, вытянувшись в постели, неповоротливый, как чурбан. Он сжал руки в пустоте, точно сжимая рукоять сохи, и перед его глазами, колыхаясь миндальными рощами и нивами, поплыл его обширный участок земли, как тогда, когда Жером странствовал по нем, шагая за четверкой лошадей.

Внезапно он сбрасывает с себя простыню; он встает, шарит в карманах штанов, зажигает спичку и, держа ее кончиками пальцев, выходит в сени. Он стучится в дверь к невестке:

— Юлия! Юлия!

Он легонько постукивает ладонью.

— Да.

Постель скрипит, и вот уже слышно мягкое шлепанье босых ног по полу.

Жером придерживает ручку двери.

— Нет, не открывай, я в одной сорочке... Послушай, я хотел тебя спросить: лошадь-то ты накормила?

Спичка гаснет.

— Ах, нет! — восклицает Юлия.

— Ты пойдешь туда?

— Да, иду, — говорит женщина. — Вот еще и к этому надо привыкнуть.

Возвращаясь из хлева, Юлия подошла к комнате Мадлены и шопотом спросила в дверную щель:

— Ты спишь, Мадлон?

— Нет.

— Слушай, Мадлон, я только что задала корму лошадям... Что там делается, внизу, в долине, если бы ты только знала, что там делается! Там взад и вперед снуют фонари, и кроме того страшный шум от стада. А дальше, поближе к Дюрансе, зажгли большой костер, и пламя так и рвется, так и рвется ввысь.

— Да, — сказала Мадлена, — знаю. Это стадо. Я видела, как оно подходило. Оно так раскинулось в ширину, что просто страх берет! Я видела, как оно подходило под вечер. Оно заночевало там, на участке Гардетт.

Юлия с минуту в задумчивости стоит в темноте сеней. Потом:

— Скажи-ка, Мадлон, можно мне войти? Мне надо сказать тебе кое-что.

— Входи. Хочешь, я зажгу свет? — спрашивает Мадлена.

— Нет. Нечего тут видеть. Дай-ка, я только прилягу возле тебя, а то холодно ногам на этих камнях... Слушай, Мадлон, ты на меня сердишься?

— Я ни на кого не сержусь, — сквозь зубы говорит Мадлена.

Юлия ощупью гладит тело девушки.

— Мадлон, правда, правда же, истинная правда, — я ничего не сказала ему, ничего, ни единого слова, можешь мне верить. Подумай, как дружно мы с тобой всегда жили, душа в душу, и вспомни наши балы в Бра, когда мы под яблоней обменивались с тобой головными лентами. Я ничего не сказала ему, ни словечка, и я порадовалась бы за тебя, если б узнала, что ты выходишь замуж, как ты — за меня, когда я сказала тебе: «Я выхожу за твоего брата». И, помнишь, мы остались тогда с тобой в сене и целовались и обнимались... Ты слушаешь меня? Это не я, это он сам подстерег тебя, это он тебя увидел. За два дня перед отъездом он сказал мне, когда ложился спать: «Присматривай за ней, пока меня здесь не будет». Слышишь? Он сказал мне: «Я сверну шею вам обеим! Я опять видел ее с Оливье из Гардетт, они обнимались во-всю».

— Неправда, — сказала Мадлена, — мы ничего дурного не делали.

— Я знаю, в чем дело, Мадлон, знаю. И ничего дурного тут нет, знаю. Это не дурно, это в крови. Но говорю тебе: Жозеф, хоть ты ему и сестра, ревнует тебя, точно ты ему жена. Он не злой. Он ревнив, вот и все. Но полно, ты не бойся, он не убьет тебя. Он сказал это в горячке отъезда, да еще потому, что выпил с горя, что уезжает, и был вне себя от того, что должен покинуть всех на беду, а кроме того...

— А кроме того, если он и убьет меня, — что ж, тем хуже, — промолвила Мадлена из глубины ночного мрака.

В Гардетт, по ту сторону долины, среди ветвей смоковницы все еще горела лампа. Видно, Дельфина совсем утратила дух бережливости: уже скоро за полночь. А отец-то ее, бодрый старик с опрятным ртом...

Несмотря на поздний час, они все еще сидели тут, под освещенной смоковницей, вокруг стола, с которого все уже было убрано: Дельфина, папаша и молодой Оливье. Они не разговаривали. Был с ними и пастух, тот самый, что шел во главе стада. Он только что выступил из тени, вынырнул из ночи, весь белый от пыли, как придорожный кузнечик.

Ночь так изрешечена звездами, что видна ткань неба.

— Сорок часов подряд, — сказал пастух, — сорок часов, сплошных, как лезвие сабли!

— И хватили через край, — сказал папаша.

— В этом никто не виноват. Виновата судьба, — сказал пастух.

— Виноват или не виноват, — сказал папаша, — а все-таки это уж слишком большая мука для животных.

И оба они покуривают свои трубки.

— Это обрушилось на нас в первый же день, — сказал пастух, устремив глаза в темноту. — Мы были высоко на горных пастбищах, и погода выдалась, как никогда. Травы стояли, как новобрачная, все в белых цветах, и светилась улыбкой на много километров кругом. И вот вижу я — внизу, по горной площадке, как раз подо мною, шагают каких-то двое в синем, прямо по траве, по самой сочной траве, как люди, которым на все это наплевать. Ну, подумал я, эти синие молодцы — жандармы — из Сент-Андрэ. У Альфонса, должно быть, опять была стычка со сторожихой с пешеходного мостика. И вправду, они направлялись к Альфонсу. Они идут к нему, еще издалека, насколько хватает голоса, не подходя к нему, окликают его, и мой Альфонс сам идет к ним навстречу. Потом они спускаются, потом снова поднимаются к хижине Бускэ. «Вот те на! — подумал я. — Это-то ведь тихоня». Оттуда они идут к Дантону, затем к Арсену и наконец сворачивают к пастбищам на другом склоне. Все извилины их пути отпечатались на наших травах. Альфонс собрал свой скот в загон. Он направился к кедру. Я видел, как стоял он там, запрокинув голову, точно пил из бутылки: он трубил в рожок. Звук рожка донесся до меня, наконец, в гущу трав. Потом услышал я, как трубят Бускэ и Дантон и Арсен, и там, на противоположном склоне трубили уже все рожки.

Тогда, сам не зная отчего, во весь дух затрубил и я, и, несмотря на погожий день, несмотря на то, что все

таволги вокруг меня улыбались, я затрубил грустно, как трубят о смерти собаки. Настал полдень. Я видел людей, собравшихся под елкой тридцать четвертой. Я думал: «И угораздило же тебя взобраться сегодня сюда. Был бы ты внизу, ты бы уже знал, в чем дело...» Но вот кто-то из тех, кто внизу, в ком я потом узнал Юлиуса из Арля, выходит из тени и, стоя на самом свету, как вкопанный, трубит в мою сторону протяжный тройной клич, который означает: «Иди сюда сейчас же!» Тогда мощным свистом пустил я все свое стадо вниз, по склону. Под деревом лежали уже связанные узлы, и друзья сказали мне: «Мы уходим». Я сказал: «Трава-то здесь больно хороша». — «Да, — ответили мне. — Но мы уходим на войну».

Он посасывает свою трубку, чтобы дать утихнуть сердцу, чтобы дать хоть немножко улечься воспоминанию этой минуты, когда задрожала под его ногами земля.

— ...Нас осталось трое: Антуан из Пертюи, Юлиус, о котором я говорил, да я. Трое слишком уж старых для того, чтобы быть солдатами, слишком старых, как говорил Антуан, и для того, чтобы надежно сопровождать все эти, оставшиеся на нашем попечении стада. А вечером молодые взвалили на плечи мешки. Они ушли. Мы остались одни. На горе собралось столько овец, что травы не было видно. Тогда мы все трое начали обсуждать. Новость камнем лежала на сердце. Обсудили все «за» и «против». Ухлопали на это всю ночь, выкурили весь остававшийся табак. Наконец сговорились и со мной во главе пустились в путь... Изрядный-таки шум, должно быть, возвещал наше приближение. Когда мы проходили по деревням, женщины и старики выстраивались вдоль дороги, чтобы поглядеть, как мы проходим. Мы вышли на равнину. И тут какая-то женщина прошла с нами более пяти километров, с ягненком на руках. Она поровнялась со мною. Она сказала мне: «Старик, здесь мой путь кончается. Я и метра больше не сделаю. Но этот зверок, которого я подобрала в твоем стаде, ведь он помрет, если я спущу его на землю. Остановись». —«Нет, — сказал я и потом добавил: — Положи его». Минутку спустя я обернулся: ягненок лежал на пригорке, женщина сломя голову бежала по вспаханному полю. Тогда я закричал: «Женщина! Женщина!» Она была уже слишком далеко.

Она не услышала. И с этой минуты я прозрел, и призадумался я над великим бедствием, которое надвигается на нас. И — говорю тебе, хозяин, — так крепко призадумался, что это точно прожгло меня. Когда же я весь высох, как уголь, я сказал: «На милость людскую!»

Он простирает в ночь свою открытую, широкую, как лист платана, руку.

Снизу, из ложбины доносятся собачий лай и голос человека.

— Это меня ищут, — говорит пастух и выкрикивает свое имя, добавляя при этом: «Здесь!»

— Где? — откликается голос.

— Иди на свет! — кричит пастух.

Мгновенье спустя какая-то фигура вступает в световой круг лампы и при приближении оказывается маленьким старичком, вымазанным в глине и сене, которому, вероятно, чтобы передохнуть, приходилось примащиваться где попало.

За ним следом плетется пес.

— Здорово, Юлиус! — говорит пастух.

— А! — восклицает тот и тяжело опускается на скамью.

Папаша подмигивает Дельфине. Она уходит в дом и возвращается с хлебом, литром вина и стаканом.

— Суп, понимаешь ли, остыл, — говорит папаша. — Так вот, товарищ, тебе его разогреют, а пока что — попользуйся.

Юлиусу, чтобы поднять стакан, приходится пустить в ход обе руки; стакан скрывается в его больших рыжих руках, и Юлиус пьет как человек, пьющий пригоршней из источника.

— Еще глоток?

— Налей. Вы позволите?

Он вынимает свой роговой нож. Он отрезает от хлеба толстый ломоть, макает его в вино и дает псу.

Папаша курит, жадно и торопливо затягиваясь.

— Табаку?

Юлиус вынимает свою трубку. Нет, не стоит. Он швырком бросает ее на стол. Он кладет руку на плечо пастуха.

— Я пришел повидаться с тобой, Тома, я пришел ради тебя. У меня смерть вот где сидит! Это сумасшествие! Нет больше мочи! Надо итти медленней. Подумай о живот-

ных. Впереди у тебя здоровые, впереди ты видишь открытую дорогу. А мы — мы в самой гуще бедствия: они все мрут да мрут. Мы ни одного не доведем до дому. С них слишком много требуют, с этих тварей. Не для этого были они созданы. Ах, Тома! Тень и прохлада, и отдых для каждого, и жизнь прежних дней...

Поют сверчки. Ничто не шелохнется. Ночь — великая тишь, полная звезд.

— Нечего больше думать о прежних днях, — говорит Тома, — мы погрязли в сплошной мерзости. Ты думаешь, я каменный, что ли? Ты думаешь, я не вижу глаз, следящих за нами, когда мы проходим по деревням? Я стараюсь поглубже запрятаться под шляпу. Ты думаешь, я не знаю? У меня есть уши, чтобы слышать... Слушай!

Он умолкает. Сперва слышны лишь сверчки, потом из глубины ночи поднимается глухое стенание овец.

Юлиус тяжело вздыхает.

— Каково-то будет снова пускаться в путь! — говорит он. — Знать бы только, хватит ли у них на это воли...

— В том положении, как сейчас, — говорит Тома, — они — что вода в насосе: пойдет один, пойдут за ним следом и все остальные.

При ярком свете позднего утра стадо предстало глазам во всей своей широте. Оно точно сливками покрывало долину, оно было на холмах; оно было там, на песках Дюрансы, откуда голубой струйкой возносился дым сторожевого костра.

Остановившись на склоне холма, трое мужчин смотрели на стадо: Юлиус возвращался на свой пост; папаша блуждал взглядом вдоль всего этого живого потока; Тома глядел прямо перед собой, в самую душу своего стада, — он точно видел ее там, в глубине неба.

— Прощай! — сказал Юлиус.

— Прощай! — сказал Тома.

Потом папаша и Тома спустились в долину. В стороне, под зеленым дубом лежал большой баран-вожак. Он обагрил своей кровью тимьян и мелкий чаберник. Рога его запутались в траве. Он стонал. Язык его, сухой, как камень, свисал на землю. Весь он покрыт был мухами и пчелами.

Тома шляпой отогнал мух, потом ощупал бока животного; он привел в движение суставы ног; он тихонько

потрогал рану в паху. Животное не жаловалось, оно во все глаза смотрело на человека.

— Хозяин, — сказал Тома, — вот о чем я тебя попрошу: спаси моего барана. С его мужеством он поднимется, он пройдет... кто его знает?.. сто метров, а то и тысячу (ведь я-то, по правде говоря, не знаю, насколько у него хватит мужества). Потом он упадет и так и останется умирать на откосе у дороги. Спаси его. Это еще возможно. Возьми его, перенеси его к себе на ферму, выходи его. А когда пройдут дурные времена, если я буду еще в живых, я вернусь за ним.

— Ну, это я могу, — сказал папаша. — И спасибо тебе за то, что перед уходом ты показал мне свою жалостливость.

Тома надвинул шляпу на глаза.

— Я же сказал тебе — не на что нам больше положиться, кроме как на милость людскую.

— Погоди, — сказал папаша. — Я пойду за тачкой. Этак легче будет переправить его.

Пастух сам положил сена на дно тачки и старый мешок, потом взвалил на нее барана.

— Вели сварить репейника, — сказал Тома, — и промой ему пах. Потом приготовь мазь из серы и оливкового масла для тех мест, которые кровоточат. И так два раза в день. Но я знаю его: он так же нуждается в любви как и в лекарствах, С тобой он быстро оправится.

Он положил руку животному на лоб и тихонько почесал его под шерстью легким дружеским почесываньем. Баран взглянул на человека, потом трясущимися губами проурчал ему великое баранье слово любви.

— Не бойся, — сказал пастух, — я оставляю тебя у хорошего человека. Если я ухожу, прекрасный мой Арлезианец, так оттого лишь, что сама судьба тянет меня вперед за куртку. Право же, не будь этого, мы с тобой не расставались бы до конца жизни. Об одном только прошу: будь умником с этим человеком, не делай беспорядка в его хлеву, не привередничай, не выбирай трав, не ложись в куриные гнезда, и если у тебя будут овцы, не беснуйся, ешь свою соль потихонечку. Теперь ты принадлежишь к этому дому. Слушайся хорошенько женщин и заставь уважать себя.

Потом размашистым движением он протянул руку папаше.

— Я расплачиваюсь с тобой одним только спасибо, но если я тебе что должен...

— Ничего ты мне не должен, — сказал папаша. — Ты должен... ты должен вернуться к себе на ферму, вот и все. И если твой хозяин не снимет шляпу, когда ты войдешь в ворота, скажи ему от моего имени, что он просто дрянь. Прощай!

На середине подъема, по которому трудно было взбираться с бараном в тачке, папаша остановился. Там, внизу трогалось в путь стадо. Тома загребал воздух руками, как бы месил какое-то большое тесто, и среди трав тихонько всходила опара стада. Потом Тома поглядел в сторону папаши. Он поднял руку в знак прощания и, с высоко поднятой рукой, двинулся вперед во главе своих овец под крепким августовским ветром, который несся ему навстречу сплошной струей, как река.

ВОРОН

— Ворон! — кричит человек.

Жозеф высовывается из травы. Он держит ружье наготове.

— Он слишком далеко, — говорит он, — мне не попасть.

Ворон удаляется на медленных своих крыльях. Слышно, как он летит; великая тишина на земле; только на краю поля тихонько покряхтывает куча навоза, точно что-то жарится там.

— Кабы это было охотничье ружье, — говорит Жозеф, — тогда бы еще так, а с этим поди-ка, поймай его одной пулей!

— Мне страшно, — тихо говорит человек, лежащий в траве.

— Не мужское это дело — бояться птицы, — говорит Жозеф. — Что ж, ты думаешь, я позволю ему сесть на тебя? Ты думаешь, что я, да еще с ружьем в руках... Хороши же мы, если ты боишься!

Жозеф наклоняется к траве, где лежит человек, кладет руку на эти неподвижные плечи, во всю свою ширину распростертые на земле, и голосом, вызванным из самых глубин детства, говорит:

— Я стерегу тебя, старина, я здесь.

А глазами добавляет:

«Я, твой товарищ, я. Значит, нет больше друзей, если я не могу защитить тебя от ворона!»

— Ладно, — произносит тот, поняв все это.

Жозеф опускает ружье, потом склоняется на колени, потом ложится в траву. Молчание нависает и всей тяжестью своей давит на землю.

— Ты снял шинель? — спрашивает человек.

Жозеф не отвечает.

— Ты снял с себя шинель? — кричит человек.

— Что? — откликается Жозеф.

Он сразу вскакивает на четвереньки. Он оглядывается во все стороны. Правое его плечо несколько опущено, потому что правая рука держится за ружье.

— Что? Они тут? Что?.. Я заснул. Больно тебе, старина?

— Нет, я только спросил тебя: ты снял с себя шинель?

— Я здорово устал, знаешь ли, — говорит Жозеф, — точно у меня глаза вырывают. Я вот говорю с тобою, гляжу на тебя, а потом вдруг я — точно дырявая бочка, сразу как-то опоражниваюсь и засыпаю.

— Ты снял с себя шинель? — снова спрашивает человек.

— Да, знаешь ли, почти не замечаешь этого. Третьего дня я оставил ее в Гаменском лесу около Кревиля, в ту минуту, когда они встретили нас у моста ружейным огнем. Помнишь, ты тогда укрылся за столбом?.. Она путалась у меня между ног, я сбросил ее на ходу... Скажика, старина, ты дашь мне поспать?

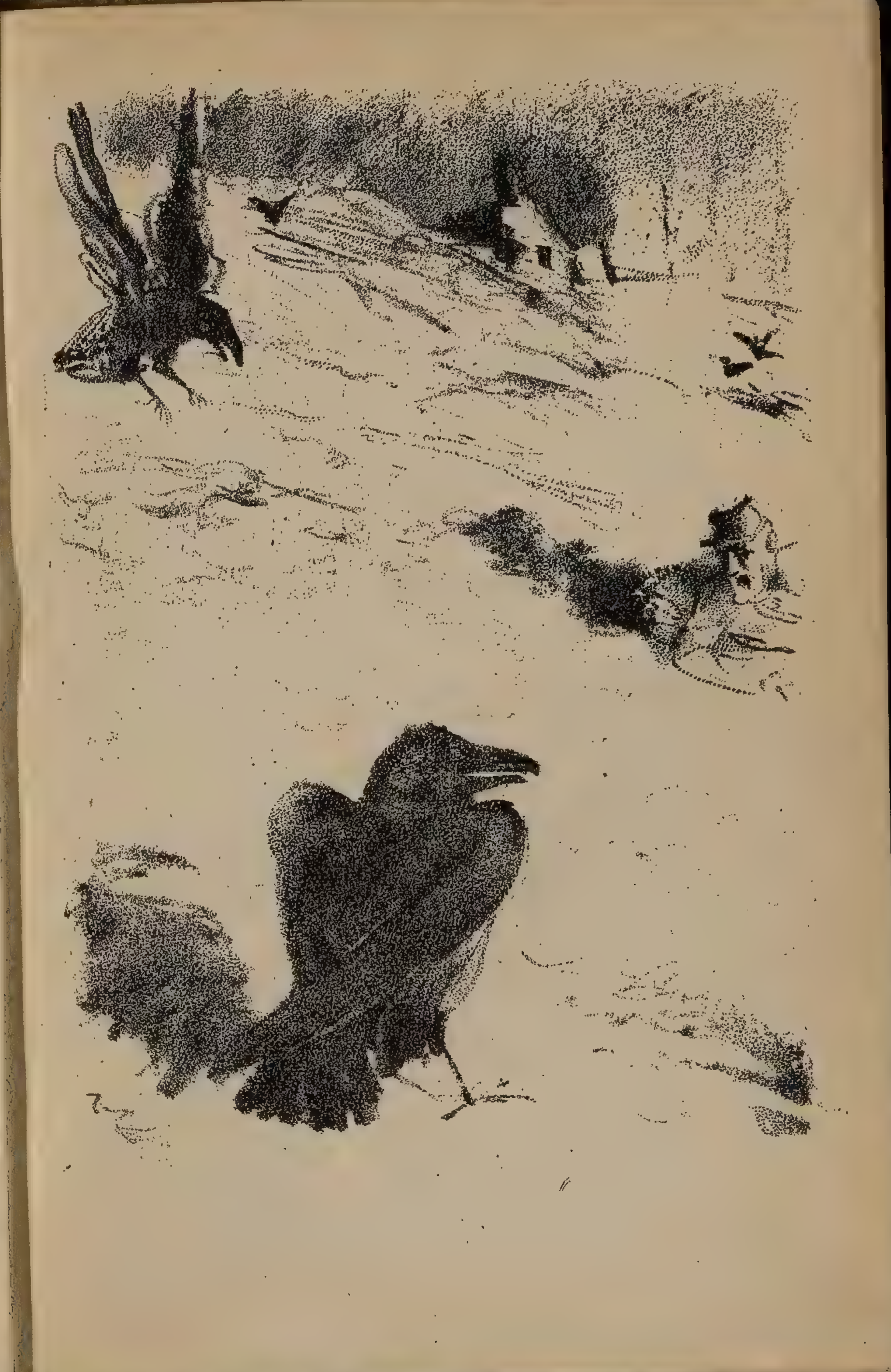
— Сними и с меня шинель, — говорит человек. — Если б подул ветерок, мне полегчало бы. Да и одеяло тоже.

— Оставь одеяло, — говорит Жозеф, — оставь его. Во-первых, оно тебя покрывает, а во-вторых, оставь его. Больно тебе?

— Нет, мне жарко и тяжело. Мне кажется, оно все покрыто грязью... Нет, мне не больно. Если б я только мог окунуться в воду!

— Лежи спокойно, — говорит Жозеф. — Постарался бы ты заснуть.

— Нет, только не спать, — говорит человек. — И дайка мне руку, старик... вот так, не отнимай своей руки.



Мне хорошо, когда я чувствую тебя вот так, подле себя.

Человек высовывает руку из-под одеяла; рука эта сама собой, как маленький зверок, пробирается по траве к руке Жозефа. Они так и остаются лежать, рука в руке.

Дорога вьется вниз, совсем пустынная, потом сворачивает за холм. Дорога вьется вверх, совсем пустынная, потом теряется в лесу.

— Сколько же времени, как они ушли — те, другие? — спрашивает человек.

— Часов пять, должно быть.

— А как сказал поручик? В котором часу приедут за нами?

— Под вечер.

— А найдут нас?

— Мы на откосе, у самой дороги. Он сказал мне: «Приедет повозка, оставайтесь тут».

— Скажи-ка...

— Что?

— Эта рана на бедре — плохая штука?

— Нет.

— Что сказал старший врач?

— Не старший врач, а младший. Старший был уже на лошади. Он уехал вперед. Был тут младший, еще один артиллерист да я. Я сказал: «Это Жюль». Потом я спросил: «Куда ранен?» Мне сказали: «В бедро». Я сказал: «Я его знаю». Потом рану туго-натуго забинтовали. У артиллериста было два пакета с перевязками. Потом вынули из мешка толстую новую рубашку, положили поверх и затянули. А о переноске сказал я. Попробовали. Тут ты проснулся и завопил. Как раз в эту минуту проходила рота, а за нею кухня, и там был поручик — тот, рыжий, знаешь? Я сказал ему: «Тут Жюль». Он ответил: «В повозке места больше нет. Останьтесь здесь вместе с ним. Ждите здесь у самой дороги, за вами приедут». Тогда-то артиллерист и сказал мне: «У меня тут тоже товарищ. Пойдем, перенесем его сюда, поближе к дороге: тебе что одного, что двоих стеречь. И ты скажешь, чтобы и его тоже погрузили на повозку».

— Где же он, артиллерист?

— Тут, совсем рядышком. Ты не видишь его, потому что лежишь, а я отсюда вижу и тебя, и его.

— Он спит?

— Ему удалось заглушить сном свою боль.

Жозеф показывает себе на грудь

— Вот тут у него, — говорит он, — как раз посредине пуля.

— Придвинься, — говорит человек.

Жозеф пододвинулся.

— Наклонись ко мне.

Жозеф наклоняется.

— Слушай, — говорит человек. — Если мы выкарабкаемся, если мы выкарабкаемся оба — и ты и я, ты приедешь ко мне в гости. Ты с юга, — что ж, это не так-то далеко. Ты сядешь в поезд, и вот уже ты в Дижоне, на месте. Вот увидишь, мать хорошо примет тебя. Живем мы на маленькой площади, около крытого рынка. Мать-то у меня гладильщица, и у нее, ты увидишь, три работницы: есть с кем побалагурить. Спать ты будешь внизу, на диване. Если ты даже привезешь с собою свою хозяйку, — что ж, и это пройдет, мы живем все в ладу, можно будет устроиться. Наверху живет почтарь, который всегда кочует, тогда он уступает нам свою комнату. Я-то работаю в типографии. Ну что ж, освобождаюсь я в пять часов, а потом, знаешь ли, могу сказать им: «Сегодня у меня Жозеф». И вот мы пойдем с тобою к Адольфу и скажем ему, чтобы он зажарил нам на углях улиток...

— Ладно! — сказал Жозеф. — Ладно, старина!

Белесоватый пар поднимается от деревьев, как будто они дымятся в пожаре. Там наверху, над туманом, странствует солнце; все удушает густой серый зной.

Артиллерист открывает рот и на мгновение так и остается с открытым ртом. Потом он закрывает его, и кровь густой пеной стекает на подбородок. Он дважды, трижды проделывает это упорной своей волей, возвращающей каемку окраски в узкую белую щель его полуоткрытого глаза. Сквозь кровь силится прозвучать его голос и под конец прорывается наружу.

— Пить! — говорит он.

— Пусти меня, — говорит Жозеф. — Ты слышишь, тот просит пить.

Жозеф просовывает руку под голову артиллериста, тихонько приподнимает ее и подносит к его губам свою металлическую фляжку, наполненную водой. Окровавленный рот — точно зверь; кусая и толкаясь, расплескивает

он воду, вгрызается зубами в железо фляжки. Наконец большими, жадными глотками он начинает пить.

— Спасибо... Тереза!

Легкая розовая пена пузырится у него на губах.

Жозеф встряхивает свою манерку.

— Я пойду за свежей водой, — говорит он.

Он смотрит на Жюля.

— Слышишь, я иду за водой. Лежи спокойно, старина. Оглянуться не успеешь, а я уж здесь. Не реви.

— А ворон?

— Что ж, старик, мужчина ты или нет? Ты будешь бояться птицы? Птицы! Возьми себя в руки и, слушай-ка, не реви, хотя бы для того, другого. Он спокоен. Он совсем затих, ему удалось усыпить свою боль. Он делает все, что может, чтобы оставаться спокойным. Ему и без того тяжко. Минуты не пройдет, я уже приду обратно. А если приедет повозка, пусть подождет.

В конце спуска, за холмом, в полном безмолвии глядели друг на друга три строения: овин, ферма и конюшня. На дороге выблевывал свои шерстяные внутренности продырявленный матрац. Овин был пуст; посредине только лужа лошадиной мочи да старый кожаный ремень.

Жозеф тихонько вошел; он долго всматривался в темные углы. Он подобрал ремень и начал туго накручивать его на пряжку.

В конюшне этой было когда-то три лошади. Здесь стоял еще их запах.

— Крепко же он, видно, здесь засел,—сказал Жозеф.— Стоит только женщине почесать коню челку, и может сделать с ним все, что захочет.

На ферме в очаге лежала сорванная с петель, полусожженная дверь, и дверная скоба валялась тут же в золе. Он наступил на что-то мягкое, как будто на дохлую собаку: это была бархатная куртка, свернутая валиком и, должно быть, служившая подушкой.

Слышно было, как где-то около овина течет вода. Там был выдолбленный в стволе дерева водопой. Всюду кругом в грязи человеческие следы, точно следы большого стада, стерли следы овец и коров; только по направлению к лугу, на сухом месте, виднелись еще отдельные оттиски копыт.

Он опустил свои обнаженные руки в водоем. Наступал

вечер. Видно было, как густым дымом вплывает в ночь серый день.

Он наполнил свою манерку...

— Неживая какая-то эта пора, — сказал он, — точно смотришь на все сквозь стекло.

Он сел на откос — и так и остался сидеть, раскачивая между ног свою наполненную манерку.

Запах фермы навел его на мысль о Шоране и о снопах, которые он сложил на гумне, колосьями вовнутрь.

— Юлия... Она молодец! — сказал он.—Да и девчонка тоже, если только тот не очень будет увиваться около нее.

Шум воды поплыл у него в голове. От этого перед глазами замелькала какая-то панорама: солдаты и стада пушек, и крытые повозки, которыми как барашками курчавились дороги, и люди, которые сбивались в кучу, как бараны, и мертвецы, покинутые и разбросанные повсюду на откосах вдоль дороги.

— Быть не может!

Он раскачивал привязанную к ремню манерку, потом ремень выскользнул из его разжавшихся пальцев. Под мощным натиском сна он, как зверь, уложенный на месте, повалился на траву.

ЮЛИЯ ЛОЖИТСЯ

— Хорошая, ясная будет сегодня ночь, — сказала Юлия, — воздух такой крепкий; и видна Сент-Виктуар.

Ветер с Альп только что одолел загроможденный облаками сумрак, и края неба были теперь тонки и похожи на отточенный край косы. В той стороне, где зашло солнце, горб Люра с дымками его угольных ям купался в зелени небесной лазури, прекрасной, как луговое озеро.

— Ты куда? — спросил отец.

— Задать корму скотине.

Как бывает в ветреные дни, ночь явилась как-то сразу, исчерна-черная, с горящими звездами и широким Млечным путем. Юлия ощупью стала искать дверь вдоль стены хлева.

«Кабы знать, будет ли опять все так, как в прошлый раз?» — думала она. И от одной только мысли ее бросало в жар. Она подняла деревянную щеколду. Да, все было так же, как и в прошлый раз, опять повторялось то же

самое. И отныне всегда будет так. Всякий раз, как она откроет дверь, ее охватит эта ласка свежего сена, этот дух, от которого звенит в висках, как в водоеме фонтана, этот запах сена и лошади, этот густой запах жизни, точно теркой скребущий по коже.

Ах! в прошлый раз она от этого выронила из рук вилы, а потом, нагнувшись, чтобы их поднять, вся до краев наполнилась этим запахом, и движение заставило повернуться в сорочке ее тело, тело пупырчатое, как кожа курицы, и готовое к расцвету, и томное. И было ей в этот миг так, точно она зарылась головой в листву и в ветер. К чему закрывать глаза и напруживаться всей от пят до шеи, если оно проникает сквозь веки, если оно знает все шарниры, заставляющие тело сгибаться, если, короче говоря, это хорошо, если в конце концов в этом нет ничего запретного! Она вспомнила вечер своей свадьбы, когда вино перевернуло все вверх дном, и это ощущение белья, тогда еще совсем нового, на коже, и корсет, здорово стягивающий ее всюду, где полагалось, и самого Жозефа, который целовал ее, раздвигая ей губы, впиваясь в нее ртом, точно вгрызаясь в ломтик дыни.

Юлия поднялась на лестницу и стала набирать сено, выдирая его из общего вороха. От него густой запах и густой вкус на языке, как от крепкого вина. Казалось, каждым взмахом вил она раскрывает какой-то огромный цветок. При свете фонаря на вилах дымилась каждая охапка.

Она вернулась к кухне. У порога она отряхнула ноги; вся она, сверху и под платьем, покрыта была сенной трухой.

Мадлена не то вязала, не то чинила свою сорочку, разглядеть нельзя было, — она была почти совсем в тени. Отец спал, туго зажав губами свой сон. Стенные часы шли своим чередом: тик — направо, так — налево. Бодрящего во всем этом было немного! А надо же порой... Ах! Трудно жить оторванной от мужчин! Юлия потянула носом этот оставшийся на ладонях крепкий запах крупной здоровой лошади.

— Покойной ночи, Мадлена, — сказала она.

У себя наверху она зажгла свечу, потом отодвинула ее, — от жара мог лопнуть стеклянный колпак на часах.

Как раз под этим колпаком хранятся букетик флердоранжа, восковые цветы и клочок белого муслина; а вот

и портрет Жозефа и ее собственный — в день свадьбы. Уж эти нитяные белые перчатки, как неудобно в них было! У Жозефа в петлице флер-д'оранж. У, чудище!

Она распустила лиф, поправила бретели сорочки. Она нагнулась, чтобы расшнуровать свои грубые башмаки Как тяжелы груди! Кожаный шнурок завязан узлом. Лучше, пожалуй, присесть. Голая рука трется об обнаженную грудь. Грудь горячее руки. Она стягивает с себя чулки, как сдирают кожу с кролика. Она выворачивает их наизнанку, потому что пятка прилипла к потной ноге. Вот так, если развесить их на спинке стула, они высохнут. Она поглядела себе на ноги. Приятно пошевелить голыми пальцами. Всюду набивается эта сенная труха — и в чулочные петли, и в швы ботинок, всюду; от нее вся делаешься какой-то липкой. Она вытерла ноги и задержалась, ощупывая толстую голубую вену на подъеме, маленьким червячком набухшую под кожей и вздрагивающую при каждом движении большого пальца.

Она встала и подошла к квадратному зеркальцу, чтобы причесаться. Каменные плиты под босыми пятками — точно луг после поливки, по которому шлепаешь в холодной воде. А на руках все тот же лошадиный запах... Она распустила свои тяжелые, как намоченная шерсть, черные волосы. Надо было бы расчесать их гребнем, но она только скрутила их на кулаке.

А груди свои, что там ни делай, все-таки ощущаешь: если нагнешься, чувствуешь их тяжесть, если приподымешь руки, то под кожей что-то натягивается, точно шнурочек какой.

От Жозефа всегда шел этот живой запах, вроде как запах лошади, запах работы и силы. Когда Жозеф раздевался, это ударяло вам прямо в нос: запах кожи и потной шерсти. Пахло так, как когда приготовляешь острые летние салаты и на дне миски размешиваешь уксус с луком и с сухой горчицей.

Она развязала тесемки верхней юбки и нижней и спустила их обе сразу; потом высвободила голые ноги из этого вороха материи. Затем изо всех сил стала тереть свои бедра. Всюду эта сенная труха, точно вся обсыпана блохами. Ей страстно хотелось немножко побыть совсем-совсем голой, почувствовать на своей коже терпкость этой дивной звездной ночи, отдаться вот так холодным объятьям альпийского ветра, этого прекрасного, очи-

щающего ветра, от которого приливают к мозгу живительные соки.

Она сняла сорочку, взяла свою испытанную жесткую тряпку для обтирания, потом задула свечку и подошла к окну, которое дохнуло на нее звездами и ветром. Она провела жесткой тряпкой под грудями, всюду вокруг них, потом, округлив руку, провела по верхней части груди. Точь-в-точь, как когда вытирают маленькие дыни, забрызганные грязью после поливки. И вправду, со всеми этими жилками и с твердым своим кончиком, твердым, как хвостик стебля, они похожи были на маленькие дыни, и такие же были твердые, и так же трещали под пальцами. Ей приятно вытирать вот так верхнюю часть своей груди. Потом она начала растирать бока, натягивая при этом кожу, чтобы поглубже проникнуть в жировые складки. Она, точно в желобок, просовывала туда на кончике пальца тряпку. Она растерла свои рыжие ляжки.

Ветер большой птицей высоко летал в ночи. В эти последние августовские дни, со своими обезлюдевшими жнивьями и сохнущими на гумнах скирдами, земля все еще пахла хлебом. Ночь затихла, и было жарко.

Все тело Юлии дышало и наслаждалось тем, что оно свободно, что на нем нет пыли, тем, что оно подносит свою разгоряченную кровь вплотную к теплоте ночи. Оно светилось во тьме. Юлия поглядела на себя. Она увидела себя в этой ночной ванне; теперь она видела себя всю, начиная с грудей и до самых пят, там внизу, в глубокой тени.

На бедрах у нее две спускающиеся к низу живота складки. Живот плоский, гладкий, как камень точильщика. Она легонько подпрыгивает на пятках. Стеклянный колпак на часах позвякивает. Груди ее не шелохнутся, они тут как тут, неподвижные в своей прочности, будто высеченные из камня гор. Жозеф, бывало, говорил:

— Это зимняя репка. Ну-ка, покажи свою зимнюю репку, дай-ка сюда свою зимнюю репку...

— Жозеф!..

Кончики грудей набухают, как фиговые почки. Ах! В сердце та же терпкость, что и в этом запахе мужчины и труда.

Вот она раскрывает широкое ложе. Оно так привыкло к Жозефу, что его место до сих пор еще оттиснуто там,

и кажется, будто на белизне простынь еще покоится какой-то человек, тень человека. Юлия одернула простыню, натянула ее поглаже, чтобы стереть... Место Жозефа осталось все там же.

Она надела чистую сорочку. Она вытянулась на постели на своем месте, оставив у себя под боком этого человека-тень. Сон пришел тотчас же, и как раз на самом краю его Юлия опять почувствовала запах лошади на своей руке; потом она зажала руку между ног и заснула.

НА МИЛОСТЬ ЛЮДСКУЮ

Колесо уже расплющивает ему ногу, но лошадь, запряженная в дрожину, взвивается на дыбы, и потом всеми четырьмя копытами опускается ему на живот. Жозеф пробуждается. Рот его еще открыт от крика. Густая тьма вокруг трепещет еще от крика.

«Ночь? Как же так? Меня, значит, бросили?»

Он разыскивает в траве свою манерку. Он все еще слышит этот крик. Голос доносится оттуда, сверху, из сада.

«Жюль!.. Ах, я спал!»

Он бежит по глинистой земле. Он ищет под яблоней.

— Жюль! Жюль!

— Свинья! — говорит тот, стиснув зубы. — Свинья! Свинячья твоя порода! Ты ушел, ты хочешь бросить меня. Сукин сын! Теперь-то я раскусил тебя!

Жозеф дрожащими руками шарит в траве. Он касается лежащего скрюченного тела и этого кипящего гневом и страхом тяжелого дыхания.

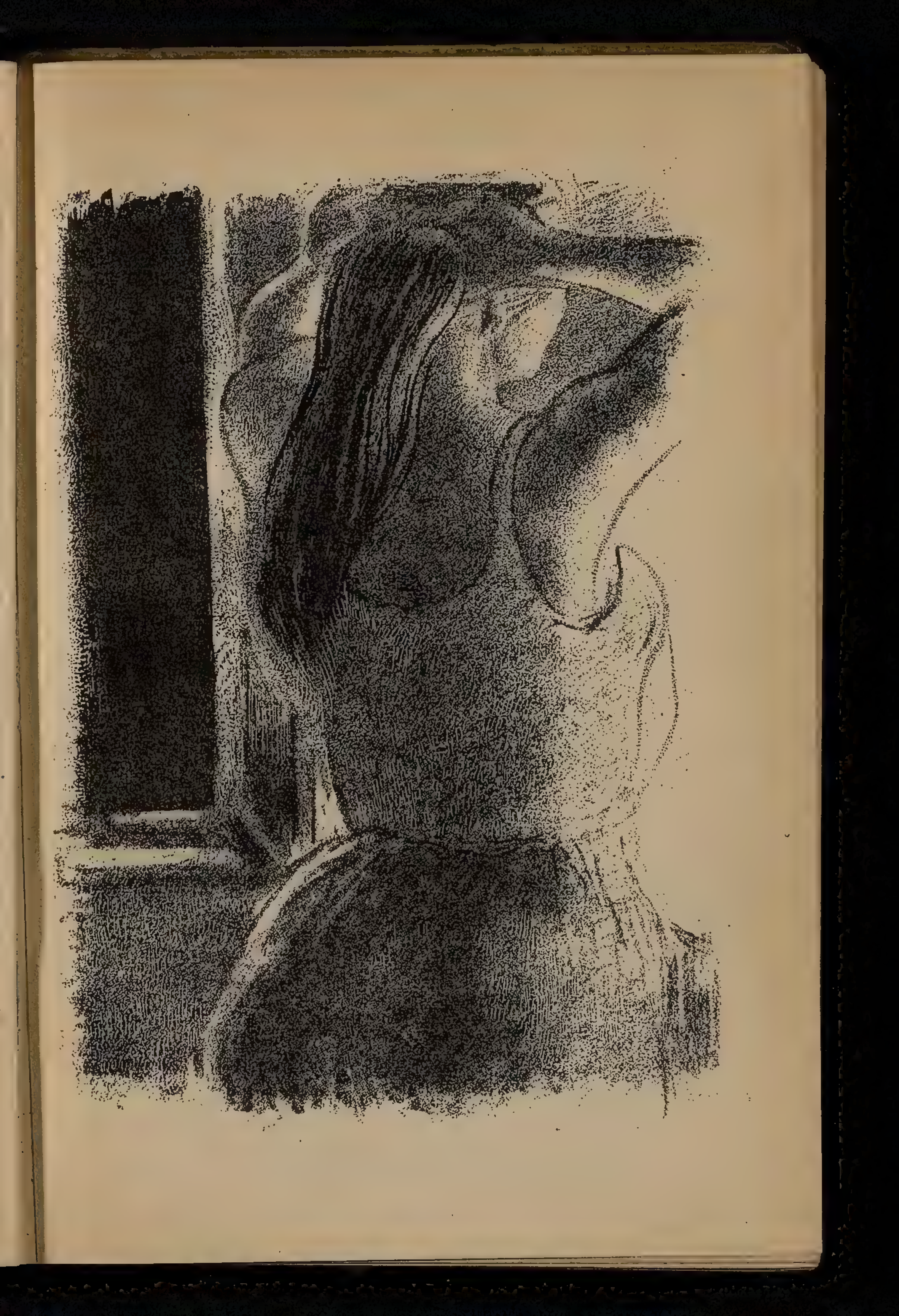
— Жюль! Полно, Жюль! Пожалей ты себя. Подумай, скажи-ка мне... Я здесь. Вода, понимаешь ли, вода для тебя и для того, другого. А потом этот сон, Жюль... Тогда уж перестаешь быть человеком, понимаешь? Что ты с ним поделаешь?

— Свинья, свинья! — тихонько бормочет тот.

— Ползти по земле с эдаким вот бедром! Нет, это уж слишком! Где же твой рассудок, старина? Значит, ты не доверяешь мне больше? А я-то...

— Мне больно!

— Ну, вот видишь, старина, видишь! Оставался бы ты на своей травяной постели. Ведь я успокоил твою боль, приладил все. А ты — ты потащился ползком по земле!



Чего же ты хочешь теперь, старина? Помоги мне, ведь я-то тоже один, Жюль!

Травяное ложе было тут же неподалеку, и на нем комом лежало одеяло, а кругом, вокруг всего этого знойная и суровая, как стена, ночь.

— Идем, — сказал Жозеф, — идем! Постарайся как-нибудь полегче повиснуть на моих руках. Ах, и сам-то я натерпелся!

— Мне больно!

— Ни слова, старина! Не разговаривай. Видишь, я удобно уложил твою ногу, а теперь опять надо налаживать все сызнова, да к тому же сейчас, в полной тьме...

Он старается придать нежность своим грубым рукам, и колбаски его пальцев осторожно ощупывают Жюля. Одну руку он подсовывает Жюлю под шею, другую — под что-то горячее и липкое, окружающее место раны; затем, приладившись таким образом, он напрягает всю свою большую силу и медленно волочит свою ношу, пытаясь подтащить ее к травяной постели. Какой-то хрип боли вырывается у Жюля, и Жозеф так истомился своей жалостью, что ему хочется выблевнуть ее, избавиться от нее, выблевнуть ее вот здесь, на краю дороги, оставить тут и уйти, только бы не выносить больше того, что он выносит: этой силы, которая в борьбе со страданием других не более как маленький затерянный ручеек.

— Тихонько, старина, тихонько!.. Все конечно. Ну, вот! Пройдет, утихнет, как недавно. Не плачь! Кабы мог, рукой бы снял с тебя эту боль.

Ночь тверда, как цемент. Слышны только стоны на уровне земли.

— Останься тут, останься тут, подле меня, не уходи больше! Держи меня за руку, не выпускай моей руки... Останься тут, мне страшно одному! И говори, говори со мной. Расскажи мне что-нибудь. Расскажи! Говори о чем хочешь. Наплевать — о чем, но говори. Я умру! Что сделал я, чтобы помирать вот так, одиноким? Как зверь. Один-одинешенек... Говори же! Никто за мной не приедет. Хоть и сказали, а видишь... Уехали, бросили меня. Покинут я. Один-одинешенек. Говори! Я умру.

— Старик, старик, образумься!.. Нет, ладно, я буду говорить. Нет, это неправда, я здесь. Я не допущу этого! Нет, Жюль, не бросили нас. Все было переполнено, слиш-

ком много было народу. Поручик сказал, что за нами приедут. Образумься, старина, образумься!

Он, сам того не замечая, гладит его по лицу своими покрытыми ссадинами, жесткими, мозолистыми руками. Рука, точно терка, скребет щетину щек.

— Я совсем рядышком с тобою, видишь? Я остаюсь тут, подле тебя.

Он даже делает вид, что посмеивается.

— Вот я сгреб тебя в охапку... чувствуешь? Я прижимаю тебя к себе, чувствуешь? Мы крепко любим друг друга. Полежим вот так, рядышком. Не шевелись. Все утихнет, как недавно. Постарайся успокоиться. Скажи-ка, помнишь, я приеду к тебе в гости в Дижон? Не беспокойся, ты не один, мы вдвоем, мы с тобою вдвоем.

И во всей окружающей тишине ничего уже нет. Ничего: ни земли, ни деревьев, ни травы — ровно ничего. Это тишина открытого неба, в полной пустынности неба.

— Тут я, тут, — говорит Жозеф. — Не бойся.

— Да, — отвечает Жюль.

К северу, за холмами вспыхнул большой пожар. Огонь далеко. Кругом все та же тишина. Видно только, как мерцает зарево. Оно долго пляшет на фоне ночи, потом перестает двигаться и горящими углями тлеет там, вдали. Артиллерист зовет:

— Тереза!

— Да, — отвечает Жозеф. — Я здесь.

И тот начинает говорить. Бормотанье прерывается хрипами и захлебывающимся дыханием. Жозеф уловил только: «Малыш», потом: «Один», и еще раз: «Один», потом опять: «Малыш, малыш!»

— Да, да, малыш, — сказал Жозеф.—Да, не беспокойся.

Все кончилось каким-то бульканьем, потом тот выплюнул что-то мягкое. Он дышит легче. Это, должно быть, маленький сгусток крови.

Жюль спит.

«Что же в точности сказал он, поручик? — думает Жозеф.—Он сказал: «Оставайся с ними. Повозку пришлем обратно, как только сможем». Кабы знать, правда ли это? «Как только сможем», — значит, тотчас же. Нет, это значит... В конце концов—да, если только походный госпиталь находится именно там. Тогда он разгружает повозку и опять посылает за ранеными. Если он где-ни-

будь подальше, тогда может произойти некоторая задержка. Как бишь называется это место? Безанкур? Безанкур, что ли?.. Ну, так вот, повозка доедет до Безанкура, разгрузится и приедет за новым грузом, вот и все! Если только по пути отсюда на дороге не оставили еще раненых... Ну, так что же, — четверо с одной стороны, четверо — с другой, восемь-то мест там имеется. Потому что Жюлю, если взяться за него сейчас же, Жюлю, я думаю, удалось бы еще помочь...»

Заря подкралась как-то исподтишка. Тут как раз умер артиллерист. Он попробовал было глубоко вздохнуть, и на полувздохе все уже было кончено.

Жюль все еще спит. Скулы у него зарумянились, а щеки вокруг, под бородой, бледны.

«У него не скверный вид», — думает Жозеф.

Ну, а артиллерист, значит, совсем успокоился. Остаток жизни мгновение еще держал его грудь выпуклой; теперь она сразу опала, точно провалилась крыша.

— Этого-то мне придется убрать отсюда, — говорит Жозеф. — Нельзя оставлять его здесь, под боком, из-за мух, да и вообще...

Он думает:

«Когда окоченеет или пока еще не окоченел? Как будет лучше? Подождать, что ли?.. Если я буду ждать, то тем временем проснется Жюль. Да и кто сказал, что окоченелого его удобнее будет нести? Все дело в том, чтобы взвалить его на плечо, головой за спину».

Он, приподняв за ноги, взвесил мертвеца.

— Ну-ка, идем!

Потом добавил:

— Подожди, старик!

Трудно было поднять его сразу.

— Ну-ка, старик! Ну...

И он постепенно, в несколько приемов подтянул его к самому плечу.

— Наконец-то!

И он зашагал по полю.

Он отнес его туда, наверх, и положил за изгородью. Он снял с него бляху: это был некий Селестэн Бурж.

День насквозь туманный. Ни деревьев, ни холмов — ничего нет. Все где-то там, за белой стеной. Осталось только немножко травы, как раз там, где сидишь, где

лежит Жюль, да черное пятно: ствол яблони, около которого умер артиллерист. Ничего нет вокруг.

Жюль проснулся. Он открыл глаза. Он взглянул на Жозефа, потом засмотрелся на большой клок тумана — и так и замер. Все серо, все однообразно. Но Жюль как будто различает что-то. Как в водной глубине. Потом он опять закрывает глаза.

— А повозка-то приедет, да?

Туман поблескивает, как сахар.

«А повозка-то приедет, да?» — повторяет про себя Жозеф.

Всюду вокруг какой-то запах гниения. Жозеф поднимается. Мгновение он стоит и смотрит, не проснется ли Жюль. Нет, на этот раз он погрузился в глубокий сон. Откуда же этот запах? И Жозеф пошел посмотреть на артиллериста. Тот лежит все такой же, как был. Он уткнулся лицом в землю. Земля под ним отсырела, но запах идет не отсюда. Нет, здесь еще не пахнет. И наоборот, подходя сюда, удаляешься от запаха, а возвращаясь к Жюлю, возвращаешься и к запаху. И на этот раз запах стал сильнее. Так, значит...

Он кладет руку на плечо Жюлю, он опускается рядом с ним на колени.

— Жюль, — говорит он. — Жюль, старик мой! Проснись тихонько... Проснись тихонько, старина!

— Что? — вскрикивает Жюль. — Что? Повозка?

— Нет! Послушай...

Потом Жозеф наконец решается, и голос его дрожит при этом.

— Придется мне немножко осмотреть твою рану, старик...

Он снимает одеяло. Да, вот это откуда! Он отстраняет искромсанное сукно брюк, переплет бинтов и то, что в свернутом виде лежит в отверстии раны. Да, отсюда. Рана открывается. Ах, этот запах!

Но чем же прогневали мы господа бога?

Там, внизу все побагровело и шевелится, как густое молоко, которое вот-вот вскипит и потихоньку пенится.

— О! — безотчетно вскрикивает Жозеф, точно призывая к себе всех, кто там, по ту сторону тумана.

— Что? — тихо откликается Жюль.

— Ничего, старина, ничего... Так, показалось. Теперь они все-таки не замедлят приехать. Больно тебе?

— Нет, я весь точно одеревянел.
— Хочешь пить?
— Не заставляй меня думать.
— Выпей, выпей немножко, это смочит тебе глотку... Ну, вот! А теперь я опять накрою тебя одеялом. Вот так, видишь... Не больно? Ладно. Мы остаемся здесь. Погоди-ка, я выброшу все это.

И он выбрасывает по ту сторону тумана прогнившие повязки.

Окоченелость, точно кол, войдя в тело, отбросила голову Жюля назад. Глаза его закатились, как будто он разглядывает свои волосы. Он спал с открытыми глазами. Во сне он долго жевал воздух. Он жевал, он смаковал воздух; видно было, как между губ его медленно шевелится его толстый белый язык. Наконец он отбыл в великие просторы воображенья и заговорил:

— Я увидел тебя снизу. Ты вот так наклонила лампу. Ты поглядела на лестницу. Я увидел твою руку на перилах. Не отказывайся, я видел тебе. Я все понял. Я нарочно хлопнул дверью. Ах, слушай! Только не на площадке лестницы! Проходи тихонько. Внизу спят.. Ведь мы у Адольфа были. Ты портишь себе кровь, старуха, а спрашивается — почему? Почему? — спрашиваю я тебя. Ну! И из-за чего, подумай только? Я же говорил тебе, — ты морозишь себя здесь, на лестнице. Зачем все это? Я человек выносливый. Я сам поднимаюсь по лестнице, открываю дверь и ложусь. Знаешь, когда я напьюсь, во хмелю я мрачен. Что ж, опять случай с Розой пришел тебе в голову? Он то-и-дело приходит тебе в голову. Эх, мать моя, ты из какого-то особенного теста сделана! Так знай же, я уже вышел из пеленок. И что ж, ты воображаешь... Каждый сам знает, куда идет. Роза-то ведь не ребенок. Но такое уж у меня ремесло, мать моя! Под пальцами всегда свинец да свинец, и всегда ты у набора, и все потягиваешь себе и потягиваешь. Да и что бы это было, если бы нельзя было время от времени пропустить стаканчик водки! Правда, ты любишь своего сына? Подохли бы мы все от колик! А ты еще беспокоишься... Брось это, право!.. Довольно с меня всего этого! Будь что будет, — ни шагу больше не сделаю. Далеко еще до деревни-то?.. Жозеф! Жозеф!
— Да, старина! Да, я тут. Я слушаю тебя.

— ... Слушаешь? Я же ничего не говорю.

— Ну да. Но я тебя слушаю.

— Скажи мне, приятель...

— Что?

— Поговори со мной немножко... Поговори... Ах, тяжко мне!

Жозеф положил руку Жюлю под голову, но поднять голову Жюля уже невозможно; и нельзя прижать его к себе с мягкой его мужской штукой, в которой и жизнь, и тепло, и правда живого тела. Весь он стал какой-то жесткий и негнущийся, как полено. Жозеф вытягивается во всю длину около Жюля: так он сможет прижать его к себе.

— Слушай...

Он сможет прижать его к себе. Он, как и Жюль, вытянулся во всю длину на земле, и не здоровые его ноги, не руки помогут ему в этом.

— Слушай,— говорит он,— слушай... Я расскажу тебе...

— Да!

Помочь может только то, что там, внутри, в глубине сердца, и поэтому надо вытянуться рядом, придвинуться поближе, чтоб он чувствовал.

— Слушай, что я буду рассказывать тебе, старина! Вот увидишь... Мы здесь с тобой вдвоем, и мы крепко любим друг друга... А ферма-то моя называется Шоран. Она в Валансоле, на плоскогорьи, как раз в миндальной роще. Слушай, старина! Вот увидишь, увидишь! Надо немножко пройти вниз по дороге, а там темно, как ночью, потому что попадаешь во фруктовый сад, с орешниками, прекрасными деревьями, старик! И сырость там доходит до самых колен, такая там тень, и все камни вокруг покрыты мхом. И это всего в двух шагах от фермы. Ты пьешь кофе в кухне, и если только ты сядешь против стеклянной двери, тебе все это видно... И вот Юлия говорит: «Нарви-ка мне зелененьких, я сделаю тебе орехового вина». Затем кладут орехи в стакан с водкой, и они так и остаются зелеными, а потом уже из них делают варенье. Вот матушка моя, знаешь ли, была на это мастерица...

Жюль как будто совсем заснул. Потом:

— Говори, — произносит он. — Что же дальше? Орехи...

— Так вот, значит, об орехах... Если случится тебе, по

необходимости, студеным утром выехать из дому еще до кофею, а это в наших краях вещь обычная, ты всунешь себе в рот этакий орех из варенья, и, прежде всего, у тебя надолго хватит жвачки, а потом это мягчит и смазывает тебе изнутри горло, и тебе тепло от него, не хуже, чем от шарфа. Так-то, старина!

— Виноградные лозы у тебя есть?

— Старые. Оставил так, по привычке. Есть, например, лоза у самой двери в конюшню. Отец даже хотел выдернуть ее: «Чтобы проносить на чердак полову», — говорил он мне. А я сказал: «Ну, нет! Будем лучше ходить поосторожнее». И вот оставил я эту лозу. Старая она, что и говорить! А почем знать? Она может еще принести тебе несколько гроздей, да таких, что тремя ты наполнишь целую корзину. Ну, а все остальное — старье. Да и местность у нас не такая. Это не то, что у вас. Там — другое дело. Но плоскогорье... нет, старина! Старина, а старина?

— Да.

— Больно тебе?

— Что? Нет, не больно. Говори...

Туман поредел. Погода меняется.

— Низины колосятся, поля под деревьями тоже покрыты колосьями, и так—куда ни глянь. Минутами ты ничего не слышишь, а потом вдруг услышишь, как зашумит сразу весь хлеб. У нас четыре козы. Рослый конь: зовут его Батистэн, Титэн. Окликнешь его так, он и пойдет. У него вот тут на голове чолка. Стоит только почесать ее — и каждый может сделать с ним все, что захочет, даже женщина. Когда я бороню, я только кликну: «Ну-ка, Титэн! Вперед!» Потом я сам вскакиваю на борону, и он тащит нас по всему полю. Иногда, когда еще сыровато, земля вся в комьях, — тогда я поднимаюсь и опускаюсь, как на волнах: Алле-гоп, алле-гоп!..

Жюль дышит в такт этому голосу, он весь под защитой этого голоса, который поддерживает и увлекает его, и тянет. Вот он мурлычет, как ребенок, прижавшись к отцовской щеке.

— А Юлия надела свое праздничное платье. Значит, идем в Бра. Это в глубине долины, у Ассы — это река. Летом она пересыхает, и можно перейти ее по камням. И там, видишь ли, там-то впервые мы, она и я, взяли друг друга за руки, и так и остались рука в руке, под

этим дубом, под зеленым дубком. Говорили мы о пустяках, только глядели друг другу в глаза. Я-то, знаешь ли, не очень-то прыток... Больно тебе?

— Да. Говори...

— Так-то, старина, так-то... Что ж поделаешь! Так уж положено. И поди-ка, поспорь!.. Ах! Слушай, слушай... Воскресенье. Со всех сторон звон, и мы слышим его там, наверху. И Юлия надевает праздничное платье, и ты — тут же. Ты с нами. Приладили доску к задку тележки, и мы все вместе отправляемся в Бра. А там бал, и ты тоже там, старина! Ну, вперед! Вперед! И пусть все кругом вертится!

— Нет, — говорит Жюль. — Знаю, обманщик! Говори потише.

Только к ночи устал Жозеф держать в своих объятиях это одеревянелое, мертвое тело. Он встал. Взглянул на простертого в траве Жюля.

— Ну, вот!.. — сказал он.

Он снял с него бляху. Проверил, точно ли у него обе бляхи в кармане, и пустился вниз по дороге. В великой тишине слышен был только шум его шагов.

ТРУПНАЯ МУХА

— Мадлена, — говорит Юлия, — если бы ты захотела поступить правильно, ты взяла бы корзину с крышкой и отнесла бы мадемуазель Дельфине кролика. Она третьего дня видела отца и говорила, что к ней приехала из Парижа сестра.

И Юлия подмигнула с лукавством на ясный полдень. Отец читал газету.

Валансольская дорога ровно тянулась под миндальными деревьями, потом переламывалась на спуске и по дубовой рощице сбегала к краю плоскогорья.

Осень тихо подходила к концу. На виноградниках не было больше листьев, и ветер не затихал уже к полудню; он перескакивал через полдни, пренебрегая ими, и продолжал разгуливать до самой ночи; он гонял по небу разноцветные облака. Порой он и за-полночь шатался здесь.

У последних миндалей Мадлена остановилась. Отсюда как раз видна была Гардетт; по эту сторону свиного хлева Оливье чистил свиней, видно было, как он вилами вы-

брасывает навоз и как тот продолжает дымиться на земле.

Она послюнявила губы и резко свистнула. Потом — четыре раза, громко и раздельно, чтобы точно указать четыре часа, — время, когда она предполагала вновь притти.

Оливье вышел из хлева. Он огляделся кругом. Она свистнула еще раз, чтобы он увидел ее. Тогда Оливье поднял руку, потом тоже свистнул, чтобы сказать ей — да. И протяжным своим свистом он умел сказать все, что приходило ему в голову, совершенно точно, и это звучало, как голос: «Да, моя радость! В четыре часа!»

Дубовая рощица уже успела утомиться этой наступающей зимой, такой беспокойной и ветреной. Пахло мертвым листом, и дорога уже не пела под ногами.

«Прекрасная пора — это время после заката, часа в четыре дня! Уже вечереет, но вечереет чуть-чуть, и видишь друг друга. И я сделаю так, чтобы он был у меня с левой стороны, — думала она, — и таким образом я буду видеть его глаза, потому что свет тогда будет падать с правой стороны. А если он выйдет ко мне навстречу к дубкам, хотя бы только к часовне, то можно будет поцеловаться. Она-то это знала, Юлия. И через каких-нибудь восемь дней уедет и он...»

Они пошли вниз по церковной улице. Никого не было у дверей. В окнах видны были очаги с пылающими в них углями. На площади одиноко стоял фонтан, да маленькая девочка старалась просунуть оливковую ветку в оконце козлиного хлева.

— Мадемуазель, это я, с кроликом.

— Входи, дитя мое... Видишь, Клеманс, — говорит мадемуазель Дельфина, — это дочка Жерома. Посмотри, какая вышла из нее красавица! А этого-то куда же нам деть? В прошлый раз... Если б ты была умницей, Мадлена, знаешь, что бы ты сделала? Сегодня пятница, он отлично простоит до воскресенья при этакой погоде, да вдобавок еще в уксусе... Ты бы мне его убила.

— Но только не при мне, — говорит Клеманс, — только не при мне! Это выше моих сил, я не могу перенести это!.. Ах, нет, дитя мое! — говорит она Мадлене, которая уже подняла было кролика за задние лапки.

— Поди на кухню, дитя мое, — говорит Дельфина.

Она садится в кресло. Она поглаживает свои жирные колени.

— И ты, ты можешь вынести это? — говорит Клеманс

— Не могу сказать, чтобы это было мне по вкусу, но раз нужно это делать, так делаешь.

Мадлена сильным ударом кулака ошарашила кролика по голове. Кровь стекает с мордочки в миску. Удар слышен был в комнате.

— Ты обдерешь его мне и выпотрошишь, не так ли, дитя мое? За дверью ты найдешь передник, там же доска и сечка... Ну, ты у меня молодец!

— Что же дальше? — говорит она Клеманс. — Продолжай.

— На чем я остановилась?

— На том, что возчик оставил тебя в Гаргане, и ты встретила там этого человека в одной жилетке, который шел куда-то со своими папками под мышкой, а маленькая девочка кричала ему вслед: «Папа, папа!» А потом этот африканский стрелок...

— Там все полно было африканских стрелков, и видно было, как они десятками уходят куда-то в поле, потом возвращаются бегом. Был среди них один, который саблей срезал со шпалер виноградные кисти.

— Да, именно на этом ты и остановилась: срезал саблей...

— Но прежде, Дельфина, — говорит Клеманс, положив на руку сестры свою пухлую розовую руку, — но прежде я хочу сказать тебе относительно кролика. Не делай из него рагу: кровь слишком долго варится, тогда она теряет вкус. А ты вот как сделай: ты потоми мясо в глиняном горшке вместе с луком и томатом, а когда оно сварится, как раз перед тем, как подавать на стол, ты польешь его свежей кровью. Но как раз перед тем, как подавать, не раньше. Свежая кровь, знаешь ли, придает такой вкус...

— Но с тмином все-таки?

— Да, с тмином и со всем, с чем полагается, а потом уж увидишь, правду ли я говорю...

...Итак, я дошла до Вильпаризи. Всюду было совсем пустынно. На перекрестке дороги Аннэ, там, где старая печь для обжигания извести, — знаешь? — был санитарный пункт. Я иду к старшему врачу. «Подпишите мне бумагу», — говорю я. Он подписывает. Вид у него был

встревоженный. Он все выглядывал наружу, то-и-дело задерживая перо, прислушивался. Потом я спросила: «Ведь не думаете же вы, мосье... Относительно Жаблина что вы скажете?» — «Мост взорван», — сказал он мне. «Как же быть?» Он сворачивал бинт. «Вас проводит солдат, — сказал он и добавил: — уходите поскорее, с минуты на минуту могут привезти раненых. Идите, мадам, время терять нечего». Он сразу обратился в медведя, этот человек.

Так и было: меня проводил солдат; голова у него была забинтована. «Не дадите ли вы мне десять су?»—сказал он. Пришлось дать ему эти десять су. Я подумала: «Когда ты вернешься домой...»

Но тут, бедная моя, пошла такая кутерьма! Ах, знаешь ли, когда ты одинокая женщина... Прежде всего отовсюду повалил народ, и им переполнены были весь день все дороги. А подконец прошел маленький мальчик, один-одинешенек, с яйцом в руке. За ним шел гусь, он кричал мальчику вслед. А мальчик кричал вдогонку тем, кто ушел вперед. Все, казалось, сошли с ума.

Посреди ночи дом вдруг затрещал, потом кто-то стукнул в ставню. Я зарылась под одеяло... На следующий день я поняла, в чем дело: это был плющ. Знаешь, плющ... ты ведь помнишь старый плющ? Это был он. Он, Дельфина. Он закинул свою лапу на ставню и пытался ее сорвать. «Погоди! — сказала я. — Я-то не уехала еще». С палкой в руке я расположилась у окна и караулила весь день, и когда он подползал слишком близко, я изо всех сил лупила его. «Угомонишься ты у меня!» — говорила я. И он угомонился, когда лапы у него были перешиблены.

И все это время по мощеной дороге раздавался лошадиный топот, и что народу прошло, что народу! А на другом берегу Марны все время звучал рожок, и там вдали где-то гремели ружейные выстрелы. А потом — пушка. «Ах, — говорила я, затыкая уши, — довольно, довольно!» А тут как-то переправились через Марну гусары. Потом они поскакали по той стороне. А потом, вижу я вдруг, они окружили стог сена. И ну его рубить саблями! Спрашивается, что они там рубили? И вот на следующий день я взяла часы и сказала себе: «Когда ты приедешь в Париж, ты напишешь Дельфине и отправишься в Валансоль».

При въезде в Аннэ, у виллы «Ла кокэт», к решотке перед фасадом привязали Шумахера. «За что?» — подумала я. Помнишь, это тот самый, который шил такие хорошенькие ботинки? «За что же?» — подумала я. Подхожу. Он умер. Да, да, так-таки умер, Дельфина, умер, понимаешь ли... Бедняга так облеплен был мухами, что казалось — он шевелится...

— Ну вот, — открывая дверь из кухни, сказала Мадлена, — шкурку я повесила на окне, печонку положила в миску. Желчь выпустила. Лапы отрубила. Я хорошенько смочила его уксусом, как вы велели. Кишки в ведре. Все уже совсем готово. Но вам следовало бы самой посмотреть и убрать его, а то в кухне у вас летает большая жирная муха.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕСНА НА ПЛОСКОГОРЬИ

Мадлена поспешно вытирала руки кухонной тряпкой; все тело ее готово было лететь навстречу призывному свисту: она уже выходила, когда внезапно появился отец.

— Поди сюда, — сказал он. — Вот почитай-ка, да позови Юлию.

Из окна, распахнутого прямо в весну, сквозь гущу миндального цвета, можно было проникнуть взглядом в самую глубь, до синих гор. А там, под дубками, свистел Оливье.

— Ну вот, всегда так... — начала было Мадлена.

— Что всегда так? — спросил отец:

— Ничего. Давай письмо.

И говоря это, она берет письмо брата и закрывает окно.

— Юлия! — зовет отец.

Та входит. Она занимает всю ширину двери крепким своим, здоровым телом, выточенным, начиная с головы и округлости грудей до прекрасных ног, тонким резцом. Ее удлиненные бедра оттопыривают юбку. Она приглаживает свои черные волосы, которые лоснятся, как масло на донышке глиняного кувшина.

— Получено письмо, — говорит отец. — Читай вслух, Мадлена.

Он опирается на палку и поворачивается к ней здоровым ухом. Юлия глядит куда-то в даль, по ту сторону окна, туда, где весна, горы и миндали в цвету.

— «Дорогая жена и дорогой отец!»

— Каким числом помечено?

— Двадцать вторым марта.

«Дорогая жена и дорогой отец!

Посылаю вам весточку о себе, пока что вполне утешительную. Когда я получил вашу посылку, мы как раз были в походе, а вы знаете, что в дороге ничто не идет мне на пользу, из-за моих ног. Ну, вот я и решил подождать. Благодарю тебя за телячью колбасу. Надо будет прислать мне кусок топленого свиного сала, чтобы мазать ноги, а то здесь у меня с ногами та же история, что и дома. Я часу не могу пройти, не повредив их. Теперь еще хорошо, с тех пор как я получил эти домашние туфли: я надеваю их, как только возвращаюсь. Да только они промокают. На этих днях получил я открытку от кузины Мари, которая меня очень порадовала, особенно тем, что она, повидимому, воспринимает жизнь с хорошей стороны. Мне хотелось бы ответить ей, но она так плохо написала адрес, что невозможно понять, название совсем смазано. Если она перешла на другую ферму, она приедет в Шоран, это уж наверняка. Я ее знаю. Смотрите же, не давайте ей моего плуга с двойным сошником. Она на него зарится. А вы знаете, что на отдачу она...»

— Погоди,—сказал отец; он оборачивается к Юлии. — К слову сказать, подумала ли ты о плуге?

— Он подвешен, — говорит она, — за крюк и за обе рукоятки. Я осмотрела его: дерево в порядке, не ссохлось, и вот уже почти что месяц я поливаю железо подонками, которые остаются в масленке.

— Ладно! Скоро придется ведь пустить его в дело. А Мари в Сен-Фирмене?

— Да, в Шовиньере, при Сен-Фирмене.

— Ну, продолжай!

«...Здесь не слишком-то весело. Но ничего не поделаешь. Лишь бы только вернуться домой, — это все, что нам нужно. Только что падал снежок. Сейчас идет дождь. Не забудьте про топленое сало. Дорогая жена, там, где я стоял вначале, это было на ферме, они нашли способ удобрять свиным навозом. Я видел, что они подсыпают его под мелкие растения. Тогда я сказал, что они перегорят.

А они сказали, что — нет. Потому что перегорает от мочи, они же устроили желобок, куда она стекает из-под навоза, так что теперь можно с успехом им пользоваться. Сектор наш неплох. Мы сменили территориальные части. Не надо только валять дурака, и можно жить спокойно. Перпиньянец, о котором я вам говорил, тот самый, что служит на фабрике сандалий, был убит вчера. Но случилось это по его вине. Я-то не из таких. Мне сказали, что теперь, быть может, мы попадем в большое сражение. Я не могу назвать вам местность; вы сами должны понять по газетам, что я имею в виду. Только не волнуйтесь. Ничего еще неизвестно. В конце концов это для всех обязательно. Да! Вот еще что я должен сказать вам: я узнал от одного валансольца, который на службе связи в Колоне, что сын Боннэ убит. Скажите его матери, что я очень ей сочувствую. Должен сказать также, что вы большие трусы, что упустили случай с фермой Казимира: раз она продавалась, надо было ее купить, рискуя даже тем, что она зарастет травой. Приехал бы я и все наладил бы. А что с ним, с этим самым Казимиром? Вы сообщаете мне, что молодой Оливье должен отправиться теперь на фронт, — смотрите же, не упустите случая на этот раз. Эта молодежь всегда прет на рожон. Он, быть может, будет убит, да и кроме того, так как остаются одни только дедушка и мать, они могут захотеть продать свой участок на нижнем склоне. Это бы нас устроило. У нас там как раз клочок земли, который пропадает зря, а так бы мы округлили его. Отец, отнесись к этому внимательно и проследи-ка за этим. Как только он уедет, пойди осмотри этот участок, и ты увидишь. Больше сказать мне вам нечего. Целую сестру мою Мадлену, и хорошенько помни то, что я тебе говорил. Я об этом не забыл.

Обнимаю тебя, дорогая жена и отец.

Жозеф».

Юлия вздохнула. Мадлена передает ей письмо. Та складывает его еще раз и сует в карман передника.

— Он прав, — говорит отец. — Мы и вправду прозевали. Надо будет последить за Гардетт. Оливье проводит

здесь нынче свой последний день. Вечерком пойду, погляжу на этот участок.

Юлия вздрогнула, и отец замолчал и посмотрел на нее.

— А человек из мэрии уже рыщет по полю, — сказала она.

— За кем? — еле разжимая губы, сказал отец.

— Ах, я все еще чувствую это вот здесь! — воскликнула Юлия, ударяя себя в грудь. — Он поровнялся с нашей дверью. Тогда я... И он видел, как я вышла, так, в чем была. «Нет», — махнул он мне рукой.

— Так кто же?

— Артюр Бюиссонад.

— Артюр? — сказал отец. — Этот рослый парень? Муж Фелиси? Тот, что так хорошо умел прививать виноградные лозы? Тот, что помог нам в злополучный год грозы? Тот самый, красавец мужчина?

— Да, — сказала Юлия, — тот самый. Филиси осталась теперь одна, с ребенком на руках.

— Подай мне палку, — говорит отец. — Я пойду туда. Женщина, одна-одинешенька! Одна с таким горем, в такой прекрасный день... Свинство — такая погода!

Он берет палку. Он выходит: он с треском распахивает дверь прямо на весну.

Мадлена, прижавшись лбом к оконному стеклу, смотрит на отца. Он что есть мочи спешит по дороге в Бюиссонад.

— Ну, и покойников же будет! — говорит Юлия. — Ну, и покойников же будет! — снова говорит она. — Не верится даже, что это возможно... Артюр! Помнишь его, Мадлена?

Мадлена, прижавшись к стеклу, плачет.

— Это ждет нас всех, одних так же, как и других, только мы-то, Мадлен, недостаточно задумываемся над этим...

И Юлия возвращается в хлев.

Мадлена чувствует на лбу холод стекла. Слезы потекли по стеклу, и все затуманилось. Все, что можно видеть из этого моря зеленей, этих миндалей в цвету, этих пролетающих ласточек, — все это замутилось слезами. Ничего уже больше не видно, все какое-то смутное, струящееся... Артюр! Он не из близких, этот человек, а все-таки плачешь невольно при такой вести. Такой красавец!

Такой статный! А улыбка-то у него была какая! Нет, все смешалось, все стерлось, все замутилось...

Стоит только открыть окно — и все прояснится снова. И миндали, и на ниве круглые эти, как арбузы, тени. И свежий, точно вынырнувший из воды ветерок. Тюльпаны, ласточки и этот осыпающийся миндальный цвет. Если выйдешь на крыльцо попить молока, то вмиг кружка наполнится лепестками, так что уж не посмеешь сдунуть их. И пьешь, и придерживаешь их во рту зубами. А как напьешься, начнешь их жевать, и во рту точно горькая вода.

Так вот, тому, что мы не постоянно, как следовало бы, думаем о смерти, есть у нас все-таки некоторое оправдание, господи!

Жером нагнал человека из мэрии как раз на перекрестке. Оттуда сквозь деревья видна уже ферма Бюиссонад.

— Альберик, — кричит он, — подожди меня!

Тот останавливается. Торопиться некуда. Сюда уже слышно, как Фелиси кличет кур.

— Быстро ты шагаешь, — говорит отец, — я из-за тебя совсем задохнулся.

— Разве? А мне кажется, что я иду тихо. Такая уж у меня походка. Всегда одна и та же.

— Ну, а как идут дела? Хорошо? — спрашивает отец.

— Что ж тут может быть хорошего!

Альберик отворачивается и смотрит на миндали в цвету.

— Цып-цып-цып!.. — где-то там, за деревьями кричит Фелиси.

— Вы получили хорошую весточку от Жозефа? — спрашивает Альберик.

— Как раз нынче утром.

— Вот уж судьба! — тихо говорит Альберик.

— Ну, а у тебя-то... — робко начинает отец.

— Ну, а у меня-то... Да, еще один!

— Артюр?

— Артюр!

— Будь она проклята, эта природа!

— Чего ты злишься на природу? Проклятые мы сами, вот как надо сказать.

— Проклятые мы, если хочешь. Я сказал это так, по

привычке... Артюр! Почему-то именно он! Такого молодца второго не сыскать. И такого надежного! А какой был работник! Да, это был человек!.. И после всего этого ты не хочешь, чтобы говорили?

— А что пользы говорить? Раньше надо было говорить... Эх, Жером, ведь это уже не жизнь, — то, что я влачу с некоторых пор, это уже не жизнь! Изо дня в день вижу я эти бумаги, изо дня в день! Они приходят то отсюда, то оттуда... Первым еще говорили выспренние слова: «Отечество! Поле чести!» Чего только ни говорили! Со мной вместе ходил мэр. А теперь повернется ли язык сказать что-нибудь такое? И вот каждое утро я смотрю. Если бумаг нет, я думаю: «Ах, вот-вот они придут, вот-вот!» Я дрожу весь день. А если бумаги уже получены, так я иду каждый раз, как на убой. Эх, и трудно же даются мне мои гроши! Эх, и зарабатываю же я свой стариковский хлеб! Эх, так зарабатываю я мой черствый хлеб, что тошно от него становится!.. Кажется, что этого быть не может! Быть не может, говорю я тебе. Когда я иду вот так, я представляю себе, как это будет. Ведь привык к людям-то. Знаешь их. Ну, и думаешь: вот ты идешь к Арсену, вот ты входишь, — мать будет тут, а жена там, с другой стороны, у мойки. Я вижу, вижу все это... Когда ты откроешь дверь, жена обернется, чтобы посмотреть, кто это входит. А войду-то я. Я войду!.. И точь-в-точь так и бывает, я вхожу...

— Сволочь судьба!

— Да, Жером. Ты можешь бранить ее, можешь. Начни только — и до завтрашнего дня хватит. И что поделать, я и сам уже теперь не знаю... Ну вот, я вхожу. Ну вот, меня видят. Я стою перед ними. А они стоят передо мной, и губы у них — что трава. Я сказал об этом мэру. Он ответил: «А между тем, казалось бы, когда привыкнешь...» Привыкнуть, привыкнуть к этому! Нет, нельзя к этому привыкнуть, — слишком уж противоестественно это, слишком!

Фелиси кормила кур. Она увидела, как подходили эти двое. На миг она остановилась, чтобы поглядеть на них, потом, чтобы лучше видеть, заслонилась рукой от солнца. Она узнала Альберика. Тут она сразу опустила свой, наполненный маисом передник, и вокруг рассыпанного

зерна загорелся куриный бой. Она бегом продралась сквозь куриную драку и вбежала в дом.

Жером и Альберик, оба какие-то понурые, старческими шагами приближаются к дому. Они входят. Она уже все поняла. Она полулежит на столе; она приплюснула нос и губы, прижавшись к дереву, и обоими кулаками колотит по столу.

— Нет! Нет! — говорит она.

Их всего шестеро здесь, малышей с разных ферм, да еще одна, чуть побольше — «командирша».

Школьная учительница сказала:

— Мари, ты старшая, проводи их домой, присмотри за ними. Ты же видишь, что я, при всем том, что со мной случилось...

— Я провожу вас домой, — послышалось уже при выходе со школьной площадки.

— Я не живу с тобой в одном доме, — сказал Альберт.

— Каждого к себе домой, хочу я сказать, — поправилась Мари. — Я — самая большая.

— Померимся, — сказал Альбер.

— Во-первых, если кто вздумает делать глупости, я скажу учительнице, а во-вторых, я дам тебе здоровенную пощечину... Не плачь, Пьеро!

Так поднялись они по дороге, ведущей от деревни к плоскогорью, весьма громко приветствуя тех, кто попадался им навстречу: «Здравствуйте, мосье! Здравствуйте, мадам!», что очень смешило всех.

Затем Мари дважды сказала Альберу:

— Я дам тебе пощечину.

Затем она сделала это. Да! Затем она тряхнула его, как сливовое дерево. Он говорил скверные слова, он дергал девочек за косу. Вот он и получил пощечину. Он посмотрел на нее собачьими глазами.

— Так. Ну, теперь уж ты успокоишься, мальчик!

Дошли до плоскогорья.

— Тюльпаны, тюльпаны! — закричал маленький Поль.

Они начали бегать.

— Тюльпаны!

— Полосатые!

— Красные!

— Желтые!

Подконец их набрал столько, что пришлось присесть —

для дележки. Руки у всех позеленели от их сока. Андрэ обсасывал пальцы. Пришлось опять прибегнуть к пощечине.

— Ты не видишь разве, что это яд?

— Сладко.

Пришлось платком вытереть ему пальцы. Наделали букетов и продолжали путь, распевая:

Тюльпанчики аленькие,
Красавчики маленькие...

И так всю песню до конца, мерно шагая в такт, и таким образом они проделали большую часть пути.

Светило яркое солнце, и по полю, как стадо крупного скота, тянулись тени облаков.

Порой эти тени шагали по дороге. Тогда она становилась совсем темной. Падали одна-две крупные капли. Шлеп! — плюхались они в пыль и так и оставались в ней маленькими шариками. Тогда все малыши задирали нос кверху, чтобы посмотреть на тучи.

— Гляди, на кого она похожа?

— На лошадь!

— На корову!

— На козу!

— На дерево-облако!

А потом снова появилось солнце, потому что тень-то шагала быстро, и все ей было нипочем, — она шагала напролом прямо по окрестным холмам, точно по кротовым кучкам. Пришлось вторично присесть. На этот раз из-за нарцисов. Теперь для букета уже были нарцисы, тюльпаны, фиалки, маргаритки и трава, чтобы окружить все это зеленью. Чудо, как красиво! Теперь уж и не знали, что петь. Маленький Поль держал свой букет, как церковную свечу, и, обходя всех сидящих, пел:

— Война! Война! Война!..

Здорово пришлось посмеяться вместе с ласточками: Антуанетта думала, что она может поймать их так, как ловят мух. Цап — хватала она воздух маленькой своей ручкой всякий раз, когда пролетала ласточка. Потом долго стояла дурочкой, разжимая пальцы.

Но тут пришел Жером из Шорана.

— Что вы тут делаете? — сказал он. — А школа?

Они ответили в один голос:

— Школа, школа...

Мари объяснила ему:

— Это сама мадам сказала нам, чтобы мы ушли, что уроков сегодня не будет, потому что ей только что сказали, что ее брат убит. Да.

— А Поля из Бюиссонад здесь нет? — спросил Жером.

— Здесь, — откликнулся Поль.

— Идем, — сказал Жером. — Дай мне руку. Тебя мать зовет. Брось все эти цветы. Иди же, малыш!

— Да, — сказал Оливье, — я решил сам пригнать коз сегодня, напоследок. Да и повидать тебя хотел. Ты не слыхала, как я свистел нынче утром?

— Ах, слыхала! — сказала Мадлена. — Вся кровь во мне и до сих пор еще бурлит от этого. «Лишь бы только он понял!» — думала я. Как раз, когда ты свистел, вошел отец с письмом в руках. Пришлось читать. А ты свистел...

Наступил вечер. Козы Оливье на паровом поле. Вот он тут, рядом, в своих солдатских штанах из нового, голубого, как небо, сукна, в обмотках; но он в одной рубашке. И засученные рукава позволяют видеть до локтя его рыжие руки. Да к тому же у него еще прекрасные его кудри, которые на первых порах коротко остригли.

— От этих штук, — говорит Мадлена, поглядывая на его обмотки, — ноги у тебя, совсем как у лошади.

— И не практично это, — говорит Оливье. — Мадлена, — говорит Оливье, — сегодня последний вечер.

— Последний вечер! — говорит Мадлена.

— И теперь как знать, когда...

Мадлена немного ниже Оливье. Она смотрит на него снизу вверх. Волосы у нее каштановые, а поверх них белокурая широкая прядка, совсем вольная и всегда разлетающаяся по ветру. И глаза у нее такие, что через них видишь всю ее насквозь.

Сейчас в них слеза.

— Красавец мой!

Пухлые губы ее вздрогнули. Слеза скатилась.

Они сели на пригорке. Слышны были колокольчики коз. Оливье взял руку Мадлены в свою. Он смотрит куда-то прямо перед собой, в глубину воздуха, глазами, за которыми надежно скрыто все, что он думает. Это человек крепко-накрепко замкнутый в самом себе, хранящий все про себя и разжимающий свои тонкие губы только для слов дружбы и любви. Его черные кудри шевелятся на ветру.

— Мадлена, я хочу сказать тебе: если ты чувствуешь, что можешь ждать меня, то жди.

— Это и невозможно иначе, Оливье. Все остальные для меня не существуют.

— Я хочу сказать тебе — сами мы никогда не знаем. Для меня-то, с того вечера с корзиной яблок, когда я дотронулся до твоей руки... с того вечера для меня это вопрос решенный. Но для тебя...

— Красавец мой, и для меня тоже это вопрос решенный. Да тут своей волей делу не поможешь. Я постоянно думаю о тебе, я постоянно с тобою. Я вижу твои глаза, я вижу твою улыбку, я вижу твои зубы. Я целовала свою руку — ту, что поцеловал ты. Последнее время, когда ты был в Бриансоне, я доходила вот туда, я поглядывала в сторону гор. «Вот где он! — думала я. — Там, высоко-высоко!» Небо было ясное. Когда ветер дул оттуда, я думала: «Это его ветер!»

Так продолжали они сидеть на пригорке. Только Оливье обвил руку вокруг талии Мадлены.

Потом он позвал коз, собрал свое маленькое стадо на дороге, и они погнали его перед собою по направлению к фермам.

Они держали друг друга за мизинец и шли в ногу, дружно. На опушке рощи они остановились. Там две дороги, расходящиеся в разные стороны: одна ведет в Гардетт, другая — в Шоран.

— Нынче вечером, — сказала Мадлена, — все мы — Юлия, отец и я идем к Фелиси на ночное бдение у отсутствующего тела.

— И мать моя тоже, — сказал Оливье.

— Приходи и ты, — сказала Мадлена. — Приходи. Я еще раз увижу тебя.

— Я уйду около полуночи, — сказал Оливье, — пешком, с папашей, который проводит меня до Дюрансы.

— Приходи,— сказала Мадлена.

— Приду.

Он смотрел, как она удаляется. Она обернулась, чтобы помахать ему рукой на прощанье. Он глядел ей вслед до тех пор, покуда ее не заслонили тень большого миндаля и наступившая ночь.

Прекрасная звездная ночь, омытая легким, но мускулистым ветром.

— Входи первая, — говорит папаша матери.—Оливье оставит здесь свой мешок и палку. Не годится входить в дом покойника с поклажей живого человека. Оставь все это здесь, в соломе, — сказал он: — бутылку стоймя, а палку прислони к стене. Выходя, мы нашарим ее, — это поможет нам найти все остальное.

Никаких звуков не слышно там, в зале фермы, только время от времени легкое покашливание.

— Ну, теперь идем.

Большая зала полна народу. Все из нее вынесено: буфет, шкаф, квашня. Вдоль стен выстроились в ряд стулья с прямыми спинками. Все сидят на этих стульях кругом пустого зала. Очаг погашен. Золу смели и сгребли в кучу на середину очага, чтобы с уверенностью можно было сказать, что огня там больше нет.

Посреди залы стол, ничем не покрытый, совсем пустой, и на четырех углах стола длинные, желтого воска, горящие свечи.

Жители плоскогорья уже в сборе. Все они пришли сюда: и старики, и женщины, и девушки, одеревяневшие теперь на жестких своих стульях. Они не говорят ни слова. Они почти в тени. Они глядят на пустой стол и на восковые свечи, и свет свечей чуть-чуть увлажняет их растопыренные на коленях руки. Время от времени кто-нибудь покашливает.

Фелиси вынула свою траурную одежду. Траур всегда висит наготове в шкафу: черная юбка, черный с белым горошком лиф и черная головная косынка, которая сразу состарила ее. Видны только ее заплаканные глаза да большой, судорожно сжатый рот.

Она стоит у двери, встречая приходящих.

— От души сочувствую, Фелиси, — говорит папаша.

— Покорно благодарю, — говорит Фелиси.

Маленький Поль стоит тут же, возле нее, в своем праздничном костюмчике, с пышным синим бантом под подбородком; ему смочили волосы, чтобы сделать пробор.

— Покорно благодарю, — повторяет он.

А жители плоскогорья все приходят и приходят.

На дворе слышны их шаги, голоса. Потом, приближаясь к двери, все смолкают. Перешептываются. Фелиси, вся черная, одеревянелая, ждет у дверей. Входят. Она протягивает руку.

— От души сочувствую.

— Покорно благодарю!

— Покорно благодарю! — говорит маленький Поль.

Они входят. Они рассаживаются вокруг в большой зале с опустелым очагом. Неподвижные и безмолвные, совершают они обряд ночного бдения над отсутствующим телом. Фелиси подходит и садится у конца стола. Маленький Поль садится подле нее на высокий стул. Его ноги не достают до полу.

Тогда встала старая Марта из соседней фермы.

— Горшок с солью приготовлен? — спросила она.

— Все приготовлено, там он, — и Фелиси показывает на очаг.

Старая Марта идет за горшком. Она возвращается к столу, к тому концу, где сидит Фелиси, но с противоположной стороны. Обе они точно у изголовья покойника, над которым совершается обряд бдения. Все чего-то ждут... Удерживаются от кашля. Великое безмолвие объемлет все.

— Мы собрались для бдения над отсутствующим телом Артюра Амальрика, погибшего на войне, — провозглашает старая Марта. — Пусть сосредоточит каждый свои мысли на любви к тому, кто был солью земли...

Она протягивает руку к горшку. Она вынимает горсть соли, высыпает ее на самую середину пустого стола, сгребает ее в маленькую кучку. Она достает из-под платья крупные четки из оливковых косточек и становится на колени у стола.

Снова наступает тягостное молчание.

— О, мой Артюр! — восклицает Фелиси.

Она неповоротлива, как колода. Глаза ее из-под черной косынки устремлены в одну точку.

— О, мой Артюр! Ты, такой мужественный! Ты, всегда твердивший мне: «Береги себя хорошенько!» Ах! Вот и получила я теперь то, что побережет меня и будет беречь до тех пор, покуда я не помру сама.

— Пусть сосредоточит каждый свои мысли на любви к тому, кто был солью земли, — бормочут жители плоскогорья.

Оливье высматривает Мадлену. Вот она, там, на другом конце. Она глядит на него. Он видит, как шевелятся ее пухлые губы, произнося слова сострадания. Он видит, как блестят слезы в ее глазах. Он тоже дважды повторил:

— Пусть сосредоточит каждый свои мысли на любви...

Теперь он уже больше ничего не говорит. Они глядят друг другу прямо в глаза и ничего не говорят. Губы у обоих туго сжаты. Она безмолвно плачет там, вдали.

На этот раз он во всем солдатском, с ног до головы. Он уже отмечен. Он вот-вот уедет... Взгляд его, чтобы добраться до Мадлены, скользит поверх этого непокрытого стола, поверх маленькой кучки мертвой соли, поблескивающей между свечами.

Ему чудится, что он слышит, как шуршит юбка Мадлены, когда она идет по траве. «Будь я лампой, — думает он, — лампой, деревом, этим столом, свиньей, я остался бы здесь. Будь я псом, я остался бы здесь. Если б я был псом...»

— О, бедный мой Артюр! — причитает Фелиси. — И никогда-то я тебя больше не увижу. Ушел ты и никогда-то уж не вернешься ко мне. Бедный ты, что не было меня подле тебя, чтобы закрыть тебе глаза! Бедный, что умер ты в поле, как зверь, один-одинешенек! Тогда как здесь дом твой был полная чаша, и я так любила тебя... И мы как раз теперь-то начинали жить!

— Пусть каждый сосредоточит свои мысли на любви...

Там, вдали шевелятся пухлые губы Мадлены.

Видно было, как сказала она:

— Оливье!

Папаша подал знак. Оливье встал. Была как раз минута молчания; Фелиси обернулась к Оливье и безмолвно поглядела на него бедными своими, заплаканными глазами.

— До свиданья, мама,— говорит Оливье.

«Да», — кивает головой Дельфина.

Папаша и Оливье подходят к Фелиси. Она поднимается с места. Она протягивает руку Оливье:

— До свиданья!

Дедушка пожимает руку Фелиси.

— Очень вам сочувствую, — говорит она.

— Покорно благодарю, — отвечает папаша.

Оливье обводит всех прощальным взглядом.

Кругом слышатся глухие рыдания; начинают вспоминать тех, кто уехал туда уже раньше, и среди плача слышатся имена:

— Бедный мой Жан!

— Бартелеми!

— Андрэ, бедный мой Андрэ!

— Прощайте все! — говорит Оливье.

Он смотрит в сторону Мадлены; она тянется к нему мокрым от слез лицом.

Он поднимает руку в знак прощания и, пятясь, идет к двери.

— Пусть сосредоточит каждый свои мысли на любви к тому, кто был солью земли, — вновь призывает старая Марта.

— Вынь бутылку, — очутившись в темноте, говорит папаша. — Пей.

Оливье пьет прямо из горлышка.

— Дай и мне, — говорит папаша. — А теперь идем...

Они подошли к Дюрансе; там, в глубине равнины, сквозь ивы виднеются красные и зеленые огни вокзала.

— Дальше я не пойду, — говорит папаша. Потом добавляет: — Погоди, дай-ка, я погляжу на тебя.

Он зажигает свою зажигалку. И во тьме маленькое пятнышко света, и в нем два тянувшихся друг к другу лица.

— Запомни, что я говорил тебе, — сказал папаша: — Не делай больше того, что от тебя требуется. Самое главное, чтобы ты вернулся...

Огонь погас; они вновь очутились во мраке; они обнялись крепко-накрепко, чтобы всем телом почувствовать друг друга.

И тотчас же не слышно стало шагов Оливье, потому что он зашагал по мягкой, немощеной дороге.

А ночь-то такая, как будто ничего не случилось!

ПЕРВЫЙ КРУГ

Оливье поглядел на входящего. Это был обозный солдат, грузный от высоких кожаных гетр и от грязи. Он вошел в развевающейся шинели и с ивовой тросточкой подмышкой. Он потирал руки.

— Берта! — крикнул он.— Ну и холодина же, ну и заварушка нынче на дворе!.. Куда же она запропастилась, девка-то? Подай-ка сюда водички, да покрепче, потаскушка ты этакая!

Он сел поближе к печке. Он почти обхватил ее толстыми своими коленями. Сукно на нем дымилось. Он был рыжий, волосатый и щекастый и пыхтел, посасывая усы

Берта принесла водку. Солдат всей пятерней припечатал ей шлепок по заднице.

— Ишь, нервная какая эта Берта! Нервы да кости — вот это хорошо!

— Да перестань ты! — сказала она.

Она только извивалась слегка, чтобы не опрокинуть водку. Солдат наклонил свою большую голову к бедру девушки.

— Люблю, когда так вот брыкаются. Если все это ради твоего бригадира, то успокойся. Он удрал в Бар нынче утром на рассвете.

— Свинья и компания! Вот кто он, — сказала Берта. Она высвободилась из его рук. Ее серые губы, казалось, прожевывали какую-то большую усталость.

Солдат поглядел на Оливье.

— Твое здоровье! — сказал он и выпил. — Какой роты? — спросил он потом.

— Я иду к подкреплению.

— В какую сторону?

— В сторону долины.

Солдат потянулся к Оливье. Он подмигнул ему на кухню, где девушка мыла стаканы.

— Не верится, — сказал он, — а подчас этакая вот ворчунья как-то скрашивает жизнь. Да вот беда: тут требуется шик. Сперва был у нее начальник обоза, потом унтер-офицер, теперь бригадир. Всегда занята... Ну, так вот, понимаешь?..

Послышался лошадиный топот. Солдат вскочил и распахнул дверь.

— Дома! Дома! — закричал он. — Да остановись же ты, ослиный нос!

Тот жестикулировал на своем муле, который продолжал бежать рысью. Он показал куда-то в даль, по направлению к Бару; он выкрикивал какие-то слова, совершенно заглушаемые шумом дороги; пустые бидоны громыхали у него за спиной.

Оливье шагнул за порог. Дверь кабачка, закрываясь за ним, последний раз дохнула ему в спину теплом. Тяжесть амуниции давала себя чувствовать.

— Ну... — сказал он. — Вперед! Надо растопить усталость.

Он уносил с собою горизонт, величиною с обруч боченка. Всюду вне этого обруча был сплошной туман.

Какие-то кавалеристы плавной и бесшумной походкой шагали по полю: сперва серые, потом черные, потом опять серые, и наконец совсем затушеванные медленно охватывающими их полотнищами тумана. Горбя спину, проезжали куда-то крытые брезентом повозки. Как кузнечики, подпрыгивали велосипедисты по круглякам боковой дорожки.

По обе стороны дороги тянулись, должно быть, ровные пустынные поля. Слышно было, как сама собою похлюпывает там грязь: там, подальше, в глубине могли быть и деревни. Чувствовался запах кипящего кофе.

По ту сторону тумана, подобно шуму бушующего моря, беспрерывно стонала земля под тяжестью огромных обозов. Во весь опор, рассекая туман, пронеслась артиллерийская батарея. Оливье соскользнул в ров. Мешок всей тяжестью врезался ему в плечи, точно нож.

— Свиньи! — завопил он.

Она прыгала уже где-то там, далеко впереди, на железных своих коленках, с клочьями тумана, прицепившимися к снарядным ящикам, к колесам, к артиллеристам и кнутам.

С некоторых пор стал чувствоваться запах навоза, слышались ржание и топот лошадей конного парка, человеческие голоса, крики: молот бил по мягкому железу, потом звенел о наковальню; мерно колотили по деревянным колышкам колотушки. Скрип осей повозки, с трудом пробирающейся прямо по бездорожью, по мягкой грязи полей; угадывалась близость большой стоянки обоза с лошадьми и повозками.

Внезапно прянул ввысь рыжий огонь. Весь он окутан был туманом и дымом. Он медленно, высоко-высоко подпрыгивал в густом воздухе; на мгновение он, точно скрючившись, прижав колени к подбородку, каким-то красным комом останавливался в высоте, потом тихонько вытягивал ноги до самой земли и, оттолкнувшись от нее носком, снова взлетал кверху. Вокруг него суетились какие-то люди с большими черными клещами в руках.

— Поднимайте, поднимайте! Ухватите-ка снизу щипцами! Все вместе... Ну-ка, гоп!

Они вытащили из огня пылающий обруч колеса и унесли его, перекликаясь в дыму и в искрах. Огонь перестал плясать. Теперь большими синими руками он шарил по земле.

Межевой столб весь был залеплен грязью; нельзя было узнать, находится ли долина там, впереди, и сколько еще до нее... Оливье опустил свои мешок в мокрую траву.

Туман немного рассеялся. Почти не слышно было уже никакого шума, только все еще стонала земля, да всеми листочками посвистывал тополь.

С обеих сторон развертывали свои разлатые плоские крылья поля. А тот человек все еще был там, в полях. Время от времени он останавливался, оглядывался во все стороны, потом, наклонив голову, снова шел куда-то, к какой-то своей цели.

Он приблизился; он пристально разглядывал деревцо. Он нагибался к стволу; он трогал рукою. Он гладил деревцо по стволу, внимательно осматривая его. Должно быть, он вполголоса разговаривал сам с собою. «Нет, нет!» — говорил он, тихонько покачивая головой.

— О! — крикнул Оливье

Человек поднял голову и взглянул на него. Он еще раз провел рукой по стволу деревца, потом решился подойти поближе.

— Ты артиллерист?—спросил он, переходя на дорогу.

— Нет, — сказал Оливье.

— Так ты, значит, из обоза?

— Нет, — сказал Оливье. — Я из сто сорокового как будто.

— Из сто сорокового, из сто сорокового... — повторил тот низким голосом нараспев, так как он говорил с акцентом горцев. — Так, значит, не ты привязал мула к дереву?

— Нет.

— Нельзя этого делать, знаешь?

— Да я и не делал, говорю тебе. Я только что пришел.

— Ладно. Но делать этого нельзя, нет, нельзя. Уж сколько времени я говорю об этом, да они только смеются. А ты — ты тоже смеешься?

— Нет, — сказал Оливье. — Нет, я знаю, что нельзя: ведь мул ест кору.

— Так ты это знаешь? — с явным удивлением сказал человек.

Глаза у него были ясные, как вода, и почти неподвижные; их пристальный взгляд проникал в самую глубь.

— Знаю, да, — ответил Оливье.

— Ну, так дай мне пожать твою руку, сынок, — сказал человек.

Это был солдат без оружия, в коротенькой куртке, перетянутой вокруг живота желтой портупеей. Коробка с маской била его по ляжкам всякий раз, когда он привычным движением раскачивал на ногах грузное свое туловище.

— А звать тебя как?

— Шабран, — ответил Оливье.

— А я Реготаз, — сказал человек. — Я тоже из сто сорокового.

На стоячем воротнике его куртки чернильным карандашом выведен был этот номер.

— Я тоже оттуда, говорю тебе. Видишь? Я просто так прогулялся немножко. Теперь иду обратно, то есть возвращаюсь с прогулки. Пойдем вместе. Долина, должно быть, отсюда километрах в десяти.

По дороге навстречу им несся густой запах деревьев и грибов.

По левую руку у самой дороги гудел другой лагерь. Ржал конь и бил копытом о доску.

— О! О! Натяни узду! — кричал тонкий голосок.

Звенели цепочки мундштуков. Издал две-три ноты горнист; пробовал проделать свои рулады барабанщик, но потом смешивал палочки.

— О! О! Зажми-ка, зажми!

С лошадью, судя по топоту ног, возились, должно быть, человека два или три.

— Твою глотку, — тихо сказал Реготаз. — Что же ты еще хочешь зажать?

Лошадь ржала теперь часто и отрывисто: ее колотили ногами в брюхо.

Большой дымящийся бук выступил из тумана. Вода хлюпала по его листьям. Слышался отзвук шагов, шлепающих по грязи. Там, в траве водяной колотушкой стучал ручеек.

Это был лес. Он раскинулся перед ними, тяжелый и темный, и тихонько поваркивал.

— Стой! — сказал Реготаз. — Ведь это лес, сынок. Отстегни свой мешок и дай его мне, я понесу его. Отстегни, говорю тебе, я уж себя знаю. Давай сюда свой мешок, а то и сегодня вечером я еще не вернусь. Мне,— продолжал Реготаз, прилаживая мешок на плечах,—мне необходимо вот это, чтобы не свернуть с дороги. Ты понюхай только! Чувствуешь, какой запах? Погоди... Слушай, слушай! Вон там, там...

Какой-то зверь притаился в кустах, потом пустился бежать по сухим листьям.

— Лисица, говорю тебе... А теперь послушай, как шумит-то! Это уж не шутка, сынок. Мне нужен груз на плечах. Это замедляет мой шаг, приковывает меня к дороге. Я буду держаться подле тебя и таким образом вернусь, а иначе, уж я себя знаю, я опять сверну на травушку.

Погода прояснилась. За деревьями промелькнуло очертание какого-то животного. Это была сорвавшаяся с привязи лошадь, волочившая за собой по грязи свою цепь и деревянный кол... В прояснившемся дне появился какой-то голубоватый отсвет. Туман, разодранный ветром, рассеивался.

— Свиньи! — сказал Реготаз.

Он смотрел на валяющийся в грязи большой кусок древесной коры.

— Видишь, что они, свиньи, делают с деревьями.

Он хотел было уже сбросить мешок, но одумался.

— Нет, вперед, сынок! — сказал он.

Он засучил рукава куртки, расстегнул обшлаг рубашки, показал свою голую руку. Рука была изуродована большим шрамом.

По мере того как они углублялись в лес, все более и более возрастала тишина. Гул обозов, от которого сотрясалась земля, и громыхание неба — все это затихло в лесной чаще. Слышно было только движение ветвей, отдаленный лай, пенье петухов, звук падающих капель и легкий шорох просачивающегося сквозь листву тумана. Пела птица; слышно было, как хлопает она крыльями. Падал лист; слышно было, как задевает он другие листья. Лес медленно опускал и вздымал свою широкую лиственную грудь.

Порой от дороги вбок ответвлялась дорожка; узкая, прямая просека, точно высеченная одним ударом топора; она убегала, белая от тумана, в дремучие дали.

Реготаз остановился.

— Скажи, сынок, не кажется ли тебе, что я сумасшедший?

— Нет, — сказал Оливье.

Он поглядел на человека. В светлых глазах был страх, и они силились найти в глазах Оливье то, что скрыто было за его словами.

— Нет, не кажется. Говорить-то я предоставил тебе. Но думаю я так же, как думаешь ты. Ведь я тоже сижу на земле. Я хоть и моложе тебя, но умею ладить с окружающей природой. И все это только мы и можем понять.

Реготаз вздохнул и снова пустился в путь.

— Дело не только в этом, сынок — сказал он, — для меня не только в этом, и, быть может, для тебя тоже современем окажется не только в этом. Потому что, коли хочешь знать, подконец все мне опротивело, и тебе тоже подконец опротивеет. Вот почему порой я говорю себе: «Ты сумасшедший, Эмиль!» Куда податься, понимаешь ли? Куда податься, когда ты несешь свою долю, и десятикратную долю, когда ты думаешь про себя: «Нет, нет, не хочу я больше, довольно с меня! Не могу я больше нести, не могу я больше вынести ее, ведь я только человек. А тебя все навьючивают да навьючивают... Довольно с меня горя! Довольно с меня беды!» Понимаешь ли? Куда податься?..

Ива тихонько стряхивала на траву тяжелые свои росинки.

...Есть у меня в отряде Фредерик и Луи Бютт, и целая куча других, и еще найдется сколько угодно таких в кабачке. Но хочешь, скажу тебе?.. Да, тебе-то я скажу, сынок, потому что ты, как видно, понимаешь, все это пропащие люди. И не по своей вине. Прежде, быть может, они брели прямой дорогой, пошатываясь слегка, как человек навеселе, то в одну, то в другую сторону, но в общем, как-никак, дело шло. А теперь это пропащие люди. И беда, сынок, в том, что они неплохие люди, но если долго оставаться подле них, то и сам скоро пропахнешь гнилью. Так чего же с них взять?.. Не помню, говорил ли я тебе: я был дровосеком на высоких сечах, на тех горных сечах, где нет лесничих, где, если не иметь собственного разума и выдержки, можно было бы, ничем не рискуя, вырубить все. Но у человека есть разум и выдержка. И вот я сказал себе: а деревья-то?

Кролик в два прыжка перебежал дорогу.

...Началось это с того дня, проведенного под яблонями: я лежал на одеяле в траве. Сверху ветка была светлая, а снизу совсем почернела от сырости... Ну, и грохот же стоял там, в стороне Вердена! Кругом все черно, как кофе, и полыхание — точно загорелась угольная яма. Говорили, что нас снова двинут в поход. А тут как раз Луи Бютт напился, разорвал карточку жены и маленькой своей дочки и разбросал клочки. «Ну их ко всем чертям!» — сказал он. А потом так и остался у двери, сам не зная, что ему делать, этакая свинья!.. А ветка, говорю тебе, была и светлая и темная, а повыше она выгибалась и росла на полном свету. На ней, пожалуй, было листочков шесть, не больше, — такая легкая ноша для такого толстого ствола...

Он говорил тихим голосом, задыхаясь под тяжестью мешка.

— Табак у тебя есть? — спросил он. — Угости трубочкой.

— Хочешь целый пакет? У меня их три в сумке.

— У меня там, наверху должен быть свой собственный, — Марсель, небось, отложил для меня, вчера выдавали. Вот уж два дня, знаешь ли, как я в бегах.

— И ничего?

— Нет, меня там знают. Они, небось, сказали: «А Реготаз?» — «Да он сумасшедший». — «Когда вернется, пришлите его ко мне». Вот и все. На этот раз меня схватило вот тут (он показал рукой на грудь), точно кто позвал меня из-за холма. «Да», — ответил я. — «О, Реготаз, — говорил голос, — еще труднее стало!» Тогда я пошел туда, где не было никого, туда, я покажу тебе, за церковь, повернулся в ту сторону, откуда слышался голос, и ответил: «Да, я здесь, радость моя! Я здесь! Чего ты хочешь от меня, радость моя? Здесь я!» И все слышалось мне, будто зовут меня: «Реготаз! Реготаз Эмиль!» Поутру я вскочил в проезжающую мимо повозку. Туман был куда гуще, чем сейчас. Парень, который правил, ехал наугад. На расстоянии двух метров ничего уже не было видно. Мало-по-малу сердце мое исцелялось. «Реготаз!» — все еще звучало в ушах. «Иду, иду!» — говорил я. И вдруг парень дернул за тормоз, и мы затормозились всеми четырьмя колесами. Пронзительным взглядом всматривался он во что-то. Перед нами поперек до-

роги лежало какое-то огромное толстсе тело. «Старик, — сказал он мне,— что это там, впереди?» — «Я уже приехал», — ответил я на это. (А про себя я сказал: «Да, радость моя! Я здесь».) — «Поезжай,—сказал я парню. — поезжай дальше, и не беспокойся. Это лес». Я свернул на тропку и вошел в нее, в лесную глубь...

Они подходили к опушке леса. В прояснившемся дне на ветру развевалось какое-то широкое серое полотнище света; за деревьями виднелся порог зеленых трав, а там вдали, в глубине — продолговатый холм.

Через эту световую дверь врывались звуки, заглушавшиеся до сих пор лесом: грохот обоза и содроганье неба, и крики, и сигналы — и все это приближалось с каждым шагом и жарко дышало на них, как пасть надвигающегося зверя.

Неожиданно они оказались вне леса.

Там, внизу, в лощине виднелась большая деревня. Она разметалась, распластанная среди лугов. Жизнь в ней кипела, как в муравейнике. Под тополями, на берегу мертвого канала пыхтели длиные обозы автомобилей. Среди стогов соломы потряхивал хвостом вагонов маленький паровоз; видно было, как он, нервничая, вращает маленькими своими ножками, подпрыгивает, свистит, плюется в траву; другой же паровоз — само терпение — ждал его на запасном пути с поездом, груженным лесом; время от времени он мирно посвистывал.

Обоз крытых брезентом фургонов тянулся по дороге вверх по холмам. По нижней дороге шагал отряд солдат. Он уже вступал на деревенскую улицу. В деревне раздавалась музыка рожков. Лесопилка пела свою крылатую песенку, — двухголосую во время работы и одноголосую, высокую в то время, когда лезвие было свободно.

Чувствовался кисловатый запах срубленного дерева и опилок и подозрительный сладкий вкус, отзывающийся какой-то гнилью на языке.

По дороге к лесу поднимался легковой автомобиль. Это был переполненный доотказа санитарный автомобиль Красного креста. Он промчался мимо, промелькнув подошвами лежащих внутри раненых.

На подъеме надсаживался автобус. Оливье обернулся, чтоб поглядеть ему вслед; на задней площадке, обдавае-

мая грязью, висела ободранная и кровавая четверть большой бычьей туши.

— Вот они, мои деревья, — сказал Реготаз, — вот они, сынок!

Они лежали тут, прислонившись к лесопилке, со своей не ободранной еще корой и с покрытыми листвою веточками.

— А ну-ка, погляди-ка сюда...

В грязи валялся, величиною с кулак, кусок мяса, покрытый черной и красной кровью и легкой белой слизью на волокнах. Клочок какой-то ткани прилип к свежему краю.

Оливье поглядел на лес. Слышно было, как гудят там внутри моторы санитарного автомобиля и автобуса. Он думал об этой четверти бычьей туши.

— Возможно, что это кусок человечьего мяса, — сказал Реготаз. — Вполне возможно. Да и что тут было бы удивительного, если бы он свалился с носилок, с какого-нибудь разодранного в клочья человека, который растеривает свое мясо? При боковой-то качке, знаешь ли...

И Реготаз, подражая качке санитарного автомобиля, стал раскачивать из стороны в сторону свое грузное тело.

И ПОЩАДЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

— Стреляют на Пон-Руж, — сказал Жозеф.

Возница, дернув вожжами, сразу остановил обоих мулов. Он прислушался.

— Пожалуй, что и так, — сказал он.

За холмами стоял треск, как будто раскалывали толстые доски.

— Ну, эта шутка не из веселых!

Снова тронулись в путь. Последние дома Суассона и мощеная дорога остались позади. Под колесами теперь уже была мягкая дорога, с ямами, заплатанными грязью и камнями. По колеям текли длинные ручьи белой, как гипс, воды.

— А знаешь, здорово как будто палят...

— Остается только остановиться у сахарного завода, — сказал Жозеф.

Поля по обе стороны дороги покрыты были стоячей водой, в которой отражалось синеватое небо. У самого

горизонта на сверкающий диск солнца медленно нависали маленькие белокурые облачка.

— Видишь, — говорил человек, — я сказал ему, как говорю сейчас тебе: «Прапорщик, — сказал я, — что нужно было бы сделать, так это тропку от сахарного завода к Серанкуру. Она прошла бы мимо Крет. Она все время тянулась бы среди деревьев, и таким образом мы избежали бы перекрестков». Что ж, ты думаешь, это к чему-нибудь привело?.. Я слышал, как он спросил подпоручика: «Кто он, этот тип?» Мне хотелось ответить ему. «Этот тип — Матье Бомье, и он знает свое дело».

— Трусы! — сказал Жозеф.

— Да, мне хотелось сказать ему: «Это Матье Бомье, и не вам, хоть вы и прапорщик, его обучать его ремеслу. Пятнадцать лет занимается он извозом по грязным дорогам Сент-Этьена, и не на таких еще таратайках, и если он говорит, что проехать там можно, так значит и вправду можно. Он не мальчишка. Он был отцом больше раз, чем ты высморкался за всю свою жизнь». Ну, да что там!..

— У тебя есть дети? — спросил Жозеф.

— Двое. Оттого-то я и здесь. А у тебя?

— У меня нет, я всего год как женат.

— Мог бы успеть... Да, старина, двое: маленькая девочка — вылитый отец. Она ничего тебе не спустит, на все у нее готов ответ, она ответила бы самому папе. И шлепаю же я ее! Да еще толстенький кусочек сала, такой же обжора, как и его мать. Он высосал бы весь рай, позволь только ему... А знаешь, падает как будто вот куда!

Они только что перевалили через первую возвышенность. Под заходящим солнцем открылась перед ними вся местность. Там, впереди она была волниста, и на длинных волнах ее высились деревья. Полноводный ручей, затопивший окрестные луга, извивался среди широкого неподвижного болота, которое все покрыто было пятнами отражающихся в нем облаков и пучками травы. Куда ни глянь, всюду было пустынно. Из-за рощицы выступал обезглавленный остов колокольни. На опушке гнила большая разрушенная ферма, раздробленный ее костяк валялся всюду в луговых лужах, вороны клевали зияющие впадины ее окон. Развороченные до мелового слоя, совершенно плоские, голые, безлюдные поля тянулись по ту сторону ручья до отдаленных гребней гор,

которые дымились каким-то судорожным дымом, пронизанным полыханиями и зарницами.

— Сапиньель, — сказал Жозеф, вглядываясь в этот полный мрака и огня горизонт.

— Туда-то ты и направляешься? — спросил человек.

— Нет, я послан на разведку туда, налево, по направлению к Монжермону, а двинутся туда завтра вечером. Там, должно быть, не лучше. А если и лучше, то с такими свиньями, как у нас...

— Это вы квартируете там, у самого канала?

— Да, седьмая рота.

— А мы как раз рядом с Амели.

— Знаю, я видел, как ты выводил оттуда мулов. Я подумал: «Он подвезет маленько». Ведь я слаб на ноги-то.

В эту минуту снаряд упал на Пон-Руж. Черный дым перевалил за холм и поднялся ввысь, круглый и густолистый, как дерево.

— Это регулярный обстрел, — сказал Жозеф.

— Да, — сказал человек. — И в таких случаях самое важное не упрямиться. Мы переждем у сахарного завода.

Уже подъезжали к нему. Оставалось только подняться на холмик, который весь лоснился, как спина мокрого зверя. И вправду, пахло потным зверем, насквозь промокшим на дожде; пахло еще жженым порохом; на полях зияли свежие воронки снарядов.

Сахарный завод был совсем близко, прямо перед ними; у стены его дымилась походная кухня. Двое людей в коротких блузах поглядывали на дорогу, поджидая провиантщиков, посланных за супом. Дорога была пустынна до самого конца, где уже все покрыто было фиолетовой мглою, но где во время взрывов можно было еще различать деревья.

В стороне Сапиньеля взвивались сигнальные ракеты. В развертывающейся тьме ночи, как лампа, зажглась вдруг одна, красная, и так и повисла в воздухе.

— О! Это та, что у канала! — воскликнул человек.

Слышно было, как шлепает по грязи его рука, разыскивая Жозефа. Не слышно было ничего, кроме шлепанья этой руки по грязи, а вслед за этим — протяжный стон, несущийся оттуда, из кучки собравшихся там людей.

— Лежи! — сказал Жозеф.

Большой снаряд одним дыханьем сдул сахарный завод. Со свистом пронеслась мимо стая осколков. Сверху посыпались взметенные комья земли.

— Лежи!

— Я тебя было потерял, — сказал человек.

— Я не сдвинулся с места. Они еще некоторое время будут палить сюда.

— Я так тебе и сказал. (Человек пополз по грязи и вытянулся рядом с Жозефом.) Когда я увидел, как этот сукин сын катил прямо посреди дороги свою походную кухню, пылающую, как маяк, я сказал себе: «Вот увидишь, достанется нам на орехи».

— При первом взрыве я лежал вон там.

— Ты не знаешь, сапы здесь есть?

— Нет.

— Как же быть?

— Погоди, — сказал Жозеф, — через минутку они оставят нас ради Пон-Ружа. Надо будет перебежать тогда налево, туда, к инженерным частям.

Спускалась ночь. Посреди дороги пылал огонь походной кухни, развороченной первыми снарядами. Угли шипели в грязи. С фургона, вниз головой, свешивался убитый человек; тут же, опустившись на колени, потряхивая головой, стонала лошадь. Вокруг винного бочонка валялись солдаты, и никто из них уже не шевелился, за исключением одного только, который, уткнувшись лицом в грязь, скрючивал еще пальцы, пытаясь уцепиться за землю, найти опору, подняться, итти... Голова его отяжелела от большой раны на затылке.

— Пойду-ка, посмотрю на своих мулов, — сказал возница.

— Оставайся здесь! — закричал Жозеф. — Оставайся здесь!

— А мои мулы? — сказал тот.

Он поднялся. Жозеф видел, как стоит он тут рядом, на согнутых коленях и руках, точно большая жаба. Толстое плоское лицо его было вытянуто вперед, рот был открыт, и в круглых глазах отражался огонь походной кухни и мрак ночи.

— Оставайся на месте!

Человек взлетел в воздух одновременно с пронесшимся мимо большим осколком снаряда.

— О! — закричал Жозеф. — О! О! Как зовут тебя?

Человек бесформенной массой плюхнулся обратно на землю, выгнул спину, повернулся было вправо, влево, потом вытянулся во весь рост.

— Человек, человек!

Ночь наступила как-то сразу. Жозеф нашарил сперва совсем уже холодный труп, валяющийся на караваях хлеба, потом какие-то куски мяса в грязи.

— Человек, человек... — тихонько звал он.

Жозеф нащупал другое тело, — это был он.

Он уже не шевелился. Он уже не дышал. Он уже был прах. Слышно было только, как шуршит материя под сильным напором вытекающей крови.

Оливье кричал.

Он бежал по траве среди огня. Он потерял ружье. Он кричал во всю глотку все тем же протяжным, призывным криком.

Эти оглушительные удары дубины, от которых раскалывается земля, этот дым, эти полыханья, эти раздирающие все вокруг горячие когти, этот воздух, скатанный в комья снарядами и хлещущий его по животу! И как бороться с железом!

Вокруг — ни души. Он был один. Сквозь дым проглядывал иногда простор пустыни, покрытой ямами и сверкающими лужами, и там вдали — жалкий остов дерева с простертыми к небу руками.

Кто-то схватил его за щиколотку. Он упал. Кто-то крикнул:

— Эй, ты, горлодер!

Оливье очутился в яме. Края этой ямы заслонили перед ним всю местность. Он был под землею. Какой-то человек пристально глядел на него. Это был Шовэн, капрал.

— Чего орешь? — сказал он. — Куда бежишь? Не видишь разве, что промазали?

— Что промазали? — спросил Оливье.

К сердцу опять горячо приливала кровь, когда он глядел на эти глаза, когда он слышал этот слабый сухой голос.

— Атаку. Мы не добежали двадцати метров. И все пулеметы у них. Оставайся тут! Нет, поближе к этой стороне. Сократись как-нибудь.

Оливье два раза глубоко вздохнул,

— Ты в первый раз, что ли? — спросил Шовэн.
— Да, — ответил Оливье.
— Оставайся тут...
«К чорту!» — добавил Шовэн про себя.
— Подождем вечера, — мгновение спустя сказал Шовэн. — Сколько нас осталось-то? Человек семь-восемь?
— А Реготаз? — спросил Оливье.
— Не знаю. Лопата при тебе?
— Да.
— Рой с этой стороны. Землю сбрасывай вниз. Да только осторожно, чтобы не видели.

Оливье вонзал лопату в землю, потом вытаскивал ее оттуда и сбрасывал землю себе под левый локоть. Порой острый край лопаты упирался во что-то, и, как Оливье ни напирал на нее, дальше она не шла. Тогда он принимался рыть ногтями. Там, в земле, точно уснувшая змея, лежал ремень. Оливье тащил ремень и рыл дальше. Он искоса поглядывал на Шовэна. Шовэн тоже рыл; он присел на корточки, как зверь, и, изо всех сил орудуя лопатой, разворачивал землю. Шея у него покраснела и вздулась, и там, внутри мерно двигались толстые мускулы. Он ворчал, стиснув зубы.

Слышно было, как наверху, над ямой проехала митральеза. Она скребла землю железными своими когтями. Слышно было, как стучат стопора ее больших лап, как вздрагивает она, встряхиваясь всем телом, как потом подпрыгивает точно птица, почесывает свое металлическое тело; потом земля начинала дымиться под ее когтями.

Там, наверху раздвинулось серое облако; показался кусок синевы — синевы грязной и точно обсыпанной блохами, но просвеченной изнутри белокурым солнцем.

Шовэн поглядел вверх.
— Свиньи! — сказал он.

Он снова принялся рыть землю. Он наклонял голову так низко, что усы его полны были грязи.
— Твоя сумка? — спросил Шовэн.

Оливье, сгорбив спину, обеими руками разгребал ворох зарытых ремней и сукна. Из дыры струился приторный, как сироп, запах гниения.
— Твоя сумка? — заорал Шовэн.

Оливье приподнял голову.
— Что?

Шовэн приблизился настолько, что козырьком своей каски прикоснулся к козырьку Оливье.

— Сумка твоя! — сказал он. — Сумка! Жратва есть? Найдется ли в ней что поесть?

— Поесть? — удивился Оливье.

Он метнул взгляд на дыру, в которой рылся обеими руками и откуда все сильнее и гуще шел приторный запах.

— Ну да, поесть, — сказал Шовэн.

Он не сдвинулся с места, не отодвинул лица ни на один сантиметр; он вонзился взглядом в глаза Оливье и уже не опускал его.

На дне сумки, под гранатами, оставался еще рыжий от ржавчины кусок хлеба. Оливье отдал его Шовэну. Тот разделил его пополам

— Половину, — сказал он, протягивая кусок Оливье.

В то же мгновение он, весь съежившись, пригнулся, потому что низко, над самой ямой пролетел большой снаряд.

В том месте, где рыл Оливье, лопата вдруг сама собой глубоко врезалась в землю. Она вынырнула оттуда, вся промасленная липким, как смола, черным жиром.

Оливье не смел уже дальше рыть.

Стоя на коленях перед разрытым местом, жевал он и пережевывал свой хлеб. Он почувствовал чье-то присутствие за спиной. Кто-то глядел на него. Он обернулся: над ямой, свесив в нее голову, лежал человек; лицо у него было совсем черное, из широкой клинообразной раны вытекал мозг. Человек не смотрел; впечатление взгляда создавал маленький белый кусочек мозга, прилипший к черной впадине глаза, вытекшего и залепленного грязью.

Малан распахнул дверь «Рабочего клуба».

— Закрой дверь, Фирмэн! — крикнули ему. — Закрой дверь, на дворе собачий холод.

Все сидели вокруг печки, грея колени и ляжки и покуривая длинные трубки.

— Вы что ж, как молодые миндальные деревца, страшитесь холода? — сказал Малан. Но тут же сам придвинул стул к сидящим и сказал: — Потеснитесь-ка, чорт возьми, чтобы и я мог покурить.

Он вынул свою глиняную трубку. Она, от чубука до головки, была вся белая.

— Новая? — спросил Панкрас.

— Только что купил, — ответил Малан.

— Тянуть из нее надо полегоньку, — сказал Панкрас.

— Полегоньку и с передышками, а главное, не класть ее горячей на мрамор, — сказал Малан.

И он вытащил большой, сделанный из свиного пузыря кисет.

— Меня, меня! — прижимая руки к затылку, кричал Оливье.

Каску у него с головы сшибло.

Удар обрушился на них без всякого предупреждения, только ухнуло все небо. Земля все еще ходила ходуном.

Теперь кругом мурлыкала тишина; но тишина эта была только для слуха, потому что всюду, куда ни глянь, фонтанами беспрерывно вскидывалась земля. Оливье слышал свой голос, который звучал как-то вне его, точно кричал кто-то другой:

— Меня, меня!

Наконец услышал он стон, глухой и протяжный, как шум вытекающей из бассейна воды. Он поглядел в ту сторону из-под локтя.

Опрокинутый на спину, разбитый, с продавленным животом, лежал на дне ямы Шовэн. Он уставился на клочок синего неба. Глаза у него были точно каменные. Как в ступке, месил он обеими руками в развороченном своем животе.

Как жернова мельницы, вертелись его кулаки; кишки обмотались вокруг кистей рук. Он перестал кричать. Он весь запутался в своих кишках и цепенеющими руками выдернул их наружу, вон из живота.

Оливье отвел руки от затылка. Он поглядел на них. Крови не был.

— Нет, не меня, — сказал он.

Но он вдруг почувствовал неудержимый позыв к рвоте. Что-то подступало к самому горлу, вздувало ему щеки, раздвигало губы, — и он открыл рот, давая волю воплю вновь охватившего его одиночества.

— У Вердена, — сказал Малан.

— Ну, — сказал Клеристэн, хлопая ладонью по глян-

цевой бумаге «Иллюстрасион», — надо самому видеть все это, чтобы поверить. А на фотографиях этих, говорю я, все подделано. Это нетрудно. Поглядите-ка на дядю Лози: он из кривого носа сделает тебе прямой. Он даже из Бюрля сделал бы красавца.

Бюрль вынимает изо рта трубку.

— Святой Лябр не обращает внимания на лай своего пса, — сказал он.

— Что там ни говори, а все-таки, — продолжая просматривать журнал, сказал Клеристэн, — а все-таки это трупы, это несомненно трупы, и одни только немцы. Мой малый рассказывал, что есть у нас такая пушка... Он у меня у Мон-Валерьена в Париже, он-то знает...

— Под Верденом, — сказал Малан, — ты и представить себе не можешь, что делается во всех этих железобетонных фортах. Чего только там нет! И кухни, и книги для чтения, и столовые, и все-все там организовано!

— А где же убивают-то? — спросил Бюрль.

— Как? — спросил Малан. — Как? Кого? Кто?

— Да, — сказал Бюрль, вытряхивая трубку. — Да, где-же?

— Кого? — спрашиваю я тебя, — сказал Малан.

— Людей. Это я спрашиваю тебя, — сказал Бюрль. — Где же их, в таком случае, убивают?

И он обвел взглядом всех присутствующих, долгим взглядом каждого из них в отдельности: Малана, Клеристэна, Панкраса — всех их, покуривающих свои трубки, всех, в чьих безжизненных глазах отражался сияющий на дворе ледяной, но голубой день.

—...к капитану, — сказала тень.

— Чего ему? — не подымая головы, спросил Жозеф. Он сидел на откосе у дороги и жевал большой кусок сыра.

— Да, чего ему? Я все ему уже объяснил.

— Он велел, чтобы ты пришел. Он спросил, где ты. Он сказал: «Скажите ему, чтобы он пришел сюда. Его место здесь».

— Да ну его! А где оно, это место? — сказал Жозеф, но все-таки встал. — А ты-то где?

— Я тут, — ответил велосипедист. — Смотри, не задень колеса.

Жозеф вытащил ноги из грязи, отстоявшейся там, внизу, как осадок ночи. Он зашагал мимо отдыхающей роты. Он получил сполна свою долю усталости, ночи, грязи, голода и этой сонливости, которая железной каской сдавливает череп. Да, он устал. Он уже побывал там, наверху, вчера вечером. И не для того, чтобы любоваться красотами, ходил он туда. А потом все это накопилось у него в голове и в ногах, и в сердце, и тяжко было, находясь в здравом уме, еще раз поставить себя лицом к лицу со всем этим, еще раз пережить все это.

— В здравом уме! — сказал он. — Знать, что идешь туда, наверх!

Рота была тут, рядышком, во мраке, у самой дороги. Никакого шума не было. Слышно было только, как время от времени кто-нибудь откашливается. Или звякнет об ружейный приклад походный котелок.

Потом снова наступала тишина. Не прекрасная тишина травных шорохов, а эта густая и тяжкая тишина, — тишина, точно придавленная крышкой, духота воздуха, стиснутого между землей, опившейся и затопленной стоячими водами, и грузными, мускулистыми облаками, которые, казалось, принялись за стирку мира. Облаков во тьме не было видно. Но они чувствовались; слышно было, как ворочаются они, проплывая мимо; их тяжесть давила на плечи и на сердце.

— Кто там?

— Связь, — сказал Жозеф.

— Куда?

— К капитану.

— Это вы ходили на разведку?

Голосок был ясный, как молоденькая девушка. Было отчего призадуматься над всякими радостными, солнечными вещами и вспомнить пенье петуха.

— Да, подпрапорщик.

— Вы?

— Да, я.

— И что же? — тихо спросил юноша.

— Неспокойно, — сказал Жозеф.

Слышно было, как ворчит в кустах капитан.

— Это мой ремень, задний мой ремень, — ворчал он. — Он зацепился вон там, говорю вам... Нет, не дергайте мосье Ревершон, посмотрите раньше

— Связь, — сказал Жозеф.

— А! Вот и он, — сказал капитан. (Ремень уже отцепили.). — Да, теперь все в порядке. Спасибо, Ревершон... Ну, что ж ты делал сейчас?

— Я ел, господин капитан.

— «Я ел!» Он ел! Не успел, что ли, поесть до ухода? Ну, так вот, я хочу, чтобы ты всегда был при мне. При мне, рядом со мной, вот тут, у моих сапог! Слышишь?.. Где мы сейчас?

— Сейчас... мы, должно быть, поблизости от мельницы.

— Что? «Должно быть»! Что? «Поблизости»? Да ты ходил на разведку? Да или нет? Так знаешь ли ты, где мы сейчас? Да или нет?

— Капитан, мы, должно быть, поблизости от мельницы. Когда я отправлялся на разведку, то шел по Пон-Ружу, дорога там. А мы давеча на перекрестке свернули влево. Этого участка я не знаю. Да к тому же сейчас, ночью...

Капитан задохся; он вскочил с места.

— Вот! — сказал он. — Вот, господа, вы сами видите! «Этого участка я не знаю». Вот! Вот что мне отвечают. «Да к тому же сейчас, ночью...» И это отвечает связь!.. Карты мои при вас?

— За ними пошли.

— Ах, да! И вправду. Ладно!.. Ревершон, послушайте-ка, пойдите, посмотрите, не заснули ли они там в своих взводах. Я не желаю, чтобы они спали. И скажите подпрапорщику, чтобы и он пришел сюда. Все тут, кроме него. Вечно он путается с солдатами, этот мальчишка! Скажите ему... Ну, а ты подойди-ка сюда, — сказал он Жозефу. — Значит, не хватает ума сказать, где мы сейчас находимся? Ладно. Ну, а сектор ты все-таки видел? Его ты знаешь?

— Да, капитан, его я знаю, — сказал Жозеф.

— И что же?

— Нехорош он.

— Как нехорош? Чем?

— Так вот, капитан, пошел я на разведку: есть подземный ход как раз за Вреньи. Тут еще ничего. Проходишь под дорогой тринадцать. Там туннель. А дальше все обстреливается и днем, и ночью. Все обвалилось. Придется пройти по верху.

— Пройдем по верху.

— Там грязь вот докуда.

Он прикоснулся к колену.

— Докуда? — ничего не видя во тьме, спросил капитан.

— До колен.

— Пройдем по грязи. Да где же нехорошо-то?

— Дальше, капитан, канал, через него мосток, по нем палят — орудия наведены.

— Дальше!

— Первый взвод стоит по правую руку до сломанного дерева, и за ним подряд справа налево тянутся все остальные, вплоть до холма сто двадцать. Траншей там нет.

— Как? Нет траншей?

— Утопли в грязи.

— А прикрытия?

— Прикрытий тоже не осталось, капитан. Все утопло в грязи.

— Не осталось прикрытий. Ни одного?

— Ни одного.

— А тот, другой капитан, где ж он был, когда ты пришел? Где, в каком прикрытии, где?

— Он был в яме, лежал с ружьем в руках. Я даже сказал ему: «Эй, где же капитан твой!» — «Я и есть капитан», — ответил он мне.

На дороге послышались приближающиеся шаги Ревершона и подпрапорщика.

Жозеф откашлялся.

— А на мостике, капитан...

— Ну, что там на мостике?

— На мостике, капитан, придется держать ухо востро. У них туда наведены пулеметы и винтовки с разрывными пулями, и все это палит во-всю. Тот, другой капитан, сказал мне: «Они день и ночь настороже. При малейшем шуме они шарят прожектором и стреляют по людям, точно по окорокам. Накануне вечером они как будто целый час стреляли по крысам, которые бежали по мостику».

— Вот карты, — подходя, сказал Ревершон. — Они были у подпрапорщика, вы сами перед уходом отдали их ему.

— Капитан, — сказал подпрапорщик, — вы сказали мне: «Я возьму их у вас, когда они мне понадобятся».

— А! Ладно. И вы тоже тут? Это кстати. Так вот,

карты теперь при нас, можно двинуться в путь... Погодите. Я только что получил сведения о секторе. Все в порядке. Все превосходно. Там есть мостик...

— На канале?

— Да, на канале. Итак, господа, по взводам. Я свищу.

Он засвистел.

Шум затих. Рота рядами выстроилась на дороге.

— Зажигать огонь здесь еще можно?

— Да, — сказал Жозеф. — Мы стоим за холмом.

Капитан зажег свой электрический фонарь и скользнул светом по собравшимся.

Видны были вплоть до последних рядов сверкающие под касками глаза. Казалось, что это светящиеся камни, точь-в-точь как тогда, когда наведешь фонарь на гурт овец.

— Вот что тогда пели, — сказал Малан и сплюнул в печку, на золу:

Был бы я ласточкой
И мог бы летать,
На Святой бы Елене
Я стал отдыхать...

— Это значит, говорю вам, загубить жизнь, — проворчал сквозь стиснутые зубы Бюрль. — Загубить жизнь. Вы вот покуриваете свои трубки, вы сидите здесь. Ну, а по мне это — то же, что видеть, как человек, у которого сапоги в навозе, наступает на кисть винограда. Вот что это для меня!

— Ты еретик, вот ты кто, — сказал Фирмэн. — С тобой говорить нельзя. Сейчас же величественные позы, громовой голос, от которого сотрясаются стены. Так, значит, ты предпочел бы...

— Нет, — сказал Бюрль, — ничего я не предпочел бы, ничего.

Он медленно поглаживал свое колено и приподнял из-под бровей глаза, чтобы пристально поглядеть на Фирмэна.

— Знаю, что ты скажешь. Но я-то думаю, что все, — слышишь ли, все, — не стоит одной человеческой жизни, с ее радостями, с тем счастьем и покоем, которые человек может наскрести себе своими трудолюбивыми руками.

Он высоко поднял левую руку, в которой держал труб-

ку, и длинный чубук дрожал с приставшей к мундштуку ниткой слюны.

— Сына у тебя нет, — сказал Малан, — никого у тебя нет. Чего ты распелся?

Бюрль обернулся к Малану, но чубуком он попрежнему указывал на Фирмэна и тыкал им в сторону Фирмэна, точно для того, чтобы сказать: «То, что я говорю Малану, относится и к тебе, относится ко всем вам».

— Да, нету у меня сына, никого у меня нет, один я, да!

Он разжал зубы и говорил теперь внятно, не спеша.

— И знаешь, что заставляет меня сказать она, ваша война? Она заставляет меня сказать: тем лучше! А одному только богу известно, как хотелось нам с Белиной иметь детей, так хотелось, что, проходя по деревне, я украдкой целовал чужую детвору. А теперь я говорю: тем лучше! Эх! Своих-то детей здорово вы защищаете, сидя вот так, с набитым брюхом у печки, в тепле. Нет, детей у меня нет, но я знаю. Я жил не в домах, а в шалашах, сплетенных из ветвей, я не давал отдыха ногам, я шагал впереди стада, посреди овец, всю жизнь прожил я среди животных, и я видел жизнь куда полнее той, что видите вы, — я видел ее во всей ширине, во всей ее мощи. И я видел ее всю целиком, начиная с земли под ногами и до самых звезд в небе. Знаете ли вы, что вы сейчас делаете? Ты-то знаешь, Малан? Тебе говорю я это, у кого трое сыновей, и кто может еще есть, кто продолжает еще есть и спать: своими облепленными навозом сапогами ты шагаешь по своим сыновьям, ты наступаешь им на голову, на рот, на глаза. Да, ты, ты, Малан, ты, сидя вот так у печки и греясь подле нее с новенькой трубкой в зубах!

Он встал. Он оттолкнул коленкой стул.

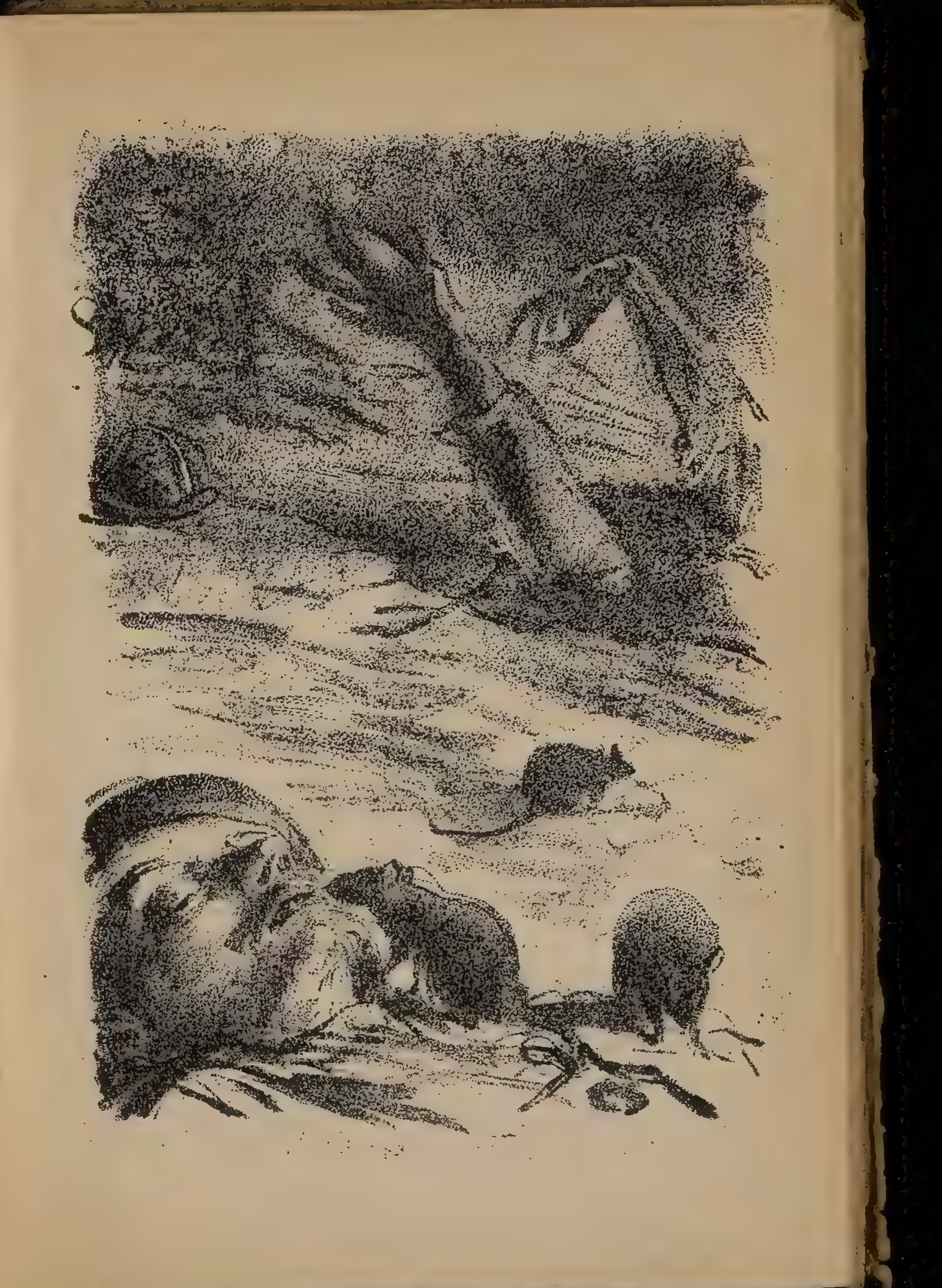
— Не могу я вынести!.. — сказал он.

Он неспеша выколотил трубку. И в это время он оглядел их всех по-очереди. Каждый из них отвел взгляд в сторону: кто смотрел на дверцу печи, кто на графинчик, кто на приклеенную к стене афишу пива. Никто не хотел повстречаться взглядом с Бюрлем.

Он медленно направился к двери и вышел.

— Стойте! Стойте!

Все, кому удалось переправиться через канал, бежали,



обдаваемые светом прожектора, сгорбивши спину под пулями пулеметов. Все они исчезли в земле.

Оставался только этот безмолвно скользящий световой круг, озаряющий лишь грязь да трупы.

— Стойте! Стойте! — лежа в земле, тихонько твердил Жозеф.

Он укрылся у самой насыпи канала, в прекрасной черной дыре, куда не мог проникнуть прожектор.

— Стойте! Пусть они остановятся... Не слышат они, что ли? Не слышат этого крика там, на мостике?..

Кричат. И это барахтанье ног в воде!..

Жозеф, не поднимая головы, смотрит через плечо: это кто-то там цепляется руками за доску мостика и пытается вскарабкаться наверх, но на плечах у него сумка. Его видно при свете прожектора. Мостик завален трупами; он подгибается под их тяжестью.

— Верон! Верон!

Это голос Кушпо. Значит, это Кушпо висит там на руках, раз он зовет Верона, А Верон-то где? Среди трупов? Или же там где-нибудь, слышит и затыкает себе уши землей, чтобы не слышать?

— Да, — говорит Жозеф. — Иду.

Он приподнимает широкие плечи. Тотчас же на нем расплющивается огненный диск прожектора. Вокруг роем пуль поет ночь. Он снова ложится, свертывается в комок и уже не шевелится больше.

— Верон, скорее, скорее же!

Как раз в этот миг пулемет кромсает дерево мостика и тела мертвецов.

— Скорей, скорей!

— Боже мой, боже мой! — задыхается Жозеф.

— Скорей!

Теперь пулемет грызет уже что-то горячее и живое: он мурлычет, впиваясь в мякоть.

— Ах, Верон!..

Вода разверзается под тяжестью человека; качаясь, протяжно стонет освободившийся от людей мостик.

Ранним утром, в час, когда земля дымится собственными своими испарениями, всегда наступала передышка. На шинелях трупов сверкала роса. Легкий и зеленый, куда-то напрямик мчался рассветный ветер. На дне воронок возились в грязи какие-то водяные животные.

Медленно двигались вдоль траншеи красноглазые крысы. Кругом была уничтожена всякая жизнь, кроме жизни крыс и червей. Ни деревьев, ни травы — ничего, кроме глубоких борозд, и от холмов остались только обглоданные костяки. Тем не менее все это тихонько курилось утренним туманом.

Слышно было, как с легким электрическим свиристением проплывает мимо тишина. Трупы лежали, уткнувшись лицом в грязь, или мирно выглядывая из ямы, упираясь локтями в ее края и положив голову на руки. Крысы приходили и обнюхивали их. Крысы перепрыгивали с трупа на труп. Они выбирали сначала молодых, без щетины на щеках. Они обнюхивали щеку, потом сворачивались комком и начинали есть этот кусочек мякоти между носом и ртом, потом принимались за губы, потом за зеленое яблоко щеки. Время от времени, чтобы почиститься, они проводили лапкой по усам. Что касается глаз, то, легонько ударяя когтями, они вытаскивали их, вылизывали впадину между веками, потом вгрызались в самый глаз, точно в маленькое яичко, и скривив рот на сторону, осторожно разжевывали его, высасывая сок.

Поутру, на не совсем еще развернувшейся заре, широко взмахивая спокойными крыльями, слетались вороны. Они искали вдоль тропок и дорог крупную падаль. Рядом с павшими лошадьми, у которых брюхо треснуло, как цветок каперса, валялись опрокинутые повозки и пушки, смешивая в одну кучу железный лом и хлеб и мясо провиантских запасов, еще обернутое марлей, и желтые палочки пушечного пороха.

Они отправлялись на черных своих крыльях к тому месту, где скрещиваются мелкие траншеи, туда, где людям приходится выходить из-под земли, чтобы пересечь дорогу. Там оставляли своих представителей все ночные провиантские наряды. Растянувшись на земле, с опрокинутым на колени суповым ведром, валялись люди в растворе крови и вина. Даже хлеб, который они несли, был продырявлен пулями, и видна была его сырая и красная мякоть, разбухшая от человеческой крови, как ломоть, макаемый в вино для укрепления желудка во время жатвы. Вороны клевали хлеб и в то же время, перепрыгивая с лапы на лапу, месили его когтями. Затем они обнаглевали до того, что старались спихнуть каску с головы покойника. Все это были совсем свежие трупы,

иной раз еще теплые и только чуть-чуть посиневшие. Ворон толкал каску; иногда, когда труп лежал неудобно, всеми зубами, казалось, вгрызаясь в землю, ворон тянул его за волосы и за бороду до тех пор, пока не обнажалась та часть шеи, где кончается борода и начинается растительность на груди. Это было нежное и совсем свежее местечко; красная кровь еще сворачивалась там комочком. Они тотчас же принимались клевать там, раздирать эту кожу; потом постепенно ели, время от времени каркая, чтобы созвать своих самок.

Мертвецы шевелились. В окоченелости мертвых тел натягивались нервы, и при свете зари вдруг медленно поднималась чья-нибудь рука. Она так и оставалась поднятой, простирая к небу открытую черную ладонь. Лопались слишком вздутые животы, и человек корчился на земле, дрожа всеми распустившимися связками. К нему, казалось, возвращалась частица жизни. Он поводил плечами, как бывало прежде, на ходу, он поводил плечами по прежней своей привычке, когда жена узнавала его среди других по походке. И крысы разбегались от него. Но не дух жизни заставлял его поводить плечами, а механика смерти, и минуту спустя он снова, неподвижный, валился в грязь. Тогда к нему возвращались крысы.

Даже земля, перекормленная навозом, и та отваживалась на менее медлительные жесты. Она дрожала, как молоко, которое вот-вот вскипит. Мир, слишком унавоженный трупами и кровью, задыхался от великой своей силы. Среди волн развороченной земли вздувалась живая волна; потом нарыв лопался, как корка на хлебе. Шло это оттуда, из этих ям, где столько погребено было народа. Подымалась опара плоти, сукна, кожи, крови и костей. Кора трескалась от силы гниения. И вороны-самки тревожно щелкали клювом в гнездах зеленого и голубого сукна, и крысы навастривали уши в своих норах, утепленных человеческими волосами и бородами. Клубки жирных белых червей скатывались вниз в оползнях откосов.

Вместе с утром поднималось из-за пустыня глухое громыхание огромного обоза. Это там, в ложбине, между холмами плескались живые потоки людей, повозок, пушек, тележек: большие обозы мяса, удобрения земли.

Но солнце медлило взойти. Сперва на разодранном

горизонте, между облаками проступила светлая каемка, потом скользнул тусклый огонь и, как вода, просочился в извилины траншей. И это было все. Потом свет растворился в просторе неба и земли и так и остался тусклым, цвета старой серой соломы. Это был день.

Папаша подошел к краю дороги; он всматривался в поднимающегося по горе человека.

Дельфина комкала свой передник.

— Вот видишь, — сказал папаша, — это он.

Он сжимал кулаки.

Тот не торопился. Он обходил грязь, то-и-дело сворачивая на траву. Видно было, как блестят его желтые башмаки. На нем была синяя блуза, такая, какие носят конские барышники, но она была распахнута на груди, открывая вид на сукно надетой под нею куртки, на чистый воротничок и на красивый галстук. За человеком следовало два жандарма.

— Привет честной компании! — на расстоянии десяти метров сказал он.

Папаша дал им подойти поближе.

— Здорово! — не слишком громко и не слишком приветливо ответил он.

Тот вытер башмаки об траву.

— Ну и грязь же у вас на подъеме! Откуда только она берется?

— От прорвавшегося родника.

— А! Так он прорвался, — сказал человек.

Папаша крепким своим стариковским телом загораживал дорогу. Таким образом он держал человека и обоих жандармов на склоне холма, не подпуская их к дому.

Он стоял, выпрямившись во весь рост, и с обеих сторон вдоль тела выжидающе напряжены были его запачканные землею кулаки.

Человек сунул руку за вырез блузы. Он вытащил оттуда часы и какую-то бумагу. Он взглянул на часы. Он помахал бумагой, протягивая ее папаше.

— Мы пришли насчет коз, — сказал он.

Папаша не разжал висевших вдоль тела кулаков.

— Нет здесь коз.

Человек прищемил бумагу губами и, посвистывая, посмотрел на жандармов.

— Можно было бы посмотреть.

— Все уже смотрели.

Человек сделал два шага по направлению к папаше. (Отлично виден был его великолепный полушелковый галстук с булавкой в виде подковы.) Папаша уперся в бока, чтобы расставленными локтями как следует загородить всю дорогу.

— Отец! — взмолилась Дельфина.

— Отстань! Я сказал, что все уже смотрели.

— Да, но, — пояснил человек, подняв указательный палец, — мы все-таки хотели бы посмотреть, потому что вот приказ. Это реквизиция.

— Реквизиция чего?

— Коз.

— Дядюшка Шабран, — сказал один из жандармов, — это реквизиция коз, это для колониальных войск, для индийцев, для их питания, понимаете? Ведь известно, что у вас шесть коз. Так лучше уж признаться.

— Да, — сказал папаша. — Да, они у меня есть, у меня и останутся. Плевать мне на ваших индийцев.

Человек слегка пожал плечами; там, позади он видел одну только ополоумевшую Дельфину, и единственной преградой был этот старик, он же стоял здесь с двумя жандармами.

— Ну-ка! — сказал он. — Идем! Если он упрям, не наша в том вина.

И он шагнул вперед. Но перед ним был папашин кулак, и здорово напруженный кулак.

— На твою ответственность, — сказал папаша. — Еще один шаг — и я возьму тебя за шиворот, и какой ты ни на есть Артабан, но если я тряхну тебя, то ты лет на десять растеряешь всех своих блох. Берегись! Хоть ты и толстый, но молодчики вроде тебя, что перышко в этих руках.

— Отец! — кричала Дельфина.

— А ты отстань! — отозвался папаша. — Это дело мужское. Я сказал то, что хотел сказать. Точка, и больше ничего. Вот тебе добрый совет, образина: поворачивай оглобли и проваливай. Единственный совет, но зато хороший. Здесь не привыкли плясать под чужую дудку.

— Он сумасшедший! — сказал человек. — Но вам за них заплатят.

— Нет!

— Это для всех обязательно.

— Нет!

— Он не понимает. Это для всех обязательно, говорю вам. Это для индийцев, для войны, для войны!..

— Понял,— сказал папаша.— Ладно, довольно кричать, охрипнешь... Понял, все понял, слишком хорошо понял: война! А я говорю тебе — нет, и это значит нет! Что ж, и людей, и хлеб, и овец, и лошадей, и коз, все и все подавай ей! А почему вы хотите отбирать всегда у одних и тех же? А ты-то тут зачем? Ты, знаешь ли, в теле. Что ты здесь делаешь? Эх, жандармы! Что делает здесь этот человек? Там-то мест для него нет, что ли? Уж наверняка нынче кого-нибудь да убили, вот тебе и опросталось место... И вы думаете, что долго так может продолжаться? Сперва сына, потом лошадь, хлеб, а теперь и коз... А глаза-то, чтобы плакать, вы нам оставите? Их-то вы нам оставите, потому что знаете, что они нам понадобятся. Но кто распоряжается всем этим? Где этот сумасшедший, который распоряжается всем?

Человек попятился к жандармам.

— Не время спорить,— сказал он.— Это все одно и то же. Так как же, да или нет?

— Нет!

— Вы отказываетесь?

— Отказываюсь.

— Скоро получите весточку от меня.

— Спасибо,—сказал папаша.—Очень обрадуете. Только не пишите слишком часто.

Когда они уже повернулись, чтобы уходить, папаша весь затрясся от приступа какого-то злобного и тоскливого смеха.

— Дай шляпу,— сказал он, входя в дом.— Пойду, повидаюсь с мэром. И не беспокойся,—продолжал он,— Дельфина, дочь моя. Если бы это и вправду была реквизиция, то мы бы получили бумагу, ее огласили бы. Пришел бы стражник! А тут ничего. И эти жандармы, которые повесили носы! Что-то тут неладно, говорю тебе... шляпу, я пойду к Батистэну.

Прекрасный воздух был этим утром: воздух весь золоченый, полутеплый, и полухолодный; и был в нем нежный трепет, такой нежный и вместе с тем такой легкий,

что казалось, он ласкает, точно щекочет вас. Небо было совсем чистое.

Папаша надвинул на глаза черную широкополую шляпу и ушел, опустив голову. Лучше было бы итти с закрытыми глазами, а то все-таки он видел дорогу, обуженную дерзостью этих сорных трав, проезжую дорогу, накатанная полоска которой белела теперь лишь тоненьким шнурком. По ней уже не проходили люди. Толстая, жирная цикута слопала все колеи и просветы дороги; даже там, где еле заметно вилось что-то похожее на тропку, подтачивал землю лишай. Папаша шагал по тропке в своих тяжелых, подбитых гвоздями башмаках. Он всей тяжестью своей попирал эти травы, чтобы раздавить их, чтобы оставить свой след, чтобы отстоять дорогу,— дорогу, предназначенную для людей, все, что стиралось теперь этим буйным расцветом.

Ах! Ему не нужно было приподымать шляпу и смотреть на землю, чтобы знать. Он и без того знал, он видел мыслью своею, рассудком своим: эти поля со скудными колосьями, редкими, как борода юнца; эти желтые и худосочные колосья, образующие то густые пучки, то плеши; этот хлеб, посеянный женской рукой, этот ребяческий хлеб. И силу сорных трав, с тех пор как утратили всякую сноровку и знание, с тех пор как людей, обремененных опытом и обладателей здоровых рук, большим стадом погнали на смерть...

О этот буйный расцвет!

Не было уже больше плугов, чтобы взрывать пустошь, чтобы кружить по большим участкам краснозема. Не было ни лопат, ни заступов, ни мотыг, ни борон, не было этой пиратской сохи, которую, взвалив себе на спину, тащил человек на середину пустоши, чтобы захватить себе немножко новой земли, — все теперь заросло. Большой урожай был только на калину и ежевику да на дикий виноград, который глушил все вокруг своими длинными нервными стопалыми руками. Устроили нечто вроде широкой цирковой арены, толкнули туда всех пьяных земледельцев и заставили их бороться, ломая друг другу ребра.

Хорош праздник!

И буйный избыток во всем. Слышен был глухой шум

потоком скатывающихся с холмов семян и корней. Слышно было, как трескается в полях можжевельник. На участках, засеянных люцерной, как клещи, разбухают клубки повилики.

— Все пропадет! Все!

Оставались лишь солнце, да дождь, да ветер, да земля — все вольные, освободившиеся от людей, и все это снова начинало жить своей великой первобытной жизнью.

На каменной скамье перед мэрией сидела старуха. Она сидела чинно, скрестив руки под передником.

— О, тетушка Мьэтт, — сказал папаша, — что вы тут делаете в тени?

— Жду своего мальчика, — сказала старуха. — Он там, наверху, его осматривают.

— Где наверху?

— В мэрии, разумеется. Он проходит комиссию.

Двери мэрии были открыты настежь. В коридоре стояла пыль.

— О, тетушка Мьэтт, вы соображаете, что говорите, или говорите на-смех? — сказал папаша.

— Нет, я не говорю на-смех, я соображаю, — сказала старуха. — Его вызвали в комиссию. Вот я и подумала: а вдруг как от всех этих волнений приключится с ним припадок? Лучше уже тебе быть поблизости. В прошлый раз так и оставили его в ручье, он совсем было задохся. Ну вот, я и пришла сюда, поджидаю его.

Папаша смотрит вверх, в окна. Да, занавески сняты, стекла протерты. И сквозь них видно, как поблескивает шитье на кэпи и белеет китель, и сереет зеленоватое тело обнаженного человека.

— Альберик, — говорит папаша, встретив в коридоре стражника, — поди скажи Батистэну, чтобы он вышел ко мне, только на два словечка.

— Войди сам, — говорит Альберик, — но на минутку. У него столько возни с этой комиссией!

Он открыл дверь; оттуда пахнуло конюшней и потом; там они раздевались и потом ждали, совсем голые. Из другой залы выкликали фамилию. Тогда кто-нибудь из них шел туда, босиком, шлепая на ходу ногами, как скотина.

— Взвесьте его! — раздавалось при входе.

Слышно было, как под тяжестью скрипит коромысло весов.

— Пятьдесят кило, — произносил чей-то голос.

Папаша постоял с минуту, прежде чем узнал их всех. Обычно видишь их одетыми, а чего только не скроешь под курткой и штанами: и грыжу, которая грибом выступает на животе, и проломленные посредине плечи, и впалую грудь, и кривые ноги, и скрюченные руки, и золотуху, и струпья болячек... Вот тот, краснозадый, — ведь это нотариус. Он так и остался в очках. Он попытался пошутить:

— Что же, и вас тоже, дедушка?

— И до меня дойдет черед, — сказал папаша.

Вошел мэр. Глаза у него были навыкате, и разбухшая шея выпирала из целлулоидного воротничка. Он отвел папашу в угол.

— Знаю, Шабран, — сказал он. — Ты, верно, пришел насчет коз. Ты уж третий сегодня. Нет, ничего не давай. Нет, дело неправильное: это один марселец скупает коз для индийцев. Но на свой собственный счет, не для государства. Так вот, чтобы дело шло быстрее, он и выдумал эту самую реквизицию. Он дает сто су жандармам. Нет, ничего не давай. И пусть никто ничего не дает.

— Ты должен был бы предупредить, Батистэн. Коль он не взял у меня, то, верно, взял у других.

— Уж если хочешь знать, — сказал мэр, беспомощно опуская руки, — я совсем запутался. Голова идет кругом. И туда, и сюда, и в пекарню, и на мельницу — повсюду надо поспеть, все выполнить, обо всем позаботиться. Не мое это дело. Я совсем запутался. Нынче, например, мне надо было бы боронить на участке Аншо, а я здесь, как видишь.

Папаша поглядел на голых людей.

— Кстати, — промолвил он, — я видел там, внизу тетушку Мьэтт. Как же с сыном-то ее?

— Забрали его.

— Ты не сказал им, что у него падучая?

— Эх! Говорил я. А тот на меня накинулся, как лев. «Я имею приказ! — рявкнул он мне. — Я имею приказ. Если мы производим эти осмотры, то для того, чтобы вербовать людей. Сколько он весит? Шестьдесят кило? Ладно! Рост, вес. Только это мне и важно. Если он упа-

дет, там видно будет. Следующий!» До свиданья, — сказал мэр.

Папаша надвинул шляпу на глаза. Он тяжело вздохнул.

— Что с тобой?

— Ничего, — ответил папаша.

Он прошел мимо тетушки Мьэтт, не сказавши ей ни слова. Она все так же чинно сидела на скамье, скрестив руки под передником.

Так что же это — всех, даже этого!

Видно хотят, чтобы совсем иссяк источник человеческой жизни!..

Солдат вышел из неосвещенного пассажирского зала третьего класса. Он подошел к часовому:

— Луи! — сказал он ему.

Прежде чем ответить, вестовой заглянул в контору комиссара станции. Тот сидел, расстегнув сверху донизу свой сюртук и даже воротник. Толстым животом, обтянутым тонкой рубашкой, уперся он в край стола; на пропускной бумаге бювара красным и синим карандашом он старательно выводил розетку.

— Что? — спросил часовой.

— Фляжка при тебе?

— Висит на кровати.

— Дело вот в чем, — сказал солдат: — Гюстав на путях, около семафора, нашел бочонок бордо. Он долбанул его штыком. Теперь там заткнули дырку пальцем, а то из нее так и хлещет. Наполнили все ведра, все миски. Я наполню и твою фляжку.

Под ночным ветром пустой панцырь вокзала поет свою песню, песню железных крыльев. На запасных путях пыхтят длинные усталые поезда. В вагонах стоном человеческой тоски приветствуют быки вольные луга, залитые луною.

Мирно спит набитый солдатами поезд с длинной гусеницей платформы, ощетинившейся дулами пушек.

Два человека из железнодорожной команды спорят у рычага семафора.

— Открыт, говорят тебе!

— Закрыт, говорят тебе! Пятьсот четвертый приходит во-время.

— Открыт.

Оба они держат руку на рычаге семафора.

А комиссар вокзала в это время разрезным ножом постукивает по краю стола.

То головою вниз,
То головою в небо...

напевает он, глядя на тщательно вырисованную им, совсем круглую розетку без ног и головы. Он потягивает из двухлитрового бидона и с широкой улыбкой смотрит на волоски электрической лампочки.

Поезд с эшелоном протяжно свистит. Он трогается в путь.

Уже при въезде в деревню приходилось ступать по фашинам, затыкающим ямы на дороге, и под сапогом сочилось что-то красное. Ручьи текли, переполненные кровью. Стаи собак, с опущенными хвостами и недобрым взглядом, ловили носом струившийся в спертом воздухе запах смерти.

В тени раскрытых настежь овинов были распяты на стенах какие-то короткорукие белые гиганты. Это были тела, массивные, как огромные караваи хлеба, рассеченные посредине, тоже как караваи хлеба, но широкой, зияющей красной трещиной.

Деревня-скотобойня. Толстые каменные стены слегка потрескивают от груза всех этих выпотрошенных, подвешенных на крюках за подколенки, быков.

Проходит человек с ведром в руке. Головой и левой рукой старается он уравновесить тяжесть большого ведра, до краев наполненного каким-то кровавым студнем и кишками. За ним следом идет другой, занимая собой всю ширину улицы.

— Эй ты, с ведром! Нельзя ли потише?

Он несет на решете четверть быка, отрубленную от кровоточащей туши.

По дворам слышатся глухие удары молота, точно бьют по коже и шерсти. Бык падает. Копыта скребут о камень мощеного двора.

— Подержи-ка дверь, — говорит человек с решетом.

В этот миг оттуда выходит другой человек. В руках у него ничего нет кроме маленького ножа, совсем маленького, острого, как иголка. Острие сверкает в его

большом кулаке, который, как перчаткой, облеплен запекшейся кровью.

— Сколько? — спрашивает он, прислонившись широкой спиной к стене, чтобы пропустить входящих.

— Шестьдесят кило, — отвечает человек с ведром, — не считая всего вот этого, — он показывает на лежащие в крови отбросы.

В открытую дверь виден просвет двора, и как раз в этом просвете человек со всего размаху сечкой рубит на плахе бычью голову. Время от времени он останавливается, чтобы обтереть забрызганные кусочками мозга усы, потом отряхивает пальцы.

Вокруг него дерутся из-за обрезков мяса куры и утки.

— Реготаз! Реготаз! — тихонько звал Оливье.

Он знал, что тот, лежащий теперь ничком на земле, не мог уже услышать его. Но он звал, потому что видел эти широкие раскидистые плечи, это грузное туловище, эти толстые вывороченные ноги.

Оливье попробовал было перевернуть человека на спину, чтобы увидеть его лицо. Он был слишком тяжел. Он был и тяжел и мягок в то же время. Оливье вытянулся рядом с трупом. Он схватил его за волосы. Он попытался приподнять лицо.

Лица уже не было. Не было ни рта, ни носа, ни щек, ни глаз: только искромсанное мясо и торчащие из него маленькие белые косточки. Сохранилась часть лба, и оттуда как раз вытекал на землю мозг.

— Реготаз!

В руке мертвеца зажат был комок земли с маленькой травкой на нем.

Жозеф бежал по тропке противоположного склона. Он поддерживал правую руку. Левой, широко раскрытой ладонью старался он заткнуть дыру на локте, это месиво костей и мяса, откуда сквозь пальцы фонтаном била кровь. Он хотел заткнуть эту дыру. Два-три шага он делал бегом, потом два-три шел задыхаясь, потом снова пускался бежать. Ему не удавалось заткнуть дыру. Он изо всех сил нажимал левой рукой, но кровь продолжала сочиться. Он весь как-то опустошался. Ему казалось, что через эту дыру проникает в него воздух, что сам он уже не цельный, не защищенный от этого

зараженного воздуха, что весь внешний мир, развороченная земля, огонь, порох, кровь — все это уже начало проникать в него, и если так будет продолжаться еще немного, то он, Жозеф, смешается со всем этим, и плоть его растворится во всем этом, как сахар в воде.

Черный труп, который вгрызся зубами в ствол ивы, все еще стоял на корточках на берегу канала.

Там, наверху, в небе носился вихрь подготовки к атаке. По эту сторону, на уровне земли было тише. Зеленоватый, пахнущий порохом и жженой костью рассвет.

— Канал, канал! — кричал Жозеф.

Канал был тут, расплющенный в своих берегах, неподвижный, весь лоснящийся от гнили.

— А тополь, тополь, тополь! — кричал Жозеф.

Он увидел и тополь, один только расщепленный пенек, и прибитую к нему дощечку Красного креста.

Он стал искать дверь, колотя каской по набитым землею мешкам.

— Здесь! — откликнулся голос.

Его потянули за полу шинели. Старший врач обернулся.

— Держи-ка вот этого, — сказал он.

Он был без сюртука и без фуражки и выше локтя засучил рукава рубашки.

С пилой в руке нагнулся он над откинувшимся назад человеком, который хрипел, открыв рот, глухим хрипом боли, усталости и покоя.

— Подожди здесь, — сказал Жозефу санитар.

— А локоть мой... — сказал Жозеф.

— Ладно, подожди.

— Фабр! — позвал старший врач.

— Здесь!

Он положил окровавленную руку на плечо капрала.

— Этого — туда, в самую глубь.

Он взглянул на часы у запястья и, отдуваясь, попыхтел себе в усы.

Человека, который все еще хрипел, унесли.

— Фабр!

— Здесь!

— Через некоторое время ты пойдешь туда, в заднюю часть барака. (Он наклонился к уху капрала.) Ты

вытащишь оттуда мертвецов. Им незачем быть под прикрытием. Ну!

— Теперь ты, — сказал он Жозефу.

Он потрогал толстую перевязку. Он не узнавал своей руки. Хорошо ли, по крайней мере, заткнули? Хорошо ли заткнули эту дыру, через которую он, Жозеф, испаряется в воздух? Ему хотелось бы посмотреть, а потом самому заткнуть эту дыру, чтобы узнать, чтобы быть уверенным. Он потрогал толстую перевязку. Вот оно, там, внутри; уже начиналась боль. По спине змейкой пробегал жар, а потом холодок лихорадки.

Помещение было так насыщено запахами, что глотка была залеплена ими, как грязью.

Время от времени капрал раскачивал угольную лампу. В такие минуты видны были, кто тихонько хрипел там, в глубине барака, не заботясь уже ни о земле, ни о жизни. Капрал качал лампу, как младенца. Она метала огненные языки в глубь барака. Там лежали они в ряд. Тот, что посредине, был рослый парень с русой бородой; из-за нее виднелись его впалые щеки, впалые глаза и нос, как лезвие ножа. Лоб был увенчан тяжелой повязкой, настолько пропитанной кровью, что кровь струйками стекала по лицу.

— Да перестанешь ли ты? — говорил старший врач.

Капрал ставил лампу на место.

Пахло эфиром, кровью и иодом; по углам гнили грязные бинты.

— Который час? — спросил врач.

Он боролся с лежащим человеком. Тот кричал, отбиваясь руками.

— Держите его. Подойдите же, подержите его!

— Пять часов, — сказал Фабр.

— Подите, подержите его, говорят вам! Поднимите ему руки. Не кричи! Нажмите! Так, хорошо! Фабр, эфиру. Большой бинт. Разрежьте куртку. Прежде всего сердце... Так. Нет, ничего... На носилки его — и сейчас же во Вреньи. Фрипо, ты и еще кто-нибудь отправляйтесь во Вреньи, но не по дороге. Траншеей, слышите?

Врач вытер лоб.

— Фабр, — позвал он слабым голосом. — Водки!

Капрал подал ему фляжку. Врач сунул горлышко в рот.

— А! — простонал он, обсасывая губы.

У него были прекрасные скорбные глаза, лишенные в этот миг обычной суровости. На губах появилась легкая усталая улыбка. Капрал тоже ласково улыбнулся.

— Дай-ка вот этому,—сказал врач.

Он указал на Жозефа, котрый уж тонул в своей боли, в своем страхе, в густом запахе эфира, залепившем ему горло.

Внезапно снаружи наступила глубокая тишина, точно все окунулось в бездну неба. Жозеф от этого сразу почувствовал какую-то пустоту в животе. Врач высоко поднял свой окровавленный нож:

— Атака,—сказал он.

Потом:

— Фабр, поди-ка, посмотри.

Фабр вышел.

Светало. Снаряды уже не падали. Слышны были только всплески канала, и там, у зеленой каймы зари людские крики, такие слабенькие и пискливые, точно там шел крысиный бой. Медленно трещал пулемет. У мельницы взорвалась целая гроздь гранат.

— Да, — сказал Фабр, возвращаясь. — Так и есть, двинулись.

— Так, значит, теперь... — сказал врач.

Он осмотрелся, посмотрел на эту, уже пролитую кровь, на эту человекобойню.

Теперь в эту прилепившуюся к насыпи канала землянку полными носилками приносили и сваливали мясо. Неистовый заградительный огонь сокрушал резервы по ту сторону канала. Огонь и дым бешено плясали по людям. По воде канала, как по коже лошади, пробегала дрожь. Пламя угольной лампы то угасало, то взвивалось к потолку. Вся землянка сотрясалась, как кузов корабля.

Снаружи кто-то звал:

— Фабр! Фабр!

Там рядами лежали раненые; были там скрюченные, были завернутые в шинели, куртки и бинты. Из этой кучи глядел, не шевеля веками, жутко открытый глаз, или торчала рука с раздробленной кистью, а там, на месте живота, разрасталась темная лужа.

— Фабр!

— Оставайся здесь, — сказал врач. — Сходи, принеси земли.

Подбородком он указал на свои ноги, скользившие в крови.

Фабр пошел с мешком за землей; потом он высыпал ее под ноги врачу. Тот продолжал рыться ножом в окровавленных телах.

— Туда, в глубь...

— Следующий!

— Не стоит. Уноси.

— ...

— Земли!

Фабр вышел. Он был бледен, как сердцевина огненного языка в лампе.

— Бинты!

— Фабр!

— Задыхаюсь! Задыхаюсь!

— Фабр, сходи-ка в глубь барака. Вели вынести мертвецов.

— Фабр! Фабр! — кричали снаружи.

Фабр бегал, согнувшись в три погибели, стиснув зубы. Он поскользнулся и упал на Жозефа.

— Эх, старина! — вместо извинения сказал он.

Жозеф поглядел на него взглядом, опустошенным от запаха эфира.

— Опростай место, Фабр, вышвырни мертвецов в канал.

Двое солдат внесли носилки.

— Осторожней,—сказал тот, кто шел задом.

Врач посмотрел.

— Умер. Выносите! Фабр, земли!

Окровавленными руками он обтер себе лоб.

— Доктор, доктор!.. — стонал человек.

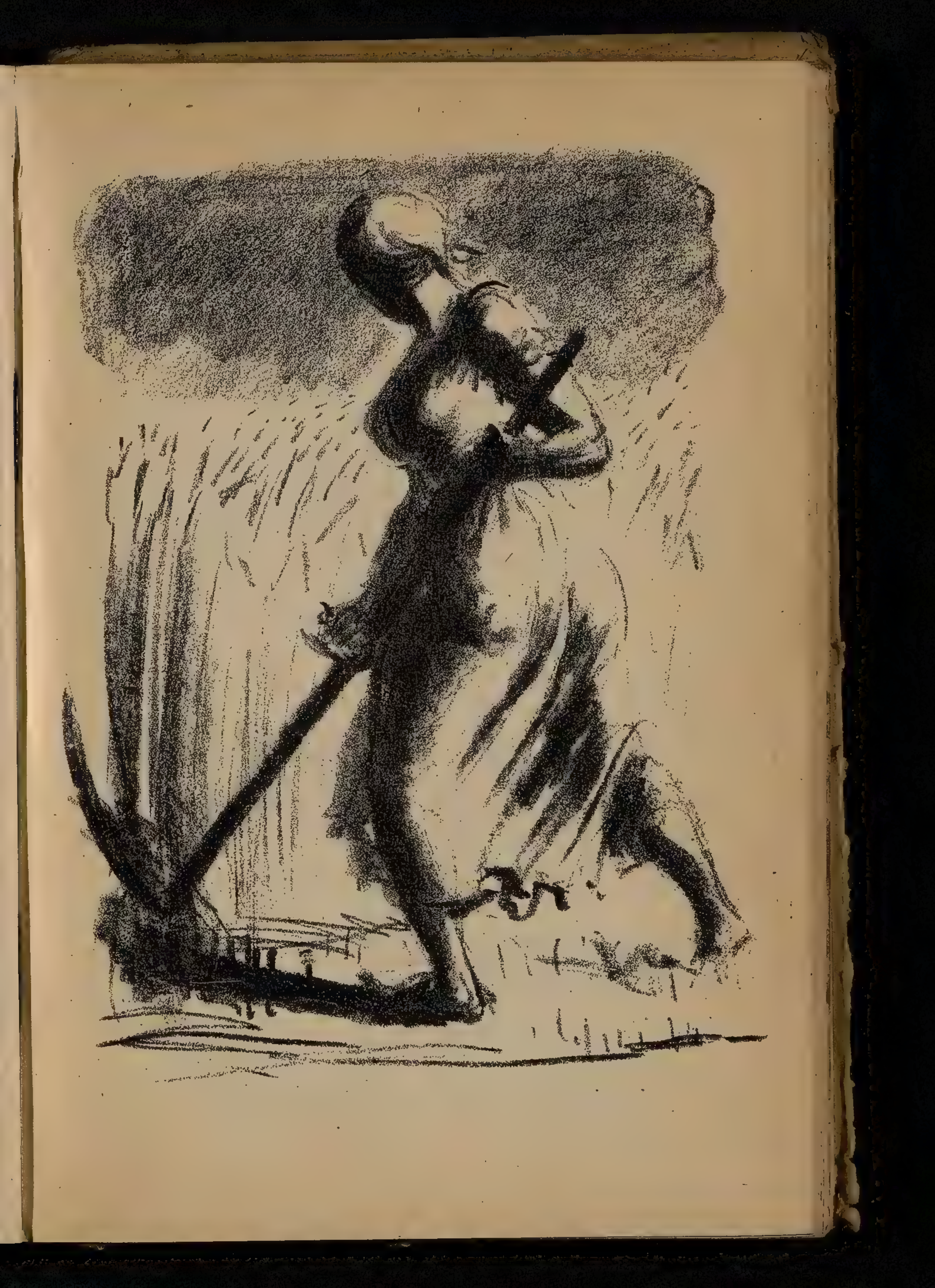
— Да, паренек, — сказал врач.

Он прикоснулся к его мягкой, залепленной грязью и дрожащей, как студень, груди.

— Задыхаюсь!

— Ребята, помогите, кто может!—кричал Фабр.—Вынесем мертвецов. Можно задохнуться там, в глубине...

— Погоди, — сказал врач. — Слушайте, ребятки, — сказал он. — Эй, вы, все, кто еще слышит! Вы видите, мест больше нет. Вы видите, каких товарищей приносят. Они





еще больнее вас. Те, у кого уцелели ноги, вставайте, отправляйтесь во Вреньи. Там за вами будет лучший уход. Там есть кровати. Ну, идите! Фабр, дай-ка им водки... Не отставайте друг от друга, держитесь все вместе. К Вреньи ведет прямая дорога.

— Ты-то бежать можешь? — спросил Фабр Жозефа.

— Да, — сказал Жозеф.

Он помнил: Вреньи вон там: там деревья, госпиталь у пруда.

— Да, — сказал Жозеф.

Там, впереди их ждал заградительный огонь, со всеми своими полыханиями и огненными снопами.

— Как перейдете канал, бегите,—сказал Фабр.

Он смотрел, как они шли, отяжелелые от повязок. Миновав канал, они попробовали было бежать, но ничего из этого не вышло. Они опять пошли шагом. Иногда их совсем застилало дымом. Сгорбившись, шли под секиру огня и железа.

— И не глядел бы! — толстыми своими губами проворчал с отвращением Фабр.

ЗАТРУБИЛ В ТРУБУ ПЯТЫЙ АНГЕЛ

Вчера днем, вернувшись невзначай домой, мясник застал свою дочь в постели с учеником. Сперва он увидел только лежавшую на спине толстую, огромную Фонсину, под тяжестью которой, казалось, подгибалась кровать.

— Ты больна? — чуть было не спросил он.

Но тут увидел он юнца, притаившегося у стенки за всеми этими обнаженными жирами.

Нынче утром мясник подошел к чулану.

— Ты здесь, бездельник? — спросил он.

— Да, — ответил ученик.

— Вставай! Ты отправляешься со мной в поездку.

Утренняя улица пахнет мочей и тмином. Чуть брезжит, и веет свежестью горного ветра. К конюшне подкатывают шарабан.

Ученик выводит лошаденку. Мясник возится со сбруей и застежками.

— Свинья, свинья!—ворчит он.

Потом он решается перевести взгляд на ученика.

— Ты свинья!

— Да, — говорит ученик.

— Ну, садись. Теперь-то я приберу тебя к рукам!

Он поводит густыми седыми бровями, и юнец, дрожа, как козленок, влезает в шарабан. Выехав за ворота, они встретили на дороге дядюшку Нэгра.

— Счастливого пути, Гюстав! — подняв руку, сказал дядюшка Нэгр.

— Спасибо. И тебе также, — ответил мясник.

Стояло утро, пронизанное приятным, мягким ветром, какой дует иногда в июле после буйства грозы.

Вся земля, покрытая зрелыми колосьями, золотится, как масло, в большой голубой чаше холмов. Большими кораблями плывут по воздушному течению облака. Хочется из дома на волю, нанизывать шаги на гладкий прут дороги. В такое утро со дна души поднимаются забытые песни. Открывается вид на самые далекие дали: на холм Бон-Мэр, на высящийся против света Эскариад, острый и смуглый, как шип на розовом кусте.

Юлия одевается у открытого окна. Она надела поверх сорочки одну только юбку. Она смотрит, как дышит ее грудь. На Рукьере на уступах гор звонит колокол. Круглое небо, вздымаемое ветром, дышит, как грудь. Юлия босиком спускается в кухню. Ей приятен холод камня под ногами. Она берет кофейник, наливает себе чашку кофе. Она идет к порогу. Она стройна, как прекрасное дерево, или, с этой пережабиной на теле от завязок юбки, как тонкий фаянсовый кувшин. Упершись левой рукою в бок, она, оттопырив губы, медленно потягивает кофе. Время от времени она легонько бьет ногой по траве, чтобы омочить ее в росе. Мелкие травки холодными язычками лижут ее между пальцами. Юлия в полном цвету.

Мадлен возвращается из курятника с тремя яйцами в каждой руке.

— Черная снеслась? — спрашивает Юлия.

— Черная и серая да еще та, меченая, с красной ниткой на лапке.

Мадлена раскрывает ладонь.

— Погляди-ка, вот ее яйцо, остренькое. Оно довольно крупное. Она теперь тоже будет нестись.

Подходит Жером и спрашивает:

— Что это у вас тут?
— Меченая курица начала нестись.
Он глядит на яйцо в Мадлениной руке:
— Пойду в город, узнаю насчет почты, — говорит он.— Завтра уже три недели будет, как мы ничего не получаем от Жозефа.
Мадлена бережно складывает яйца на дно глиняного кувшинчика. Юлия моет свою чашку над кухонной раковиной. Она спрашивает:
— Ты занята сегодня?
— Я собираюсь сушить белье. Пора уже.
— Пора и хлеб косить на нашем участке в Суккоте, — говорит Юлия.— Я начну пока одна.
Она всовывает босые ноги в толстые башмаки. Ударяя каблуком по плитам, она поудобнее устраивает ногу. Она осматривает косу, проводит большим пальцем по краю лезвия. Она привязывает к поясу наполненный водою бычий рог, в котором мокнет точильный камень. Потом взваливает косу на плечо и уходит.

Шарабан резко скачет по колеям плоскогорья. Ветер подталкивает, потом обгоняет его, озорничает там, впереди, клубя пыль, встряхивает миндали и ныряет в колосья.
Время от времени Гюстав опускает вожжи, хмурит густые брови и отворачивается.
Юнец сидит весь какой-то одеревянелый, замкнувшийся в самом себе. Безусое его личико, острое, как крысиная мордочка, подставлено ветру. На хозяина он не глядит. Он глядит прямо перед собой, на бегущую навстречу дорогу. Руки его, как две раковины, лежат на коленях. Он даже не смеет держаться за кузов шарабана, и все тело его и голова трясутся в такт лошади.

На почте ничего не было. Корреспонденция еще не пришла. Жером уселся на каменную скамью рядом со стариками.
У фонтана сошлись три женщины. Одна из них выжимает на каменном ободе водоема кучу белого белья. Что касается остальных, то одна наполняет водою свой кувшин, а другая, подбоченившись, ждет.
— На каждый день у меня голубые,— говорит та, что стирает.

Мокрыми пальцами раздвигает она вырез лифа и показывает край голубой сорочки.

— А это вот моя воскресная. Погляди, какое кружево!

Двумя пальцами вытаскивает она из мыльной кучи бретели сорочки и показывает, расправив их на руке:

— А прошивка!

Широкое жерло фонтана поет песню, которая уже высоким голосом звучит в кувшине.

Молодой Амодрик привел лошадь на водопой. Животное, раздвинув ноздри, дует на водоем, чтобы разорвать гладь воды. Мыло щиплет нос. Лошадь потянула носом и тотчас же замотала головой и задом.

— Держи свою лошадь, сукин сын! — кричит прачка.

— Это все из-за твоего мыла, огородное пугало!

Лошадь успокоилась. Она пьет из ведра. Мальчик и женщина дерутся, пригоршнями обдавая друг друга водой из водоема.

— Марготта, подержи-ка его.

Другая женщина отставила свой кувшин и сгребла мальчика в охапку. Она прижимает его к груди, и так как тот барахтается, она широко раздвигает ляжки и, как в тисках, зажимает его между ног.

— Так, Марготта, держи его покрепче, я умою его, а то у него нос сопатый.

Мальчик извивается как ящерица, но прачка мажет его по лицу намыленной женской сорочкой.

Юлия, как вкопанная, стоит перед колосящимся полем. Она оглядела всю гладь этого поля, которое в рамке айвовых деревьев похоже на пруд; потом она поставила косу, рукояткой вниз, лезвием кверху, и стала водить по лезвию камнем, старым голубым точильным камнем, где пальцы ее нашли отпечаток пальцев Жозефа. Вся рука ее заполнена этим камнем, и она чувствует его тяжесть, когда водит им по лезвию косы.

Ветер уже согрелся на солнышке. Время от времени он шевелит волосами спелых колосьев, и тяжелые желтые злаки колышутся, как волны.

Юлия сделала шаг, первый шаг, решающий. Она очутилась на самой меже. Поле вплотную прижалось к ней и слегка потрескивает от тяжести зерна. Юлия как следует приладила широкий жаркий пояс из жесткой кожи, как рука обхватывающий ее бедра, и подвесила

бычий рог как раз над пахом, как делают мужчины. Она наклонилась, откинула всю свою силу вправо, потом плавно перебросила ее влево, и тогда большая коса врезалась в гущу хлеба.

И вот рядами полегли колосья — и стройными рядами, честное слово! Если стараться, если слегка приподымать кончик косы, когда соскальзывают срезанные стебли, то они ровным кружевом ложатся на скошенное жнивье. Так чисто сработано, будто здесь работала рука Жозефа. Есть же сила и в этих руках!

Юлия идет согнувшись, широко расставляя ноги, чувствуя, как бьет ее по животу бычий рог, раскачиваясь справа налево, в лад этому большому плоскому лезвию, которое, как ласточка, скользит по земле.

Она была уже там, ближе к середине поля, когда услышала тарахтенье шарабана. Лошадиный топот затих, и чей-то голос крикнул:

— Эй, вы, там!

Она придержала уже занесенную косу и выпрямилась. Рукой заслонила глаза от солнца.

«О, Гюстав», — подумала она и ответила:

— Иду!

И положив косу, она направилась к шарабану. Пот остывал, стекая вдоль ее тела, но мало-по-малу солнце, как большой, жарко дышащий на нее рот, согревало ее. Вот она уже стоит перед лошадью. Она поднимает руки, чтобы поправить волосы. Открываются ее волосатые черные подмышки. Лошадь отворачивает морду и трясет ушами.

— Как насчет свиньи-то? — спрашивает Гюстав.

— Она все там же, — говорит Юлия.

— Что ж, лучше ей?

— Нет, теперь захватило низ брюха.

— Надо решаться, — говорит Гюстав. — Выгоднее решиться сразу, не мешкая.

Юлия с минуту стоит, ничего не говоря, зажав губами головные шпильки.

— Ты думаешь, это рискованно?

— Ты рискуешь, что она у тебя в один прекрасный день околеет, вот в чем дело.

— Сейчас не время, — говорит Юлия, глядя на мутный, как стекло, воздух.

Гюстав наклоняется к ней,

— Всему сейчас время, дитя мое. Я заколю ее, положу в ледник, а насчет болезни ты не беспокойся. Это для солдат.

— А цена? — промолвила Юлия.

— Я уже дал хорошую цену. И ничего не накину.

Она колеблется.

— Как хочешь, — говорит Гюстав и уже собирает вожжи и берется за кнут.

— О! Чего уж там! — говорит Юлия и ставит ногу на подножку.

— Ну вот, — говорит Гюстав, — лучше уж сейчас. Садись. А ты потеснись-ка, — говорит он ученику.

Юнец зажат между хозяином и Юлией; он здорово стиснут, — сиденье узкое, а женщина широкая и тугая. Но тряска плохо прилаженного кузова уминает их.

Он не снял с колен сложенных раковиной рук, он весь напыжился. Он не смеет слишком тесно прижаться к хозяину. Он жмется к этой жаркой, как солнце, женщине, которая под рубашкой и тонкой юбкой так обильно смазана потом, что промачивает сквозь одежду и его, и он прилипает к ней.

— Мадлена, это насчет свиньи.

— О! А я-то иду в Гардетт, просить, чтобы мне одолжили три хлеба. Я позабыла сказать об этом отцу, когда он уходил.

— Не знаю, справимся ли мы вдвоем. Гюстав и я. Она злая, — болезнь, наверное, точит ее нутро.

Гюстав расхохотался.

— Полно! Отлично справимся и одни. Не беспокойся. Надо только взяться умеючи. Ведь они падки на ласку, совсем как женщины.

И он масляными глазками смотрит на грудь Юлии, на ее молодые плечи, на выбившиеся из-за подмышек завитки.

Свиной хлев находится в большом сводчатом погребе. Откроешь дверь, и оттуда повеет холодом. Внутри черно. Надо постоять с минутку на пороге, чтобы привыкнуть к этому мраку, холоду и острому запаху мочи и прогнившей соломы.

— Я вижу ее, — сказал Гюстав. — Вот она там, в самой глубине. Я пойду к ней.

— Берегись,— сказала Юлия.— Не подходи к ней с голыми руками.

Он сделал три шага, но когда он уже совсем близко подошел к свинье, она вдруг поднялась так стремительно, что навоз под нею хлюпнул, всасывая всю свою жижу, и Гюстав отскочил в сторону.

— Закрой дверь!

Юлия, которая стояла на страже, захлопывает нижнюю створку.— Она смеется, потому что Гюстав перепрыгивает через доску и выскакивает наружу красный, запыхавшийся, с оторопелым взглядом.

Свинья тычется рылом в дверь; ощерившись, она крутит носом, пыхтит и желтыми зубами ломает и яростно крошит доску. Глаза у нее точно две дыры, с запекшейся в самой глубине кровью.

— Видишь, как можно взять ее голыми руками,— говорит Юлия, и щеки у нее раздуваются от смеха.

Гюстав переводит дух. Он смотрит на свинью. Он смотрит на Юлию, он покусывает усы.

— Я возьму ее голыми руками,— говорит он.

— Что ж, если хотите, чтобы она отхватила вам зубами руку...

— Ничего она мне не отхватит. Отойди!

— Вы дурите, как ребенок, Гюстав.

— Ребенок или нет, отойди,— сухо говорит Гюстав.— Дальше, еще дальше... Женщины тут ни к чему. То, что я сделаю сейчас, это дело мужское.

И он кладет руку на щеколду.

Юлия отступает к молотильному катку. В два прыжка она может очутиться на лестнице овина.— Что ж, пусть выпутывается сам.

Гюстав отодвигает засов. Он произносит какое-то слово, потом другое. Он стоит неподвижно. Ни единого жеста. Только это легкое дуновение, исходящее из его рта, поросшего щетиной усов. Он бормочет какие-то слова; они льются, они точно стекают с него мерным бульканьем, как мурлыканье кошки, разговаривающей с горящими в печке углями.. Он не шевелит ни рукой, ни плечом, ни головой. И дверь сама собой открывается, точно там стоит опытный его помощник мясник.

Юлия затаила в груди дыхание. Свинья высовывает ощерившееся рыло. Гюстав не шевелится, он продолжает свое воркование. Он уверен. Он знает. Он попросту за-

смотрелся на паутину. Острые клыки уже совсем близко, у самого колена Гюстава, они готовы уже укусить, они готовы растерзать эту повисшую вдоль тела руку, этот кусочек мяса со старыми костями, который можно отхватить одним взмахом челюстей. Свинья разевает пасть. Воркующая песенка струится вдоль этих брюк, вдоль этой руки на траву.

Свинья отступает. Человек делает шаг вперед. Свинья входит в хлев. Человек следует за нею.

Юлия сразу выпускает задержанное в груди дыхание. Она совершенно ослеплена, точно вспышкой огня. Она ничего не понимает, она совсем уничтожена. Она все стоит на том же месте и только вдыхает и выдыхает из себя воздух, ни о чем уже не думая. Солнце жжет ей щеку. Она прижимает к щеке свою влажную ладонь.

Мужчина! Мужчина! И впрямь, такая власть — мужское дело.

Она сняла с себя давеча пояс косца, но, несмотря на это, она все еще чувствует там, внизу живота, качание этого твердого, наполненного водой бычьего рога.

Когда Мадлена увидела, что они занялись в свином хлеве, она быстро поправила свои завитки, стряхнула передник и отправилась в Гардетт.

С этой стороны долина куда красивее, чем со стороны Шорана. Здесь много старых деревьев. Прихоть папаши! Покрытые болячками и струпьями старые миндали, истекающее длинными рыжими нитями клея, израненное вишневое дерево и целая заросль диких смоковниц, где больше птиц, чем фиг, и где всегда кипит птичий бой.

Все это так похоже на Шабранов—краснобаев, свистунов, певцов, охотников до нежных взглядов, столь равнодушных к грошам и бумажкам и неравнодушных к тонкому обхождению.

— Ну, конечно, дочь моя, — сказала мамаша Дельфина, — пойди сама, возьми в квашне, поищи там в глубине налево, отодвинь отруби, пошарь... Нету там? Так поищи справа... Ну вот, нашла?

Всякий раз, когда мамаша Дельфина говорит «дочь моя», у Мадлены в горле горит, как от водки... Вот они, хлебы, белые и мягкие под слоем опилок.

— Трех тебе довольно?—спрашивает мамаша Дельфина.

— О! Вполне до завтрашнего дня. Вас-то я не обижу?

— Не стесняйся, дочь моя.

Мадлена обеими руками обхватывает хлебы. Она покоит их в своих объятиях, как маленького ребенка. Как приятно звучит «дочь моя» в устах матери Оливье! И эти твердые, тяжелые хлебы на груди, и запах отрубей, и соломы, и хлебной мякоти — запах Оливье, когда он молотит на гумне, стоя между вращающими каток мулами...

— Весточки не получали?

— Получили дня четыре тому назад, но письмо, повидимому, написано давно. Он ни о чем не пишет... чтобы не беспокоить нас. Но мы все-таки беспокоимся.

Как похож Оливье на мать! Это он, его лицо! Вот его добрые, трепетные, как голубое пламя лампы, глаза, красный шнурок губ, его щеки, его нос. Он, он! Это его лицо проступает в этом женском лице, точно омытое в молоке.

— Если я понадоблюсь вам, — говорит Мадлена, — днем ли, ночью ли, когда бы то ни было,— располагайте мной, как вам вздумается, нисколько не стесняясь, мама Дельфина. Вы знаете...

— Знаю,— говорит мама Дельфина, улыбаясь этой открытой девушке, которая предлагает: «располагайте мною». — Знаю, дочь моя.

Уходя с хлебами на руках, точно держа в объятиях толстого, выскальзывающего из пеленок младенца, Мадлена увидела на скамье во дворе красный шерстяной пояс. Она отлично знает его. Это пояс Оливье. Она поспешно кладет хлебы на траву. Она оглядывается. Ни души... Она быстро сует пояс под передник, подбирает хлебы и бежит вниз по склону.

Юлия смотрит на удаляющийся шарабан. Свинья со связанными ногами, с деревянным чурбаном в глотке, свешивает голову, и колесо задевает ее по уху. Шарабан сворачивает на повороте дороги.

Юлия собралась уже опять в поле, когда увидела ученика, возвращающегося бегом.

— Отвязалась она, что-ли? — Спросила Юлия.

— Нет. Хозяин забыл свой шейный платок.

Пошли в хлев. Платок сидит верхом на верхней перекладине кормушки. Юлия окидывает взглядом ученика.

Она подбочenивается.

— Ну-ка, прыгай! — смеясь говорит она ему.

Юнец прыгает, но только кончиками ногтей прикасается к платку.

— Настоящий сурок! — издевается Юлия.

— А вы-то сами на кого похожи? — говорит ученик, глядя на нее исподлобья.

Юлия улыбается с высоты прекрасных своих обнаженных плеч, и черный глаз ее горит как уголь. Когда она стоит вот так, упершись руками в бока, груди ее выпирают так, что кажется — вот-вот выскочат из сорочки.

— Да, а вы похожи на свинью.

Юлия замахивается и хватает мальчика за плечо. Она встряхивает его. Она смеется, и мальчик тоже.

— Ну-ка, повтори!

— И повторю.

— Я еще поборюсь с тобой, — говорит Юлия.

— И я с тобой, — говорит мальчик.

Он старается обхватить ее за талию, точно собираясь с корнем вырвать ее из земли, но она сильной рукой хватает мальчика за штаны, приподнимает его и валит на солому. Он увертывается, он вот-вот вскочит. Она бросается на него, она придавливает его своей тяжестью, она кладет его на обе лопатки.

— Вот, — говорит она, — видишь, борец-молокосос!

Она сидит на нем верхом, одной ногой в одну, другой в другую сторону. Она держит его, она заставляет его чувствовать свою тяжесть. Она голым телом сидит у него на животе.

Вдруг она вскакивает, поправляет бретельку сорочки.

— Ну-ка, вставай, — сурово говорит она.

Вся она зарделась огнем, который, точно болезнь, проступил у нее на щеках и на лбу. Мальчик, не вставая с соломы, заливается смехом.

— Вставай!

К Юлии донесся томный, напоминающий голубиное воркованье, голос.

Она толкает юнца ногой, и взгляд ее суров; вся она пылает краской стыда и покрывает ладонью вырез сорочки.

Они сошлись все трое у крыльца: возвращающийся из города Жером, возвращающаяся из Гардетт Мадлена и возвращающаяся из хлева Юлия.

— Письма нет, — сказал Жером.
— А!.. — протянули обе женщины.
У каждой из них в голове своя забота.
Потом, минуту спустя, Юлия вздыхает и спрашивает:
— Так что же это значит?
Полдень в разгаре.
В большой, наглухо закрытой зале фермы прохладная тень, как в подземном водоеме. Тишина. Только в широком плоском луче, проникающем в щель ставень, кружится пчела.
Минутами Юлия перестает есть и сидит, упершись ладонью в край стола, наклонившись вперед, согнув руки в локтях, как человек, который нацелился на что-то и вот-вот прыгнет. Потом она снова начинает наскоро набивать себя пищей, но в глазах у нее все та же тревога. Не дожевав последнего куска, она встает из-за стола.
Она снарядилась на косьбу, как нынче утром: опять широкий кожаный пояс, бычий рог, коса.
— Ты не делаешь полуденного перерыва? — спрашивает Мадлена.
— Нет, — говорит Юлия, застегивая пряжку пояса.
— Здорово припекает. Не было бы тебе худо, — говорит Мадлена.
— Да, — стиснув зубы, отвечает Юлия.
И, взвалив косу на плечо, она уходит, не сказав больше ни слова.
Дверь, которую она не закрыла за собой, так и остается распахнутой на полдень, точно на раскаленную печь.
Юлия идет по самому солнцепеку по дороге, лишенной всякой тени. Под живою изгородью узенькая тень, как зубцы пилы. Изгородь, со всеми спящими на ней птицами, точно вымерла. Ветер уснул. Не шелохнутся миндали. Они только потрескивают. Полуденное солнце налегло на них тучным своим телом.
Она идет с остервенением по этим травам, которые цепляются за каждый ее шаг и которые она вырывает резким движением ног.
Она сжала губы и уставилась глазами на клочок неба там, наверху, как раз над горизонтом, на яркую безоблачную синь, твердую, как камень, и ясную, как вода, не затемненная ни одним отражением земли. Она идет. Она не разжимает губ, не опускает глаз.
Так, значит, всему теперь конец!

И опять это сено, этот запах сена в конюшне, запах навоза, запах рабочего скота, потеющего, живущего полной жизнью, и ее собственный запах, запах ее кожи, ее волос — все это уже колдует над нею, уже месит ее, подготавливает, как тесто, которое только и ждет дрожжей. Да, вдобавок, еще эти голоса! Мужские голоса! Мужские голоса там, в глубине поля. О, эти старики! И вдруг они начинают казаться молодыми...

Всему конец, всему!

И нет ей исцеления!

Даже в этой работе, убивающей нервы. Даже в этой усталости, опустошающей мысли, даже тогда, когда она уже навалилась, эта усталость, когда чувствуешь ее тяжесть вот здесь, в бедрах. Ах, господи, как защитить себя?..

А что хочешь ты обуздать? И над чем можешь властвовать с этой жалкой плотью женщины? Когда не можешь даже повалить на солому мальчишку, не теряя при этом рассудка...

И даже в этом палящем солнце.

Ах! Наступи мне пятой на грудь, раздави меня, всей тяжестью своей пяты придави мне шею, чтобы не бросалось мне в голову то, чем полно мое тело!..

Бедра Юлии плавно покачиваются на ходу. Округлость, являющаяся сердцевиной ее тела, колышется, как морская волна. Юлия не может придать ей сурового выражения своих глаз, своих уст, своего лица, своего сердца; она нежна, она спела, как персик, дрожащий под прикосновением пчелы.

Юлия уже подходит к полю. Она все еще чувствует там, между ног, жар и трепет этого мальчика, которого она повалила на солому. Всем телом, всеми силами, всем неистовством своим набросилась она на работу.

— Ух, ух! — откладывая ряд за рядом, кричит она.

И вот уже разливается в теле великая истома.

Нет исцеления!

Теперь она уже во всем!

Она уже стала песней всего тела: она и в этом ритме косьбы, и в этом колыханьи колосьев, и в этом бьющем по животу бычьем роге, и в этом обжигающем затылок зное, и в хрусте никнущих рыжих стеблей, и в полете однокрылой косы.

Этот мальчишка... Это горячее, полное жизни, извивающееся под нею тело...

Ах, жизнь, жизнь!

А Гюстав. Что говорил он свинье?

Что делает он, Гюстав, что глаза у него горячи, как солнце, с тех пор, как он овдовел?

Жозеф!

Остались только либо юнцы с молочными косточками, которые расквасились бы, как молодой сыр, если раздавить их руками, либо старики...

Сколько ему может быть лет, Гюставу? Какую власть таит он в этом блеске глаз, крепких своих костях, в широкой, как дверь, спине!..

Она останавливается.

Тыльной поверхностью руки обтирает лоб и волосы. «Что станется со мною?»

Она проводит рукой по бедрам.

Там, на дороге, по ту сторону миндальной рощи прыгает по колеям шарабан. Лошадь позвякивает всеми своими бубенцами.

Юлия бросает косу. Взгляд ее все еще суров, и губы сжаты, но она бросается к дороге этим звериным прыжком, для которого давно уже напружилось ее тело. Она не зовет. Он дышит широко раздутыми ноздрями. Она пускается в путь бегом по траве.

А там лошадь перешла в галоп; плоскогорье в этом месте вздымается земляной волной; шарабан спускается уже по ее склону с другой стороны.

Юлия кидается на откос дороги. Она задыхается от огорчения и усталости. Небо всей тяжестью навалилось на нее, и в голове у нее звон, точно прямо в уши ей трубит большая труба горцев.

В этот вечер Мадлена пошла спать раньше других. Она была уже раздета, когда по коридору прошла Юлия. Мадлена быстро спрятала что-то под простыню.

Спустя некоторое время в комнате Юлии скрипнула кровать. Она ложилась. Потом снова скрипнула кровать, потом еще и еще, потом застонал весь матрац, точно кто-то плыл по нем, барахтаясь руками и ногами.

Мадлена выбежала босая:

— Юлия, — спросила она, останавливаясь у двери, — ты больна?

— Нет, — сказала Юлия.

Мадлена вернулась в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Она вытащила то, что спрятала под простыню. Это был красный шерстяной пояс, вещь Оливье. Она смотрит на пояс долгим взглядом, трогает его, гладит. Она поднимает сорочку и несколько раз обматывает его вокруг живота...

Она тихонько посмеивается, — такой он теплый, такой приятный, так чувствуется в нем Оливье!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВЕРДЕН

Тихонько пел в ночи лес. Пошел дождь, пошлепал по мертвым листьям и лужам и пустился озорничать бренча листом железа.

— Сюда, капитан, — сказал человек. — Осторожней, здесь ветка.

Он постукал ногою землю, она гулко отозвалась.

— Тут дорога, — добавил он.

Там, в лесной поросли слышен был голос капитана. Судя по голосу, это был толстый запыхавшийся человек.

— Идем, — говорил он. — Ты отдохнешь. Дорога найдена.

Он вышел на дорогу. Следовавший за ним человек спотыкался о каждый камень, и едва только подошел, вытянулся на мокрой траве. Он спал. Он не шевелился. Он глубоко дышал раскрытым ртом, выпуская воздух с легким стоном больного зверька.

— Нужно на минутку оставить его в покое, — сказал капитан. — Ты-то не устал?

— Устал.

— А я, — сказал капитан, — я съел бы омлетку из яиц и с этакой вот пеной вокруг. Эх!

Он втянул в себя воздух сквозь гущу усов.

— Да, — ответил другой. — Да, это и я бы, пожалуй, съел, да чтобы была горячая!

— Какого ты взвода? — спросил капитан.

— Четвертого.

Капитан два-три раза глубоко вздохнул.

— Сколько вас осталось?

— Двое: я, да он.

— Кто?

— Я, да тот, что спит, — не знаю, кто он. Унтер-офицер был убит при смене, в яме пулеметчиков. Тут-то я и прыгнул, и упал рядом с вами.

— Как тебя звать?

— Оливье Шабран.

Дождь все шумел там, в глубине лесной чащи.

— Значит от четвертого взвода осталось двое: ты да он. Я третий. Двенадцать человек от первого, — значит, пятнадцать. Четверо от третьего, — значит, девятнадцать. Ноль от второго, — значит, те же девятнадцать. Велосипедист, если ему удалось тотчас же после нас скрыться в туннеле, — итого, значит, двадцать... Надо итти, а то я совсем уж сплю.

Оливье встряхнул спящего на траве человека.

— Да? Что?

— Мы уходим.

Послышался приближающийся лошадиный топот.

— Эй! — крикнул капитан.

Потом добавил:

— Это капитан Вирон, сто пятьдесят девятого.

Всадник шагом подъехал к нему. Это, должно быть, был артиллерист.

— Если вы пойдете прямо, — сказал он, — вы выйдете к казармам у Вердена. А на Бельрюпт, выйдя из лесу, надо свернуть налево. Что касается омлетки, то у самой дороги, за батареей сто пятидесятой, есть дом. Там живут женщины. Но у батареи проходите побыстрее.

Дорога была немощеная. Впереди шел офицер, за ним — спящий на ходу солдат, а за ним уже Оливье.

Иногда в рытвинах колени спящего подгибались, и Оливье удерживал его за ремень патронташа:

— Держись!

Прикасаясь к этой широкой спине, он каждый раз спрашивал себя:

«Кто это? Реготаз, Вернэ, Пуарон?»

Но тут же вспоминал:

«Нет. Не Вернэ и не Пуарон. Значит, Реготаз? Кто же?..»

Спустились в долину. Послышался шум ручья. Плеск воды в тростниках был отраден уху и сердцу. Кровь потекла быстрей.

Время от времени Оливье проводил рукой по лицу.
— Я! — говорил он.
Растопыренными пальцами проводил он по выступам лица, по носу, по глазным яблокам, по рту, по шее. Он ощупал руки, туловище.
— Я!
Он потрогал свою левую руку. На локте к ворсу шинели прилипло что-то влажное и мягкое, величиной с орех. Он оторвал это и швырнул в грязь. Пощупал рукав, — рукав был липкий.
— Это, должно быть, и есть дом, — сказал капитан.
У края дороги чернела какая-то масса, темнее окружающей ночи. Он забарабанил ногой в дверь. Частый стук отдавался там, внутри, дребезжанием кастрюль и котелков.
Наверху задвигали стульями. Открылась ставня.
— Чего надо? — спросил женский голос.
— Капитан Вирон сто пятьдесят девятого с двумя солдатами. Нам бы отдохнуть...
— Иду. Сейчас открою, — сказала женщина.
Это старуха в ночной кофте; она заслоняет свечку рукой.
— Входите, да поскорей, а то виден свет через дверь.
Внутри было тепло. Пахло выдохнутым воздухом, пахло стиркой и кухонной раковиной. Пахло седыми волосами и грубой кожей старухи. У нее были выбеленные водой руки прачки.
Капитан крестом раскинул руки.
— Ах! — потянулся он.
— И это все? — указывая на двух солдат, спросила женщина.
— Все, — сказал капитан.
Потом добавил:
— Не найдется ли у тебя яиц?
— Ну, конечно.
— Ты бы сделала нам яичницу.
— Да, — сказала она, — хоть поздно уж.
Она поставила свечку на стол. Оливье взглянул на товарища.
Нет, это не Реготаз.
Пламя свечи дрожало.
У спутника было залепленное грязью лицо и большие мутные глаза.

— Да, это Ла-Пуль!
— Спать! — сказал Ла-Пуль.

Омлетка была жирная и толстая, во всю ширину большой желтой тарелки. Она пенилась на столе. Пар задувал свечу. Ла-Пуль спал, вытянувшись на полу.
— Что это у тебя? — спросил капитан.
Оливье посмотрел на свой левый рукав.
— Это кровь. Ты ранен?
— Нет, — сказал Оливье. — Это там, в туннеле, повалился на меня Марруа. Ему снесло половину черепа.
— Сбрось-ка шинель.
Капитан наклонился, чтобы в свое удовольствие понюхать яичницу.
— Поставьте коробку перед свечкой, — сказала женщина, — а то иной раз виден свет сквозь щели ставни. Устройте, чтобы с той стороны было темно.
Капитан подмигнул ей:
— А водочка у тебя найдется?
— Сливянка, если хочешь.
— Неси!
Она принесла глиняный кувшинчик.
— Ну, батюшка, если выпьешь все это...
Она была босая. Она приплясывала, переминаясь с ноги на ногу от холода каменных плит.
— Больше ничего тебе не нужно? Я пойду на лежанку, потому что дочке моей холодно там лежать одной. А ты сам уж устраивайся.

Откинувшись на спинку стула, Оливье громко рыгнул; рот его был переполнен запахом масла и поджаренной зелени. Теперь он чувствовал себя грузным и крепким, в полном разгаре сил.
Капитан вытянул ноги под столом.
— Глоток водки? — сказал он.
— Нет, лучше уж не надо, — сказал Оливье...
Он смаковал этот весенний вкус зелени. Он охмелел от него.
— Спать! — сказал Оливье.
— Шабран! — промолвил капитан. — Прекрасно быть молодым, паренек, ты сам не знаешь своего счастья. Спи, дурень!
Он ласково улыбался, поглядывая на Оливье, подби-

рающего свою шинель; она была тяжелей с левого бока, и рукав покоробился. Оливье лег, вытянувшись на полу возле Ла-Пуля, спина к спине. Он чувствовал, как дышит тот рядышком с ним.

«Реготаз... — подумал он. — И все остальные...»

Он тихонько отодвинул покоробившийся рукав шинели.

Он проснулся. Капитан все еще сидел за столом. Свеча обгорела. Коробка, бутылка, кувшинчик, спинка стула отбрасывали длинные дрожащие тени.

Капитан говорил. Он с трудом поднял свою повисшую вдоль тела правую руку. Он машинально отдал честь.

— Двое из четвертого взвода, да я третий: всего двадцать, полковник. Вот и вся рота!

И отяжелелой от усталости и алкоголя рукой он указал на пустую комнату и длинные тени.

ПОДЛЕ СТАРОЙ ЛОШАДИ

Куда укрыться, куда укрыться? Она мечется, и все против нее. Нога ее уже не узнает ни гумна, ни мостовой двора, ни дорожки к водоему, ни лужайки — ничего. Все становится поперек дороги. Она спотыкается о камни, юбка путается между ног. Куда укрыться?

Нет, мочи нет смотреть на старого Жерома, когда он плачет, глядя на свои руки, на это землистое лицо с глубокими морщинами старости и пережитых страданий, на это землистое лицо, покрытое стариковскими лишаями, омоченное крупными мутными слезами. На эти дрожащие губы, на этот обвисший подбородок, который не может уже подобраться, чтобы удержать в себе и слюни, и слезы, и жалобы конченного человека. И если б только это! Но он, плача, все время смотрит на свою скореженную старостью правую руку.

Нет! Тогда, спрятав голову в передник, она тоже плакала, но потом вдруг почувствовала, что это уже невозможно. Уйти! Нет, спрятаться, забиться куда-нибудь в угол, как зверь, кататься по земле, съежиться где-нибудь в норе и так и остаться там, застыть там комочком мяса, слез, страданий.

Юлия открывает дверь конюшни. Старая лошадь поворачивает голову. Это не час кормежки. Она глядит на женщину.

— Подвинься, — говорит Юлия.

Она проскальзывает мимо лошади в глубину конюшни, под кормушку; она ложится там на соломе, в тепле, в уюте этой тени, этого запаха, этого теплого дыхания. Слышны тихое позвякивание цепи и легкий стук копыта о солому — там, подле старой лошади...

«Так, значит, отрезали руку Жозефу! Правую. Это не угрожает ему впереди, это уже сделано. В письме говорится, что это уже сделано. Руку! Пальцы, кисть — всю руку целиком! Отрезали руку! И это возможно? Как же это сделали? Зачем? Он мучился. О, Жозеф! Бедный мой!.. Так, значит, с этой стороны у тебя ничего нет? Нет уже руки?.. Вот что означало это долгое молчание. Вот отчего больше трех недель не было писем. Вот отчего его точно с бумаги стерли резинкой: нет Жозефа! Испарился в воздухе. А тем временем ему отрезали руку. Где? У локтя? Оставили обрубок или отрезали всю начисто? Ах, бедный мой!..»

— О, Бижу! — говорит Юлия.

Старая лошадь низко наклонила к ней голову и обнюхивает ее, и обдает ее тяжелым дыханием, двойной струей вырывающимся из ее ноздрей.

— Ты-то счастливая, — говорит Юлия.

От вечного глядения на землю и на деревья большие добрые глаза лошади золотисты и зелены.

Глаза эти полны ласковых видений прежних дней.

И она тоже была счастлива... О, этот танцовальный зал в деревне, который по воскресеньям украшался самшитом и дубовыми ветками! И Иеремия спускался с холмов со своей гармоникой на плече, и сын Мерсье выходил из переулка со своим начищенным до блеска корнет-а-пистоном. Уже с часа дня все скамейки были переполнены деревенскими девушками, но она, — она шла по задворкам к последним яблоням, туда, откуда виден был спуск дороги. А там уже синело платье Мадлены; она приходила раскрасневшаяся от солнца, но вся какая-то голубая от сияния своих глаз.

— Идет, — говорила она. — Он надел уже свою праздничную шляпу.

И они бежали через фруктовый сад на бал. Они только успевали сесть рядом с другими на краешек скамьи, у самой двери, как в этой двери, занимая весь ее просвет, появлялся Жозеф, широкоплечий, в широкополой черной

шляпе, которая с левого бока была лихо загнута наподобие голубиного крыла.

Лошадь трется головой о плечи Юлии.

— Да, Бижу, да, моя лошадка!

...Жозефа она полюбила сразу, всем своим существом, ничего не жалея, ни тела своего, ничего, плененная с первого же взгляда его походкой, этим раскачиванием плеч на ходу, этой статностью, этим сияющим в карих глазах здоровьем.

И Иеремия сдвигал гармонику, а молодой Мерсье говорил: «Раз, два», — и подносил к губам свой корнет-а-пистон. И тут Жозеф обхватывал ее сильной рукой...

— Ах, бедный мой! Ах, Жозеф!

«Эту руку, эту руку отрезали! Мою руку, ту самую, которая обнимала меня так жарко, так крепко, так надежно в вальсе! Эту руку, державшую меня!..

Этой-то рукою он впервые коснулся меня, моих щек, моих глаз, моих губ. Это было на сеновале. В слуховое оконце лиловела, как слива, ранняя семичасовая ночь. И пахло раздавленным сеном, потому что мы налегли на него всей своей тяжестью. И тяжелы мы были от счастья, и хмельны были от радости, которая мурашками пробегала по телу до самых кончиков пальцев. Этой-то рукой дотронулся он до меня в первый раз. Она оказалась тут, у меня на щеке, она прошлась по всей округлости щеки, она скользнула по рту, по глазам. Этой-то рукою познал он меня потом...»

— Жозеф! Бедный мой! Так, значит, одной только половинкой вступишь ты теперь в жизнь? Так, значит, никогда больше не дотронешься ты до меня этой рукой, скажи? Той самой, которую я чувствовала, такой жаркой. такой тугой, подвижной, как маленький зверок, и такой приспособленной ко всему во мне! Так, значит, никогда, скажи? Так недолго была она моею, эта рука. Значит, придется тебе научиться ласкать меня другой рукой?..

Она сидит на соломе. Старая лошадь наклонила голову и высунула кончик языка. Она пытается лизнуть Юлию в щеку. Это ей не удается: повод слишком короток.

— Юлия! — зовет мужской голос.

Это Жером.

— Да, — откликается Юлия.

Она выходит из-под яслей.

— Я искал тебя, дочь моя. Я испугался. Я видел, как ты ушла, шатаясь, как лист по ветру. Образумься!

Они стоят друг против друга, лицом к лицу. Они не говорят ни слова. У обоих из широко раскрытых глаз льются слезы.

—А! — поднимая руку, восклицает наконец Жером. — А сеять-то как же? А как же все остальное? Сын мой!..

НА ВОДЫ ПАЛА БОЛЬШАЯ ЗВЕЗДА...

Капитан уже не выходил из своей комнаты. Он жил в бревенчатом домике. Сквозь грязные оконные стекла видно было, как сидит он там внутри, без сюртука, засучив на толстых руках рукава рубашки. Он сидел, распустив подтяжки, у стола. Он не надевал больше ни кожаных гетр, ни башмаков. Ла-Пуль купил ему туфли. Он уже не застегивал внизу рейтуз, и сукно их распахивалось на икрах, которые, точно грязью, покрыты были волосами.

Обширные заросли тихого леса обступили лагерь шестой роты своей густой зеленью и шумом вод. Но там, на горизонте, вытягивая среди деревьев длинные свои шеи, глухо лаяли пушки.

Капитан открыл окошко.

— Камамберу! — кричал он.

Ла-Пуль, сидящий на пороге овина по ту сторону поляны, вскакивал, рылся в сумке; потом пробирался сквозь кусты с коробкой сыра в руках. Иной раз капитан свистел. Тогда Ла-Пуль бежал за велосипедом, спускался по тропке и, во всю мочь работая педалями, направлялся к деревне.

В таких случаях он к ночи не возвращался в свой овин. Оливье оставался один. Подкрепление все еще не прибыло. Он прилеплял свечу к коробке с маской. Он ложился; солома, на которой он лежал, была точно утрамбованная земля. Он пытался согреться и забыться в тепле собственного тела. Он гасил свет.

Марруа, Дош, Реготаз и маленький капрал с девичьими щеками, и тот, что устраивал себе на лбу завиток, — вся солома вокруг стала подстилкой теней.

Он слышал, как храпит Марруа и как во сне, точно цепом размахивая руками, говорит Дош.

Он пробуждался. Стены овина сотрясались под ударами какого-то большого войлочного кулака. Это палила гаубица в Бельрюпте. С потолка валилась штукатурка.

Оливье поворачивал голову. Он прижимался правой щекой к соломе.

Суровая наступала пора. Мороз украдкой комкал в руках своих кусты. Похрустывали сухие ветки.

— Реготаз! — тихонько звал Оливье.

Он видел его, наклонившегося над маленькой пятнистой березкой; видел, как прикасается он бережно рукой к зеленым ранам дерева. Вольный лес, совсем одинокий отныне, стонал под тяжестью луны и стужи...

На пороге появилась тень.

— Ты здесь, Шабран? — спросил Ла-Пуль.

— Да, — ответил Оливье.

Свечу он погасил.

— Где?

— Я уже лег. Подходи осторожней. Я тут.

Ла-Пуль сел на корточки рядом с ним.

— Не могу я справиться со стариком, — сказал он. — Пришел бы ты. Быть может, ты с твоим спокойствием...

У бревенчатого домика Ла-Пуль обчистил скребком толстые свои башмаки.

— Входи первый, — сказал он.

Единственным освещением было пламя печки. Капитан, широко расставив ноги, стоял посреди комнаты. Он раскачивался взад и вперед, точно шатаясь под ветром. Перед ним качалась его собственная тень.

— Ты ответишь за это, сволочь! — твердил капитан.

Он кричал это своей тени. Она то отступала, то подскакивала к нему, как зверь, вгрызающийся в другого живого зверя. Он удерживался на ногах, хлопая тяжелой ладонью по столу.

— Сволочь!

— Капитан... — вкрадчивым голосом промолвил Оливье.

Тот стал медленно поворачивать свое кабанье туловище. Он поглядел через плечо.

— Ах, ты здесь паренек?

Он обернулся к нему лицом. Он сделал два шага по направлению к Оливье, два неуверенных шага, вполне самостоятельных, не держась ни за стол, ни за шкаф. Он выпрямился во весь рост.

— Молодой Шабран, — сказал он, — дай руку, вложи ее вот сюда, мальчик мой!

Он протянул огромную волосатую лапу, растопыренную, перерезанную толстыми напряженными венами. Оливье вложил в нее руку.

— Паренек, паренек! — сказал капитан. — Погляди на меня, я люблю, когда ты на меня глядишь. Покажи-ка свои глаза. Ты умеешь спать, Шабран. Спи, дурень! У тебя глаза, как у барана. Погляди на меня. Скажи мне, паренек, что можно сделать с тем, что у нас осталось? Что успеешь сделать с этим в то время, когда не спишь?

Он то-и-дело резко оборачивался, чтобы посмотреть на притаившуюся за его спиной сволочь-тень.

— От имени оставшейся нам жизни, тебе, Шабран, тебе, который вечно спит, я приказываю...

— Капитан, — сказал Оливье, — вам надо лечь.

Тихонько потягивая его за руку, Оливье подвел его к железной кровати.

— Садитесь.

Капитан сел на постель. Оливье снял с него туфли. Капитан расстегнул штаны; он одну за другой поднял ноги, и Оливье стянул с него брюки; потом он тихонько толкнул капитана на постель.

Вошел, мягко скользя ногами, Ла-Пуль. Он разулся. Сгорбив спину, дошел он до темного угла. Сам он тихонько открыл стенной шкаф с бутылками.

— Паренек, — говорил капитан, — повернись ко мне. Покажи мне белки своих глаз, покажи мне все свое лицо, покажи свои щеки, мясо на костях. Кровь твоя видна только сквозь кожу. Как прекрасна кровь, когда она просвечивает сквозь кожу! Когда кровь на своем месте! Я слышу, как бьется она в кончиках твоих пальцев. Дай поглядеть на тебя, на живого!

Он пристально вглядывался в Оливье. Его сильная рука судорожно сжимала кисть Оливье.

— Все, как один, — сказал он тихо. — Их — что крупиц соли в пригоршне.

Он попробовал было подняться.

— Но с теми, что остались, что имеем мы право делать? Право, понимаешь ли, мальчик, право? С той жизнью, которая осталась нам?

Ла-Пуль там, в глубине комнаты, легонько свистнул, потом кивнул на дверь.

— Погоди, — пошевелил губами Оливье.

— Право? — спросил Оливье.

Капитан засыпал. Лежа на постели, он барахтался, точно освобождаясь от пут.

— Да, право... — прошептал он.

Рот его так и остался открытым на этом слове. Рука опустилась. Он уже храпел.

— Надо задуть огонь, — сказал Оливье.

Они на цыпочках вышли из комнаты.

— Чего он пристал к нам со своим правом? — спросил Ла-Пуль, очутившись на воле.

Оливье ничего не ответил. Впереди у него была вся ночь, с этим пустынным овином, с Реготазом и со всеми остальными, окровавленными и незрячими, лежащими там, под соломой, и с прекрасным этим бархатным шорохом всех деревьев и всех звезд, и с ледком, покрывающим лазурью зеленую поляну. Ла-Пуль вытащил из-под шинели бутылку.

— Сен-Джемс. Я сразу же узнал его по соломенной упаковке. Давай твою кружку.

Подкрепление наконец прибыло. У капрала была новенькая записная книжка, где все листки проложены были пропускной бумагой и, кроме того, остро очиненный машинкой карандаш.

— Как тебя звать? — спросил он Оливье. — А тебя? — спросил он Ла-Пуля. — Вы зачислены в отряд.

На молоденьком подпоручике были изогнутые краги с прекрасно сделанными округлыми икрами.

Он спросил:

— А капитан? Укажите мне, где квартирует капитан?

Он играл серебряным свистком, раскачивая его указательным пальцем на шелковом шнурке.

Они ходили по плоской соломенной подстилке. Они разместились на местах Доша и Марруа. Они попирали тени своими новенькими скрипучими сапогами. Они перекликались друг с другом:

— Жоливэ!

— Мюшэр!

— Белёф!

Шинели на них были новенькие, и все кожаные части новенькие, и новенькими были патронташи, совсем плоские, похожие на кожаные бумажнички, прикрепленные

к поясу. Сброшенные наземь, полураскрытые сумки сверкали извивающимися блестящими ремнями. Сукно на солдатах было прекрасное: небесно-голубого цвета, с курчавящимся ворсом. Лица их пропитаны были покоем и благополучием. Оно сквозило в их глазах, в их коже и в складках рта, и в щетине бороды, и в тонких усиках, которые они разглаживали крючком пальца. На их лицах отпечаталось все, что осталось там, за холмами, вся влага, все здоровье, вся сила жизни: старшая сестра, добрая толстушка, с пальцами, похожими на сосиски, отправляется в кладовую за салом; мать, заправляющая за ухо прядку седых волос; маленькая девочка в школьном фартуке, напевающая: «тра-ля-ля»; супруга, раскинувшаяся на постели, как прозрачный источник воды в зелени трав.

Все это было отпечатано на их лицах, и тяжко становилось от нахлынувшей великой горечи. У них были совсем новенькие ружья, а там, за спиной у них громыхали грузовики с патронами.

...И ГОРЬКИМ СТАЛ ИСТОЧНИК ВОД

Ветер, рыча, перепрыгивает через Альпы. На мгновение он останавливается в полном недоумении перед волнистой линией холмов и перед расстилающейся там, вдали, зеленой гладью земли. Мгновенье, вскинувшись на дыбы, он храпит, потом бросается вперед.

При каждом его порыве ферма вся съеживается в своей каменной и черепичной скорлупе. В овине срываются с крюков и падают серпы. Слабым подземным стоном стонут миндали; грызя утес, ворчат корни сосен. На дороге какая-то женщина яростно отмахивается от своих юбок, точно защищаясь от наскакивающего на нее зверя. Согнувшись в три погибели, напрягая ноги, идет против ветра пешеход.

К полевой меже подбегает охотничий пес. Он подставляет морду ветру. Он нюхает, он закрывает глаза, он опускает уши и трясет головой. Его обдает запахами всей дичи окрестных холмов. На этом ветре несутся все эти запахи крови и животворящих соков. И все это кишит перед самым носом пса: запах кабанов, зайчих, куропаток, перепелов, толстых ужей, ящериц, укропа, иссопа, пчельника, кузнечиков; все это струится, скользит по

телу, — жизнь брызжет в нос, как пена ручья.

Оливье сидит на каменной скамье перед домом, на выступе Гардетт. Он сидит, обернувшись к ветру, он подставляет ветру свое худое и уже землистое лицо. Очарованный, длинными затяжками вдыхает он воздух.

Мать дважды выходила поглядеть на сына; она провела рукой по его голове, она сказала... неизвестно, что именно она сказала, и неизвестно, сказала ли она именно то, что хотела, потому что и она впивала этот живительный ветер и поглядывала на землистые щеки сына.

— Не холодно? — сказала она.

— Нет, — ответил Оливье.

Вот уже три дня, как он здесь, и у него одно лишь желание — окунуться с головой в жизнь, как в корыто водопоя, и пить большими жадными глотками.

Вчера у молотилки он наблюдал за маленькой, только что вылупившейся из яйца ящерицей, уже совсем зеленой, со сверкающими на чешуйках капельками влаги, — она объедалась солнцем. Он искал в траве фиалки, там, в самой глубине, где жарко и темно. И в этой тьме вдруг сверкнет темень цветка.

Дыши, ветер, дыши, солнце, дыши, сверкающая и опрокидывающаяся, как лоханка с мутной водой, гуща листвы! Дыши, запах тмина, который, едва проникнув в ноздри, впивается в мозг, как стрела! Дыши, большое легкое небо!..

Ветер срывает листья и кидает их в овсы.

Задыхаясь, еле переводя дух, Оливье опять в жизни. По прежним своим следам струятся в его теле ароматы, звуки снова находят дорогу к его сердцу... Дыши, жизнь! Он зубами выхватывает ее из полноты дня и, опустив голову, жует, как выкраденную охапку сена.

— Папаша...

Он подходит к папаше, который плетет из свежего ивняка донышко для виноградной корзины.

— Папаша, там жандармы...

— Это насчет парня из Бра, — говорит папаша.

Он закончил узел, который связывал из ивняка.

— ...Насчет одного парня, из Бра, который зарвался. Он приехал в отпуск. Он все сидел да глядел. Он играл со школьниками в «котлы». И вот взял он свое охотничье ружье. «Ладно, уж я знаю, зачем», — сказал он, и отправился в Хюбак. Он дезертировал.

Оливье жует хвостик фиги: это страсть его детских лет. Она снова вернулась к нему. К нему снова вернулся прежний привычный жест маленьких рук. Он пожевал молочный стебель, и жизнь показалась ему привольной. Он забывает; он зажимает зубами этот кусочек дерева, живого, юного, набухшего молоком, и посасывает горький его сок.

— Ты уже убрала посуду? — спрашивает Юлия.

— Да.

Мадлена краснеет и начинает разыскивать что-то в своей рабочей корзинке.

— А пойло свиньям?

Мадлена поднимает голову, Лицо у нее совсем красное, с румянцем во всю щеку, и на фоне этого румянца ласково светится ее взгляд.

Многочисленные хозяйственные дела уже закончены. Все убрано, вычищено, вымыто. Плиты пола протерты мокрой тряпкой. Стулья поставлены в ряд вдоль стены. Стол блестит, как камень.

— Ты управилась нынче раньше срока,—говорит Юлия.

Она уходит, покачиваясь на круглых своих бедрах. Закрывая дверь, она бросает взгляд на Мадлену, Мадлена роется в своей рабочей корзинке.

Плотно закрытые ставни поддерживают в комнате Юлии полумрак. Слышно, как жужжат снаружи, у щелей ставень, пчелы. Ветерь, точно ладонью, похлопывает по стенам.

Юлия стоит в полумраке, в прохладе, в запахе винограда и абрикосов, развешенных для сушки на тростниковых палочках.

Итак, одна, всегда одна! Одна среди этих нежных плодов и этих звуков. Наедине с жизнью. Ею опалены губы Юлии. Розовым языком проводит она по губам. И прежде, бывало, бунтовала кровь. Но Жозеф был тут, рядом, с голыми своими руками, с волосатой, как спина барана, грудью. Вся земля хранила отпечаток его ног и всех гвоздей его подошв.

Внизу тихонько скрипнула дверь. Юлия приоткрывает ставню и смотрит. Это Мадлена. Она выходит из дому в тот же час, что и вчера, и с вдохновенным лицом идет куда-то, подталкиваемая ветром.

Земля повелевает.

— Точно гипсовый Христос... Он точно гипсовый Христос. Оливье, Оливье!

Мадлена бежит по винограднику.

Пустынное и обнаженное небо острым своим краем упирается в холмистый горизонт. На плоскогорьи нет ничего кроме ветра. Деревья прыгают вокруг своих теней, как козы на привязи.

По окраске дня она знает, что Оливье уже ждет ее, жаждет ее всю мужским своим телом, там, на поросшем травою склоне, на травяном ложе земли.

Ах! Дух захватывает от этого ветра и от желанья, и от этой потребности покориться великой силе покорности.

В первый же день, как он приехал, — это было в шесть часов длинного осеннего вечера, багрянцем предвещающего ветреную пору, — он засвистел.

Он засвистел, и она бегом помчалась к нему с посудным полотенцем в руке.

— Оливье, любовь моя! Как долго! Как истосковалась я здесь одна, думая о тебе!

Он сжал ее в обьятиях. Он тихонько мурлыкал.

Он точно гипсовый Христос...

Ах, чего только не пришлось отдать!

Нет, она отдала все по доброй воле и с полной готовностью. С великой радостью отдать все, что имеешь, тому, кого любишь... Покоряться! Но никогда уже больше не видеть того, что пришлось ей увидеть в это первое свиданье: Оливье, дрожащего, как побитая лошадь. Оливье, терзаемого голодом и жаждой, измученного боями и зрелищем смерти человека.

Она была его хлебом. «Ешь меня!» — сказала она. Она сама подставилась его зубам, сама она с жаркими своими устами и с открытым телом. Она — хлеб, с мякишем и корочкой, со всем, что в нем тяжелого и легкого. Смешаться, слиться с ним всем телом, успокоить его, насытить, накормить его своей грудью, грудью молодой женщины, напоить его молоком мира и радости, отдаться ему, раз она хлеб для этого великого мужского голода и исстрадавшейся души!

Как подумает она об этом среди дня, лицо у нее зардеется огнем. Но вот она, окраска заветного часа и мгновения. Он ждет. Он там, на травяном ложе. Он ждет, чтобы она пришла и легла рядом с ним.

Вчера она ходила проведать его маму.

— Первые ночи, — сказала мама, — он подпрыгивал на постели, как чертенок. Я вставала, чтобы накрыть его и поговорить с ним. Он ничего не слышал. Он пыхтел, стиснув зубы. Он так размахивал локтями, что чуть было не вышиб лампу у меня из рук. Теперь он кроток во сне, как маленький святой: он шумит не больше, чем гипсовый Христос.

Мадлена, не оглядываясь, бежит по винограднику и прибивает ладонями раздувающиеся юбки.

— Во мне слишком много крови, — говорит Юлия.

С этой мыслью в голове она принуждает себя к тяжелой работе и, кроме того, все более и более изнуряя себя, старается как-нибудь извести свою плоть. Сегодня она весь день собирала виноград, на самом ветру, до полного одурения. Теперь, на кухне, она чувствует, как дрожат под нею ноги.

— От этого ветра, — говорит она, — я пьяна, как матрос.

Она хотела было улыбнуться, но вдруг почувствовала, как вскидывается в ней кровь, точно змея в неволе.

— Я забыла свой садовой нож, — сказала она.

Широко шагая, пошла она по плоскогорью. Она пересекла миндальную рощу, спустилась по склону, обогнула холм Авшо.

Наступал вечер. Она очутилась в холодном Хюбаке, в этом кабаньем логовище, и вдруг прямо из-под ног ее поднялось что-то черное и отпрянуло звериным прыжком.

Оно остановилось, обернулось. Это был мужчина, весь ощетинившийся, как злой пес, с явной решимостью зубами отстоять свою добычу. Он поднимает ружье. Он быстро нащупывает затвор, потом вспоминает, что это не военное ружье, и кладет пальцы на курок.

В этот миг он, должно быть, увидел, что перед ним, одна-одинешенька, стоит женщина. Он замер, разглядывая ее. Левая его рука поддерживала ружье.

И она увидела мужчину. Она сразу почувствовала себя какой-то опустошенной и слабой. Она поглядела на траву: трава всегда зеленая.

«Это тот, из Бра», — подумала она.

Он шагнул к ней.

Нельзя уже узнать, кто это, так он оброс волосами, и даже помимо волос, даже по глазам нельзя уже узнать. «Который же это? Я всех их знаю... Который из них? Фок? Клодомир?»

— Это ты, Юлия? — спросил человек.

— Я, ответила она. — А ты... ты кто?

— Туан, — сказал он.

— Туан? Господи Иисусе! Это ты?

Тот самый, что танцовал вальс с закрытыми глазами в обратном направлении и на месте, перебирая ногами в круге величиною с тарелку, тот самый, которого звали Туанетт, такой он был ласковый.

— Да, это я, — сказал человек и опустил ружье.

Он сделал еще шаг вперед. И, делая его, он обнаружил легкость и мускулистую гибкость зверя.

— Ты видела жандармов?

— Не бойся. Они там, около Руссэ. Я видела их.

Она всматривается в это лицо. Молнией проносятся сейчас по нему видения прошлого: бал среди гирлянд зелени, продавщица вафель, гармоника, нога музыканта, всегда отбивающая такт на досчатом полу. Но есть в этом взгляде что-то новое — голод и жажда, и мужской аппетит...

«Туанетт!» — мысленно говорит Юлия.

Что-то суровое и беспощадное.

— Не нужно ли тебе, — говорит она, — хлеба, соли, вина?

— Нет.

Она отступает на шаг.

— Не нужно ли тебе...

Она сама не знает, прыгнул ли он на нее, или накатился, как каменная глыба, или же... сама она не знает. Она почувствовала мощь руки, обхватившей ее за талию, горячий груз, раздавливающий ей грудь. Она была запрокинута назад, в эту бушующую стихию ветра, деревьев и мужской силы. Она сама первая вонзилась губами в губы Туана и приветствовала его стоном согласия.

Весь день в Бюиссонаде собирали виноград. Теперь сбор на этом винограднике нижнего плоскогорья был закончен. Корзины погрузили на повозку; потом на досчатые козлы примостилась Фелиси, поставив между колен маленького Поля, и поехала по тряской дороге.

Пленный ведет лошадь под уздцы.

Лошадь возбуждена этим ветреным днем. Она уже больше не узнает теней. Каждый раз, завидя их, она вскидывается между оглоблями, точно кто обжигает ее. К счастью, есть мужская рука. Она крепко держит узду. На пленном надета плоская круглая шапочка, на самой макушке, и зеленая куртка, и на спине у него две большие, выведенные белой краской буквы П и Г. Фелиси глядит на эту мужскую руку, которая держит повод. Она надежна и знает, что делает.

Мэр сказал:

— Ты вдова павшего на войне, ты имеешь право на пленного.

Когда повозку слишком уж качает, пленный поворачивает голову и смотрит на свою хозяйку. Он смотрит с вопрошающей улыбкой.

— Ничего, обойдется, — говорит Фелиси.

Маленький Поль весь липкий от виноградного сока. Он обрывает с кисти виноградинки в ладонь и потом сразу сует всю горсть в рот. Если повозка в этот миг подпрыгивает, то ягоды раздавливаются на щеке. Тогда он высовывает язык и слизывает сок.

В Бюиссонад приехали к ночи. Внесли корзины с виноградом. Стряпать было уже поздно. Разрезали на три части козий сыр и, усевшись на каменной скамье перед домом, молча принялись за еду. Фелиси, сгорбившись, упершись локтями в колени, ест, только изредка двигая кистью руки, чтоб разломить краюху хлеба и поднести кусок ко рту.

Потом малыш решил размять ноги; он подошел к мужчине, и они стали играть вместе.

— Я защекочу тебя, — сказал Поль.

Мужчина делает вид, что боится:

— Ой, ой!

Потом он хватает малыша за руку и в самом деле всей пятерней начинает щекотать его.

Ночь прекрасна. Ветер сразу утих. Небо все седое от звезд.

Фелиси поднимается.

— Скажи «покойной ночи», Поль.

— Покойной ночи, — говорит Поль.

— Покойной ночи, — говорит Фелиси.

Мужчина встает. Слышно, как щелкнули в траве его каблуки.

На кухне Фелиси зажигает свечу, она ходит, она переходит с места на место там, в освещенной полосе. Видно лицо ее, видны ее волосы, виден угол кухни; висящая кастрюля, кофейник на печке, веточка освященного буксуса на стене.

Мужчина протяжно и грустно вздыхает.

Он обошел всю ферму. Лошадь крепко привязана. Козам дали все, что им полагается. Все куры под навесом. Нигде не пахнет гарью. Все благополучно, все в порядке. Пленный укладывается на соломе. Минутку он еще прислушивается, чтобы быть уверенным, что все на месте, что никакой опасности не грозит.

Когда Юлия поняла, что никто увидеть ее не мог, она направилась к стенному шкафу и налила себе в ладонь немножко масла.

— Покойной ночи, — сказала она и стала подниматься по лестнице.

Масло она старалась нести поближе к себе. Она смотрела, как бы не пролить его.

Дойдя до своей комнаты, она прислушалась; потом открыла дверь и с обеих сторон смазала дверные петли.

Она макает палец в масло на ладони. Потом проводит по дверным петлям, плотно нажимая на них пальцем, чтобы получше пропитать их маслом. Подконец она в темноте несколько раз открывает и закрывает дверь: шума от этого не больше, чем от кошачьих шагов.

САНТЕРР

— Теперь он нас голыми руками возьмет, — говорит Жоливэ.

Ла-Пуль перестает плевать в дождевые лужи. Он доплюнул вот докуда, — до самой дороги, и при всем желании дальше он доплюнуть бы не мог. Он оборачивается лицом к открытому овину.

— Кто? — спрашивает он. — Кто нас возьмет?

Вот уже много, много, много дней стоят они в этом волнистом, как море, Сантерре. На раскинувшемся вокруг приволье они точно на открытом просторе вод. Все стушевалось на этом просторе: и пытка Вердена, и смерть

старых товарищей, и этот вкус Мадлены, запечатлевшийся в маленьком, надушенном лавандой платочке.

— Священник, — сказал Жоливэ, — полковой священник. Говорю тебе, старик, в том положении, до которого мы дошли, любезничать с нами господу богу уже не к чему. Он может явиться так, как ему вздумается, показаться в своем настоящем виде, и можешь быть уверен, что мы все равно будем в его руках.

Как щепки после кораблекрушения, разбросаны на длинных волнах земли развалины деревни. С вечера уже гасили все огни. Тогда овины наполнялись тяжелым человеческим духом, к счастью, надо сказать.

Целый день, удушая все своей плотностью, нависало над ними белое, мучнистое небо. Слова не взлетали в воздух, а беспомощно, как слюни, текли изо рта.

Когда по дорогам проезжали фургоны, их видели, но не слышали. Видно было, как проезжают они по гребню обнаженных холмов; лошади поднимали свои призрачные ноги, телеги скользили по волнам земли, как обломки коры по морским волнам. Звуки не смели разлетаться, они оставались тут же, рядом с людьми, с животными, с колесами; они не смели унестись к небу.

Ла-Пуль собрал во рту отличный плевок и попытался выплюнуть его еще дальше, на самую дорогу.

Деревня безмолвствовала. Воздух был терпок от ранних заморозков. По дворам жгли костры из досок. Они не пылали. Без пламени и почти без жара, дерево казалось, покрывалось красной краской, потом крошилось и рассыпалось мертвым пеплом. К костру собирались люди, протягивали к нему руки, колени, лепились вокруг него как печные кирпичи. Тогда он как будто становился увереннней; иной раз даже появлялся язычок огня.

Беспокоил также наплывающий широкой волной запах. Он наплывал с какой-то ужасающей силой. Он ударял в нос, как запах тухлого мяса. Потом он куда-то исчезал, и люди с удовольствием вдыхали в себя терпкость мучнистого неба.

Иногда переполненная дождем и грязью улица произносила свое великое, грозное глухое слово. Оно проносилось легким дуновением воздуха, которое не почувствовалось бы даже на мокрой руке. Шло оно из зараженного овина. Вход туда был запрещен. Перед распахнутой дверью торчал кол, и на нем прибита была дощеч-

ка с начерганной на ней углем надписью: «Сап». Позади, в глубине просвечивал, весь продырявленный, деревянный остов, и на голом полу гнили какие-то обломки стен.

Те, кто стоял тут раньше, оставили конный парк у подножья длинной рыжей дюны. Он представлял собой большой прямоугольник открытых загонов, сделанных из стволов ободранных деревьев. В нем оставалось еще с десяток лошадей да двое людей. Лошадей в парке держали врозь: одну — здесь, другую — подальше, третью — там, и так по всему парку. Оба солдата тоже были отделены друг от друга. Они никогда не спускались в деревню. Видно было, как ходят они то туда, то сюда; когда они подходили слишком близко, один из них останавливался, а другой обходил его стороной и шел по своим делам. Они были в толстых белых перчатках. Иногда они спускали на лицо белые капюшоны с отверстиями для глаз. Они поднимали какие-то большие стеклянные бутыли, выливали жидкость в лоханки, размешивали эту похлебку палками и полными ведрами выливали ее на крупы лошадей. Тягучий запах эфира и фенола несся с дюн. Спускалась ночь. Тогда лошади начинали перекликаться между собой. Они чувствовали приближение ночи уже тогда, когда она еще таилась в серой мгле востока. Голос у них был слабенький и дрожащий и какой-то вязкий, в нем чувствовалось напряжение нервов и легких; он, казалось, исходил из недр их болезни. Несмотря на все это, он был легок, как птичья жалоба; он доносился в ночи от одной лошади к другой, и они поверяли друг другу все, что им надо было сказать.

Днем они стояли, упершись носом в досчатую стенку. Одна из лошадей, совсем белая, которая видна была издали, все время без остановки и без устали топталась на месте. Она околела первая. Двое солдат вырыли яму, все так же не приближаясь друг к другу, копая каждый с другого конца.

— К чорту! — заканчивая свои размышления, сказал Ла-Пуль. — И без того довольно у нас докуки! Не стоит постоянно думать об этом.

После случая со вторым взводом стали остерегаться пустых овинов.

Рейн вернулся из отпуска. Вернулся он ночью, едва только забрезжил рассвет. Весь этот долгий волнистый

путь со станции до деревни он прошел пешком. Он охмелел от усталости, от ночи и от водки. Он приютился в овине.

Два дня спустя он бродил среди товарищей, и странными, изумленным глазами, казалось, вопрошал о чем-то, ища ответа там, в глубине серого неба. Он поднес отяжелелые руки к вороту рубашки и медленно разодрал ее сверху донизу, чтобы высвободить шею. Он продолжал стоять все так же, в полном недоумении, с раскрытым ртом; говорить он уже не мог.

Его отдали двум санитарам. Они связали его веревками с головы до ног, потому что он отбивался.

— Когда случится с тобой такое, чувствуешь себя куда сильней, — сказал Ла-Пуль.

Больного взвалили на ручную тележку, и шествие двинулось в путь по равнине. Один санитар был всем хорошо известен; он играл на маленькой флейте, а потом, зажимая нос, подражал скрипке и исполнял таким образом отрывки из «Тоски».

Он вернулся к вечеру с другим санитаром.

— Ну что? — спросили их.

— Ну, вот и все, — сказали они.

На другой день тот, кто играл на флейте, ушел куда-то один, в сторону конской дюны.

Среди дня капитан спросил Ла-Пуля:

— Не видал ты моего револьвера? Он висел у меня вот на этом месте.

— Я? Нет, — сказал Ла-Пуль.

Велосипедист не ездил по дорогам, где по колено стояла грязь; он ехал прямо по полю, там, где эластично ложилась под колесом трава.

— Я наткнулся на мертвого человека, — подъезжая, сказал он.

Это был санитар; он пустил себе пулю в лоб. Он лежал на правой руке, уткнувшись лицом в согнутый локоть. Револьвер был весь в крови.

Пришел капитан. Он вытер револьвер платком. Вечером он приказал Ла-Пулю разобрать револьвер и смазать.

— Смажь получше желобок, — сказал он. — Здесь всегда что-то цепляет.

Он осмотрел незаряженный револьвер. Барабан вертелся, собачка щелкала, всё было в исправности. Он по-

ложил револьвер в футляр и повесил его над изголовьем своей постели.

Велосипедист еще раз приехал с вестями. Он спрыгнул наземь.

— Готовятся к наступлению, — сказал он.

Среди дня агенты связи отправились разузнать расположение войск. Им дали с собой холодной еды и фляжку с вином. Передовые линии были далеко от деревни. Агенты не взяли с собой оружия, а только палки для ходьбы.

Они вернулись на рассвете следующего дня. У двери их встретил капитан. На нем был сюртук и туго стянутая портупея, и он навел красоту по новой своей моде: он уже не брился, он изобрел более практичный способ, — он низко, у самой кожи подстригал ножницами щетину, что придавало ему сходство с медведем. Он еще больше растолстел. Он загораживал собой весь просвет двери.

Уже рассвело, когда Жура вернулся с первого караула. Оливье слышал, как он шел по траншее Братства, которая тянулась как раз напротив выхода в сапу.

— Они спят, — сказал он, входя.

Они только начинали засыпать. С некоторых пор, сопровождаемые странными, необычными шорохами, стали долетать к ним какие-то предметы: комья земли, вихрем проносившиеся по траншее мягкие частицы.

— Ну, как там? — спросил Оливье.

— Все спокойно, — сказал Жура. — Спокойно, спокойно, — повторил он, наливая себе в кружку холодного кофе.

Он стал пить.

— Ты все видел? — спросил Каму.

— Больно ты прыток, — сказал Жура, — я видел только то, что поблизости, и этого с меня довольно. Я говорю тебе только, что я видел и что понял. Нас ожидает большая мерзость, помяни мое слово.

День был длинный-длинный... Все ниже, все белесей никло над землею дряхлеющее небо. Уже привыкли высовывать голову из траншеи. Никакого риска в этом не было. Ничего нового вокруг не видно было: волнистые очертания Сантерра, земля, заплесневевшая от тумана во всех своих впадинах. Ничего не слышно было кроме

отдаленного громыхания провиантских повозок, да и то в определенный час. И в этот же тяжелый полуденный час пролетал мимо ворон; казалось, что это все один и тот же.

— А мне? — сказал Жоливэ Ла-Пулю, принесшему ведро с супом.

— Одно только, для Шабрана, — сказал Ла-Пуль.

— А мне? — повторил Жоливэ. — Говорю же я тебе, я жду письма. Вот уже...

— Ты наступаешь мне на ногу, — сказал Ла-Пуль. — Если б было письмо, я бы тебе принес. А это для Шабрана.

— Покажи, — сказал Жоливэ.

— Эх ты, гусак! — тихонько вздохнул Ла-Пуль.

Он вытащил письмо из кармана куртки.

Жоливэ взял письмо. Мгновение, не глядя, он подержал его в руке. Потом прочел адрес:

— «Оливье Шабрану...» Да, — сказал он.

В послеполуденные часы всегда стояла мягкая тишина, и слышно было, как капля за каплей падает сквозь трещину бревен на лестницу вода.

— О! — тихонько окликнул Жоливэ.

Оливье повернул голову.

— Ты получил письмо?

— Да.

Жоливэ подвинулся к Оливье. Он не смотрел на Оливье. Он смотрел на солдат, играющих в карты при свете свечи.

— Дай-ка мне его на минутку, — сказал он. — О делах твоих я читать не стану. Я почитаю только любовные слова.

Оливье сунул руку в карман. Жоливэ остановил его.

— Нет, брось, — сказал он. — Оставь его при себе. В конце концов напишет же она, стерва!

И он отошел и сел на верхней ступеньке лестницы на фоне холодного диска белого дня.

Агент связи выходил ежедневно. Он всегда направлялся вправо, в сторону седьмой роты. Потом слышно было, как колотится о бревна его коробка с маской: он возвращался.

Однажды вечером он позвал:

— Пойдемте со мною. Посмотрите, что там.

Пришлось пройти вдоль всей траншеи зуавов, свернуть в синий окоп, пересечь каменоломню. Они были у цели. Насыпь недавно обвалилась. Там виднелись смешанные с грязью клочья сукна. Таким образом, в недрах каменоломни открылась своего рода отдушина. Оттуда торчала человеческая рука, почерневшая, с загнутой крючком кистью. Подошли поближе. Перед ними была большая, набитая трупами яма. Внутри что-то плескалось, точно вода.

Ночью всегда кто-нибудь да покидал потихоньку сторожевой пост и подходил к входу сапы. Он прислушивался к храпу, к дыханию, к сонным выкрикам солдат... Так, озябнув, подходишь к огню погреться.

В сапе не всегда спали, а зачастую нарастала какая-то тревога, распирающая тело, как злой недуг.

— Слушайте...—говорил Жура, который лежал в самой глубине сапы.

Была глубокая ночь. Слышно было, как там, наверху шуршит о землю туман.

— Слушайте!

В сапе равномерно повторялся какой-то легкий, острый, как игла, звук.

— Слышишь?

— Слышу.

Звук был мерный, как жизнь, имеющая определенную цель, как жизнь с определенным замыслом, и в достаточной степени устремленная к этой цели, и в достаточной степени упорная в своем замысле. Звук был совсем слабый, но вся сапа была наполнена этим легким пронзительным звуком.

— Это здесь, внутри.

— Свечу!

— Шарль, свечу!

— Да пошевеливайся!

— Зажигалку!

— Слышишь, твою зажигалку!

Он высек огонь из зажигалки; вспыхнул язычок пламени.

В освещенном круге выступили неподвижные лица солдат. Они прислушивались; даже глаза их были неподвижны.

Звук был здесь, среди них.

— Зажги свечу.

Ла-Пуль зажег свечу.

Пламя не поднималось, а трепетало, как лист. Он осмотрелся кругом.

— А! — сказал он. — Да это часы!

Часы висели на вбитом в доску гвозде.

Обычно их хозяин, отправляясь на караул, уносил их с собой. На следующий день ему сказали:

— Не забудь взять с собою часы.

— Нет, — сказал он, — я оставлю их: они портятся от холода.

Мгновение спустя Жура встал, снял с гвоздя часы и положил их на землю. Так их слышно было куда меньше.

В сущности, это только дело внимания. В конце концов, даже когда Каму уносил с собой часы, можно было слышать, как шагает время.

— А где же часы? — спросил Каму.

Он взглянул на гвоздь. Он ощупал себя. Все они, в сапе, притворились, что спят.

— Если только я накрою молодца... — сказал Каму.

Он лег. Он повернулся ко всем спиной.

Жура лежал с открытыми глазами. Он высунул из-под одеяла руку, он почесал бороду; он поглядел на гвоздь.

Посреди ночи, запыхавшись, прибежал агент связи. Он стал грубо расталкивать их в темноте.

— Эй, вы там, вставайте!

Он зажег свою зажигалку.

— Нет, погодите, — сказал он. — Где ваша свеча?

Он старался как-нибудь проглотить свое адамово яблоко; это никак ему не удавалось, — оно снова и снова выпирало.

— Что, старина? Что с тобой?

Наконец ему удалось, и он отплюнулся.

— Скажи, — спросил он Ла-Пуля, — когда сходишь с ума, то сам-то это понимаешь, или как?

Снаружи лениво трещал пулемет.

— Ведь я видел его, — сказал агент. — Рука моя рассекла воздух. Я же не сумасшедший... Так слушайте, говорю вам — он был, был там. Я сам видел его. Ведь глаза-то у меня есть. Я человек привычный. Никто не станет говорить... Чего там! Так, значит, это могло выйти

только из дыры. Я как раз проходил мимо... Возвращаюсь я из седьмой роты. Дошел до того угла. Передо мной уже чернела сапа. Тут-то я и увидел. Так ясно, что даже подумал: «Это, пожалуй, капитан». И я тихонько окликнул его: «Капитан!» Оно не ответило. Потом я заметил, что оно, пожалуй, худей капитана, толщину придавал только плащ. Я отлично разглядел этот плащ, такой, как у наших стрелков. Так, видите, спорить тут нечего. «О!» — сказал я и хотел схватить его рукой.

— Я тоже уж видел его однажды,— сказал Ла-Пуль.— Следовало бы загородить вход хотя бы холстом палатки. Это фельдфебель. Он не из наших. Вот это самое плохое.

— Да,— сказал Жура.— Правда, это фельдфебель. Я тоже видел его прошлой ночью. Я ничего не сказал. Он шел мимо. Я притаился за углом и со всего размаху ударил его прикладом прямо в рыло.

— Да ну?! — сказал Ла-Пуль.

— Ну, да! — сказал Жура.

— И что же?

— И ничего

Каму вернулся с осколками часов в руке.

— Вот что! — сказал он.— Если когда-нибудь попадется мне в руки сволочь, которая сделала это, смеха будет не меньше как на пять минут, уж это я вам обещаю!

Жура поднялся и сказал:

— Ну, я пойду.

Он поочередно посмотрел на всех товарищей.

— Осторожно,— сказал он, проходя мимо присевшего на корточки Оливье.— До свиданья, старик!

Он пошел по окопу Братства.

К вечеру он не вернулся. Подали его котелок с супом.

— Выложи мясо на крышку,— сказал Жоливэ.— Он не любит, когда оно мокнет в жиже.

Но в конце концов, так как Жура все еще не возвращался, Жоливэ все-таки сбросил мясо в суп и прикрыл котелок.

— Все равно суп будет холодный,— сказал Каму.

— Можно разогреть,— сказал Жоливэ.

На следующий день пришлось признать, что Жура больше не было.

Котелок попрежнему стоял на столе. Его отодвигали и ели рядышком с ним. К крышке прилепили свечу. Под-конец Жоливэ вылил котелок, потому что суп прокис, а мясо подернулось плесенью.

Пришлось поработать поблизости от «Дизентерии». Так называлось грязевое озеро, образовавшееся в мест-ности, развороченной минами.

Их водили на склад колючей проволоки и деревянных кольев. Они сколачивали рогатки, наматывали «ежей». Они работали на своего рода плацдарме, откуда видно было грязевое озеро и где открывался также вид на об-ширную часть этой дикой, пустынной, сливающейся с не-бом местности.

Каму прервал работу. Он всматривался куда-то вдаль.

— А вот там, это ведь лес, — сказал он.

Это была игра теней, которые даже среди бела дня носились у них теперь перед глазами.

— Это лес!

И изумленные глаза его синели, точно переполненные тем небом, которое открыто было только ему одному.

— Подумай, как хорошо было бы там сейчас расста-вить силки для молодых козуль!

Пальцы его сами собою сворачивали колючую прово-локу ловким узлом искусного браконьера.

— Будь у меня гладкая проволока, красивая гладкая проволока, уж наделал бы я силков, да таких, что чело-века можно было бы поймать!

— Ну-ка, покажи, — сказал Жоливэ. — А проволоку я тебе принесу.

— Видишь, — сказал Каму. — Ты скручиваешь прово-локу вот так, ты делаешь петлю, как для ботинок. Но не затягиваешь, а продеваешь конец в узел и тянешь. Вот так.

— Ты говоришь, что этой петлей можно удержать и человека?

— Этакой вот проволокой, восьмимиллиметровой, можно удержать двоих, не то что одного.

Все теперь видели лес. Он был так близко, что листья его, казалось, вот-вот коснутся щеки.

— Это сосны, — сказал Оливье.

— Да ты с ума сошел! — сказал Каму. — Это сосны? Это буки. Такую-то зелень, старина, такую тяжелую зе-

лень только буковой рощей можно выпереть из земли. Ты уж не суйся! По части лесов или лесных запахов тягаться со мной нечего.

Ла-Пуль поднял глаза и взглянул на лес. Он исчез. Опять мучнистое и водянистое небо.

— Грибы, — сказал он, — жареные на углях, в масле и с укропом.

— О, да! — сказал Каму.

И внезапно щелкнув зубами, он оборвал речь на полуслове: вечер, карауливший их на краю ямы, глядел на них большими очами тени.

Там, позади остались леса всевозможных деревьев, реки, плавные и бурные, привольные равнины с кудрявыми рощицами и чернеющими из-за берез колокольнями; стада, холмы; огромный белый бык; и тот, кто видел его, потрясал рукой в воздухе, точно размахивал колокольчиком, воображая, что он привел на ярмарку прекрасного самца-производителя.

Люди приносили все эти грезы с собой в сапу, и видения, шелестя, окутывали их точно густой туман. И это был привет оставшейся там, далеко позади, жизни.

— А как попадается молодая козуля? — спросил Жоливэ.

— Просунет голову в петлю и тянет, — сказал Каму.— И проволока затягивается вокруг шеи. Она вертит головой, барахтается. Чем больше она вертит, чем больше тянет, тем хуже затягивается петля. И получается вот что...

Каму склонил голову набок и высунул длинный язык.

— Вот что получается! И при этом рот у нее полон слюны.

— А люди как? — спросил Жоливэ.

— Да так же, — сказал Каму.

Мэмон, капрал и Ла-Пуль сидели за карточной игрой. Оливье смотрел. Жоливэ полировал пальцами медную монету, чтобы сделать из нее крышку для зажигалки. Каму был в самой глубине, в тени.

— Жоливэ! — вскрикнул он. — Иной раз эти животные, о которых мы говорили, целую ночь все никак не могут умереть, целую ночь корчатся, исходя слюной и грызут землю. Легкие у них потом совсем черные.

— Я тебя об этом не спрашиваю, — сказал Жоливэ.

— А я тебе говорю, — возразил Каму.

Карточная игра мирно продолжалась.

— И с людьми бывает так же, — добавил Каму.

Жоливэ продолжал полировать монету.

— Слышишь?

— Слышу. Ну, и что же?

— Ты последняя сволочь! — сказал Каму, и слышно было, как скрипнула под ним койка, потому что он вставал.

— Эй, вы! — сказал капрал.— Чего расшумелись? Если вам пришла охота ругаться, можете выйти наружу. Дайте покой мирным людям.

— Сволочь он! Последняя сволочь! — крикнул Каму.— Он заставил меня сделать силки из проволоки, чтобы ловить людей. Да! А потом сказал: «Дай-ка мне их сюда». И подсунул их под рогатку. А потом их так и поставят где-нибудь в поле. А потом они сцапают человека и уже не отпустят его, и человек будет задушен этой проволокой. Быть может, он всю ночь будет пускать слюну, и грызть землю, и дожидаться смерти. И он умрет в этой проволоке, которую я собственными руками завязал узлом. Человек! Эх!

— Что он говорит? — спросил Ла-Пуль.

— Да, — сказал Каму.

Он пыхтел, как бык.

Жоливэ продолжал полировать монету.

— Это правда? — спросил капрал.

Жоливэ посвистывал, ничего не отвечая.

Капрал встал.

— Жоливэ, я тебя спрашиваю!

— Может статься, — сказал Жоливэ.

— Отвечай — да или нет?

— Да, — сказал Жоливэ. — Ну, и что же?

— Я расквашу ему рожу! — закричал Каму.

— Жоливэ, — сказал капрал, — ты сейчас же пойдешь и вынешь эту проволоку, слышишь? Если ты не пойдешь, я выведу тебя в траншею и задушу собственными руками.

На миг все смолкли. Слышно было, как потрескивает пламя свечи. Жоливэ оглядел всех. Глаза у него были грустные и кроткие.

— Пойди, — тихонько сказал Оливье.

Он почувствовал в этот миг, как на груди у него

хрустнуло письмо Мадлены со всеми этими, исполненными мира словами, с этим щедрым хлебом дружбы, с этими ласковыми восклицаниями: «красавец мой»,—«люблю тебя!»

— Пойди!

Жоливэ поднялся и вышел.

— Будем продолжать игру, — сказал капрал. — Тем более, — помолчав, добавил он,—что мог бы пострадать кто-нибудь из наших.

— Могли бы пострадать как те, так и другие, — сказал Ла-Пуль.

Капитан пришел за Оливье и Ла-Пулем.

Он подошел ко входу в сапу и свистнул. Ла-Пуль, который убивал вшей во швах своих штанов, быстро оделся и вышел. Мгновение спустя он крикнул:

— Шабран!

— Вот, — сказал капитан. — Я выбираю тебя и тебя. Все ночи вы будете стоять на часах у моей двери. По пол-ночи каждый. Вы освобождаетесь от передовых линий, от всех повинностей, от таскания дров, хвороста, супа и прочего, — и расшитою галунами рукой он сделал жест, окончательно сглаживающий жизнь.

Оливье первым вернулся с караула.

— Пора!

Ла-Пуль что-то писал у свечки. Остальные спали.

— Как на дворе?

— Темно.

— Холодно?

— Возьми с собой одеяло.

— Какая темень! — подходя к порогу сапы, сказал Ла-Пуль.

Он стукнулся каской о доску.

Свеча догорела почти до самой проволоки. Она роняла жирные слезы на шинель, брошенную на опустелой койке Жура. Мэмон не храпел. Никаких шумов в эту ночь не было. Только чуть быстрей капала вода, просачиваясь сквозь щели досок. Все они спали, наглухо замкнувшись в своем сне.

Оливье вытянулся под одеялом. С минуту он лежал неподвижно, накопляя тепло; потом попытался согреться, тихонько поводя плечами. Он закрыл глаза.

На лестнице сапы послышались шаги.

«Возвращается он, что ли? Пора уже. Разве четыре часа? Или в чем же дело?»

Он поглядел на свечу. Она попрежнему была почти на уровне проволоки.

Это не были шаги Ла-Пуля и никого из товарищей. Это были чьи-то непривычные шаги, нащупывающие ступеньки.

— Эй, вы, кто там? — вполголоса окликнул человек.

Он, должно быть, крестом раскинул руки и обеими ладонями скользил по бревнам, ощупывая стены.

Он вошел, согнувшись в три погибели, слишком высокий для земляного свода. Он выпрямился. Пламя свечи метнулось навстречу ворвавшемуся с ним воздуху.

Реготаз!

Это был Реготаз.

Весь теплый, ясный, надежный, с добрыми своими руками, широкие и плотные ладони которых старались теперь успокоить пламя свечи.

Оливье приподнялся на локте.

Так как же? А рукав шинели, скоробившийся от крови, и маленький кусочек мозга, прилипший к ворсинкам на сгибе локтя, — кусочек, который он, Оливье, отодрал тогда и швырнул в грязь? А это отвращение, еще ощущаемое в пальцах от прикосновения к обнаженному мозгу Реготаза?..

— Эй, вы! — тихонько окликнул Реготаз, поглядывая на спящих.

— О! — откликнулся Оливье.

— А! Ты тут?

Он подошел поближе. Пламя свечи бросилось жадно лизать освободившееся от его крупного тела пространство.

— А, ты тут? — повторил он. — Я тебя искал.

Он ощупал все тело Оливье под одеялом.

— Ты тут?..

На ноги Оливье легла его тяжелая рука.

— ...Я давно уж тебя ищу.

Оливье крепче уперся локтем в холст койки.

— Не вставай, — сказал Реготаз.

— Так как же? Как же случилось, что ты вернулся? — сказал Оливье. — Скажи мне, где ты? Ты все еще здесь?

Там, в глубине тяжко вздохнул во сне и пошевелил ногами капрал. Реготаз замер на полуслове.

— Они спят. Я говорил слишком громко.

— Нет, но...

— Ну, так вот...

Он склонился к Оливье. Он стоял спиной к свету. Но, несмотря на это, видны были его глаза и борода, и все светилось, потому что в гуще бороды тихим светом сиял его влажный рот.

— Мне хотелось принести тебе вот это.

Он пошарил по карманам и вытащил оттуда что-то хрустящее. Это была хвойная шишка.

— Вот что мне хотелось тебе принести. Давно уж я об этом думаю. Зернышки вкусные. Мускатные. Я-то умею выбрать. Вот я и подумал: «Это уж наверное порадует его». Да к тому же, этот хруст... Вслушайся, вслушайся в этот хруст!

Рука его медленно разогнулась, он хрустнул шишкой у самого уха Оливье.

— Слышишь: дерево, белочка... Слушай, слушай этот шум!

Оливье затаил дыханье. Он слушал. Этот шум струился в нем, как ручей, сверкающий всеми отсветами; в сердце закипал шорох лесной чащи; на губах был вкус земли; ветер продувал голову.

— Как это ты?.. — сказал Оливье. — Еще вчера я подумал об этом. Так захотелось!.. Как же это ты?.. Ты получил в посылке?

— Я сорвал ее с дерева.

— Ты вернулся из отпуска?

Все тело Реготаза затрепетало, как дым.

— Ты пьян? — тихо спросил Оливье.

Влажный рот светился в гуще бороды. На проволоке шипел огарок свечи. Реготаз медленно поднял руку, чтобы заставить умолкнуть этот звук. Водворилась полная тишина.

— Мне хотелось принести тебе еще маленькую змейку, но я побоялся испугать тебя.

— Что? — переспросил Оливье. «Повтори», — хотел сказать он.

Он расслышал, но ему необходимо было услышать во второй раз и вполне внятно, а Реготаз продолжал говорить. Говорил он однообразным, ровным голосом, без всякого желания убедить собеседника.

— А молоденькая ящерица, катавшаяся в траве у гум-

на, около молотильного вала, крохотная ящерица, только что вылупившаяся из яйца, уже совсем зеленая, с росинкой на каждой чешуйке! А фиалки, и темень густой травы там, где притаилась фиалка! А змееныш, тот, что плавал посреди ручья!.. Водяная птичка, сказал бы ты, глядя на вытянутую шейку и великолепный крохотный гнев маленького змееныша. Я схватил его как раз посредине. Он обоими концами щелкал меня по руке.

— Реготаз! Реготаз!—вполголоса воскликнул Оливье.— Ведь со мною, со мною все это было, у нашего ручья. Это я поймал змееныша, — он плыл там, как птичка. Казалось даже, что у него крылья, так вертел он зеленым хвостом. Со мной все это произошло, Реготаз! Но, но...

Рука Реготаза все еще тяжело лежала на ноге Оливье.

Оливье откашлялся.

— Но где же ты теперь? — В седьмой?

— В седьмой, — повторил Реготаз.

— Ты пришел снизу?

— Снизу.

— Как давно я тебя не видел!

— Я давно уже хотел тебя видеть.

Голос Реготаза был тоже как дым, как легкий шорох густого тумана, просачивающегося сквозь листву влажного леса.

— Давно уже хотел я... Меня потянуло в твою сторону, как к березкам. «Да», — отвечал я. — «О, Реготаз!» — слышалось мне. «Да, тут я, старина? Чего тебе? Тут я!» — «Реготаз, Реготаз, Эмиль!» Тогда я сказал: «Иду!» И пришел к тебе. Вот я!

Тяжелой рукой провел он по ноге Оливье.

— Да, но змееныш, — внезапно сказал Оливье, — змееныш и ящерица, и фиалка, и шишка?.. Ты пьян или ты с ума сошел, или я уже ничего не понимаю... Ведь теперь зима.

(Оливье тихонько дотронулся до доброй руки, отяжелелой от сострадань и мудрости.)

— Так как же?..

— Так как же?.. — удивленно повторил Реготаз с едва заметным призвуком вопроса в голосе.

Он еще раз поднял левую руку, чтобы заставить смолкнуть, казалось, весь мир, ибо движение это порождало тишину, проникающую до самых глубин ночи.

— Ты все еще носишь при себе этот маленький пла-

точек, который пахнет лавандой? — спросил он. — И это письмо, в котором она называет тебя: «Сокровище мое! Красавец мой! Желанный мой муж!»?

— Да, — ответил Оливье. — Да, тут они — и платочек и письмо. При мне.

Он дотронулся до кармана рубашки у самого сердца. Оно полно было кротости и покоя, и надежды, как тогда, когда вдыхаешь майский ветер.

На дворе, нагоняя дождь, пронесся порыв ветра.

«Но, но... Ведь он умер», — подумал вдруг Оливье.

— Что ж из этого? — громко произнес сияющий рот Реготаза.

Он, пятясь, стал отступать к выходу. Уже не чувствовалась больше тяжесть его руки. Расставленными крестом руками он ощупывал путь. Оливье все еще смотрел на этот рот в гуще бороды, сияющий влажностью доброты. На мгновение Оливье потерял его из виду. Он заморгал, потом стал искать его. Рот был все на том же месте. Это было отражение свечи на выпуклости бидона.

Вошел Ла-Пуль. Оливье, приподнявшись на локте, все еще смотрел на это отражение.

— Шабран!

— Да.

— Идем. Послушай, посмотри... Идем же!

Оливье откинул одеяло.

— А со мной, со мной-то что было! Здесь, сейчас, вот тут...

— Пойдем скорей, — сказал Ла-Пуль. — Расскажешь потом.

Темень на дворе была такая густая, что, казалось, ее приходилось рассекать носом.

— Эх, старина! — сказал Оливье. — Эх, кабы ты знал!

— Вот увидишь, — сказал Ла-Пуль.

Он ощупывал стену с правой стороны.

— Здесь. Сними каску. Не шуми. Войди и послушай.

Перед ними была маленькая крытая площадка, откуда лестница вела вниз, к капитану. Внизу дрожало убогое пятнышко света. Слышно было, как кто-то говорит вполголоса.

— С кем он? — шепнул Оливье.

— Слушай.

Сверху видны были ножки стола, и между ними ноги

капитана. Он, должно быть, сидел в своем деревянном кресле, откинувшись на спинку, вытянув ноги и свесив по бокам неподвижные, как плети, руки. Голос зазвучал громче.

— ...Нет, дочь моя, ты шьешь криво, у тебя перекошен рубец, от этого образуется валик. Ты всякий раз говоришь мне: «Образовался валик». А я тебе объясняю, отчего это.

В темноте, затаив дыхание, слушают оба солдата.

— Прикрути лампу. Она всегда норовит коптеть. Ослаб винт горелки, фитиль сам подымается. Завтра, если попадешь на улицу Нев, занеси ее к Блэзу...

Ла-Пуль сжал руку Оливье. Он придвинулся к Оливье, прижался к нему.

— Ты тут? — спросил он. — Слушай хорошенько.

Капитан пошевелил ногами. Слышно было, как постукивает он рукой по столу и тихонько скребет дерево.

— Погляди-ка на этого кота, — сказал он. — Какой он баловник. Посмотри, девочка моя, успеешь еще испортить себе зрение шитьем. Посмотри. Хоп! Видишь?..

Он перестал смеяться и постукивать по столу.

— Детка, ты ведь не разрешила Изабелле сегодня играть на дворе? Она немножко кашляла. Я спросил ее: «Тебе больно?»

Наступило полное молчание.

— У нее твои глаза, — сказал он, — а волосы у нее мои. Подбородок, рот — все мое. А лоб... лоб у нее твой. Сложеньем она в меня, это сразу видно. Движения рук у нее — свои, а длинонога она, как я. И руки — мои. Детка! Маленькая моя! Брось ты свой шов! Поди ко мне, моя женушка, поди, поди, моя крошка!

— Он ведь один, — шепнул Ла-Пуль.

Они легли бок-о-бок у двери, на своем сторожевом посту. Ла-Пуль щелкал зубами.

— Тебе холодно? — спросил Оливье.

— Нет, просто мочи нет... Что хотел ты мне сказать давеча? Что у тебя приключилось?

— Все то же, — сказал Оливье. — То же, что и здесь. Одно и то же.

Между гребнем возвышенности 34 и грузным ночным

мраком пытался проскользнуть белесоватый рассвет.

Теперь уже видно было. Все обнажилось на этой развороченной земле, на этом обширном, сплющенном под тяжестью неба Сантерре. Слышно было, как по лестнице поднимается капитан. Согнувшись в три погибели, показался он в дверях. Он выпрямился. На нем была надета безрукавка из овчины, мехом наружу. В одной руке он держал большой нож со штопором, в другой — обезглавленную большую селедку, из которой сочилась молока. Он жевал рыбу.

— Здравствуйте! — сказал он.

Он засунул пальцы в рот, извлекая оттуда длинную изогнутую рыбью кость.

* * *

И вот внезапно узнали, где находятся те, другие. Ни большой Сантерр, ни туман, ни горизонт, который представлялся беспредельным по ту сторону тумана, — ничто не давало никаких объяснений по этому поводу.

Все было спокойно: два выстрела митральезы, снаряд, летевший издалека, проносился в вышине и скрывался из виду. Всюду было спокойно, — спокойно, как сказал вернувшийся с первого караула Жура.

И вот внезапно узнали, где находятся те, другие. Под вечер сквозь туман пронесся ветер. С некоторых пор слышны были шумы, шлепанье шагов по лужам, топот по грязи и земле. Но на это не обратили должного внимания, так все были поглощены этой минувшей, утраченной жизнью, просачивающейся теперь, при наступившем покое, во все минуты дня. И вот в туман внезапно ворвался ветер, и взору предстало большое, отчетливо видное пространство пустынной земли.

— Поглядите-ка, поглядите! — закричал капрал.

Стали смотреть, высунувшись из траншеи. Они были метрах в ста, не больше. Они бежали; ветер застал их врасплох. С одной стороны они выходили из тумана, с другой стороны снова входили в него. Они шагали по открытому полю над траншеями. Застигнутые ветром, они слегка горбились; они бежали, держа ружья как палки, и время от времени в темной массе этого стада мелькало бледное пятно лица, обращенного в эту сторону.

— Лишь бы только не вздумали траншейные пушки...

Поглядели в сторону траншейной артиллерии. На ме-

сте бомбометов торчали из земли головы артиллеристов. Они тоже глядели.

Оливье высоко поднял руку и тихонько помахал ею сверху вниз, чтобы сказать:

— Внимание! Будьте спокойны.

Сержант кивнул в ответ, и это означало:

— Не беспокойся.

— Да, доброволец, — сказал Жоливэ.

Столько горя было в его глазах! Оно перелилось через край на лицо и прорыло глубокие морщины, от глаз до самого рта.

С той ночи он один стоял на полевом карауле в небольшой яме перед проволочными заграждениями. Места было в обрез. Он забивался туда; он не выпирал наружу; сверху, точно большим плоским камнем, заваливал дыру туман, и таким образом Жоливэ совсем исчезал с лица земли.

— Все оттого, что ему перестали писать,—сказал Ла-Пуль.

Оливье вспомнил этого, явившегося с подкреплением Жоливэ, насквозь новенького, с лица и с изнанки, круглолицего, с хитрой улыбочкой, расцвеченной двумя рядами сахарно-белых зубов.

Однажды утром сидел он вот так, скорчившись, в своей яме.

— Мосье! Мосье!

Чье-то несчастное лицо прильнуло к краю его ямы. Жоливэ взялся за ружье.

— Товарищ! — во всю мощь тщедушного своего тела закричал человек, с такой силой, что после крика он сразу как-то выдохся и замер с открытым ртом, с закрытыми глазами, белее тумана, белее клубившейся из его открытого рта слюны.

— О! Человек! — сказал Жоливэ.

Он схватил его за ворот куртки и потянул вниз. Тот помогал себе коленом и локтем. Он свалился в яму. Как раз в том направлении, откуда он явился, со свистом пронеслись три пулеметных пули.

— Оставайся здесь, — сказал Жоливэ. — Ложись.

Он пояснил свои слова движением руки. Тот лег на дно ямы, уткнувшись ртом в землю. Он повернул голову вбок и смотрел на этого большого смуглого человека, который,

держа руку на затворе ружья, нес караул на передовом посту.

Пулемет приостановился. Теперь он начал шарить в тумане где-то в другом месте.

— Вставай, — сказал Жоливэ.

Сперва он встал сам, чтобы показать, что это вполне возможно; ружье он держал как раз посредине, как дубину.

— Вставай!

Перед ним стоял убогий человек, слишком маленький для просторной своей одежды, с болтающейся посреди воротника тонкой, как карандаш, шеей, с рукавами, удлиненными всеми оставшимися на плечах запасами. Что касается его лица, то вместо него Жоливэ мог бы смотреть на свое собственное, с этой переливающейся через край скорбью в глазах и с глубокими следами когтей на коже щек. Человек снял каску; красной полоской отпечатался вокруг лба ее след, точно след терний.

— О, человек! — сказал Жоливэ.

— О, мосье! — сказал тот с едва заметной улыбочкой, в которой он спешил отдаться весь, целиком, чтобы тотчас же снова погрузиться в свою тревогу.

— Ступай вперед, я поведу тебя к капитану.

Жоливэ сделал знак рукой. Пленный пошел перед ним. Время от времени он поворачивал голову, вопрошая Жоливэ взглядом.

— Да, все прямо, прямо, — говорил Жоливэ, а про себя думал: «Потаскуха, потаскуха! Не писать мне ни слова... Больше месяца... Потаскуха! Воображаю, как она там пакостничает!»

— Погоди.

Жоливэ наклонился над лестницей. Внизу виднелось только желтоватое пятно свечи.

— Капитан! — крикнул он.

Слышно было, как затрещало дерево, потом послышалось ворчанье.

«Не похоже, чтобы он был хорошо настроен, — подумал Жоливэ. — Напрасно я привел сюда этого типа».

— Я привел пленного, капитан.

— Веди сюда, — буркнули снизу.

«Да, напрасно я это сделал», — подумал Жоливэ.

— Вперед, старина! — тихонько сказал он. — Ступай вниз по лестнице.

Очутившись внизу, пленный сразу оцепенел, точно повис в петле; шея его вытянулась, подбородок задрался кверху, тело одеревянело, пальцы скрючились, прижавшись к ляжкам.

Не видно было ничего, кроме сидящей там, в деревянном кресле, грузной темной массы.

Капитан поднялся, сокрушая своей тяжестью кресло. Он шагнул вперед. Не поворачивая головы, скосив глаз, поглядел пленный на Жоливэ. И в этом горестном глазе, в этой наполненной мутной голубизной дыре сразу отразилось все: великое внутреннее смятение, надрыв, раны и все терзания сердца. Жена, дети, плоть моя, радость моя, мир, жизнь! Не надо убивать меня, господа, не надо!..

Жоливэ стиснул ствол ружья. Он поглядел на капитана.

«Если он тронет его, — подумал Жоливэ, — если его угораздит тронуть его, я со всего размаха двину его прикладом по рылу!»

Капитан грузным своим телом ловко обогнул стол.

«Если он тронет его, я его убью», — подумал Жоливэ.

Ружейный приклад отделился от пола.

Все совершилось чрезвычайно быстро. Капитан обеими руками взял руку пленного и тихонько похлопал по ней.

Теперь уже видно было его прекрасное лицо, расплывшееся в ласковой улыбке, тихо озаряющей все вокруг.

ЛАНЬ ПОКИНУЛА СВОЕГО ЛАНЕНКА, ПОТОМУ ЧТО НЕ СТАЛО БОЛЬШЕ ТРАВЫ ВОКРУГ

Вот уже восемь дней продолжается все это.

Юлия входит в кухню. Ставни закрыты, никого нет; в котелке, под крышкой шипит суп. Кажется, будто никого нет; но если Юлия постоит с минутку неподвижно, в шипении супа послышится ей чье-то глухое, сдерживаемое всхлипывание, и это плачет Мадлена.

Восемь дней! Лицо у девочки распухло, невидящий взгляд смотрит как-то сквозь предметы, а под кожей проступила синева, точно там разлагается кровь. Когда Мадлена была совсем маленькая, все лицо у нее покрыто было веснушками, потом на коже появился этот налет

неги и юности; она стала смуглой и тонкой, как кожура абрикоса; а теперь опять высыпали веснушки, и весь лоб и вокруг глаз все было покрыто ими.

«Что с нею, с этой девочкой?»

На этот раз Юлия подходит к окну и открывает ставню. Мадлена стоит на коленях у стола; она положила на него руку, примостив ее между шпинатом и приготовленными для вытирания стаканами; она прячет лицо в тайничок согнутой руки и плачет...

— О, Мадлон! — говорит Юлия.

Она накрывает голову Мадлены своей свежей, как лист, ладонью. Растопыренными пальцами ласково сжимает она эту голову.

— Что с тобой, Мадлон, скажи мне? Ты ведь знаешь, что мне ты можешь сказать все. С некоторых пор...

Юлия чувствует под пальцами всю оболочку этой головы, которая трепещет и точно раскалывается от рыданий стольких дней. Мадлена правой рукой обвивает крепкий ствол ноги Юлии, и Юлия гладит девочку по волосам.

— Отец! — напрягая мускулы ног и выскальзывая из объятий, внезапно говорит Юлия.

Мадлена встает и делает вид, что вытирает стаканы повешенным на стену полотенцем. До этого она успевает долгим взглядом передать Юлии всю скорбь своих заплаканных глаз.

Отец не вошел в дом. Он сел на скамью перед открытым окном. С ним был Тэст Мартен.

— Она была больна, — рассказывал Тэст. — Ее рвало. Она никогда не была крупного телосложения. Пришел врач, осмотрел ее, ощупал. Она глядела на него, как кошка. Он ощупал ей живот, провел по нем ладонью. Я гляжу и думаю: «Да она, никак, потолстела». «Ничего! — сказал врач. — Остается только приготовить люльку». У меня руки так и опустились. «Ведь ей шестнадцать лет», сказал я. А он мне на это: «Что ж, шестнадцати лет, по-вашему, мало? Доказательство налицо...» Это от сына Мишонны. Нам повезло, он еще не успел уехать. Он честный малый. Во всяком случае, если бы он сказался не таким, он бы обманул меня. Ну вот, пошел я к нему и сказал...

Мадлена, закинув назад руку, не глядя, поставила стакан на стол; потом ноги у нее подкосились, и она, обод-

рав щеку о штукатурку, скользнула вдоль стены на пол.
— Мадлон! Мадлон! — склонившись над нею, тихо стонет Юлия.

Вечером Юлия вошла в комнату Мадлены. Девочка стояла перед зеркалом, подняв сорочку; она разглядывала свой живот. Она опустила сорочку; громкое рыдание вырвалось из ее груди.
— Тише! — приложив палец к губам, сказала Юлия. Потом добавила:
— Ложись, Мадлена. Я сейчас принесу тебе кой-что.
Слышно было, как бесшумными руками роется она в стенном шкафу; время от времени все-таки позвякивала какая-нибудь бутылка или коробка. Мадлена, которая была в курсе всех кухонных дел, сразу поняла, что Юлия взяла спиртовку, бутылку старой водки и жестяную коробочку, ту самую, что Юлия поставила в глубину шкафа, сказав: «Никогда не трогай этого; это для крыс». Потом Юлия взяла сечку и стала что-то рубить, не производя при этом особого шума. Потом разорвала какое-то белье.
После этого наступила довольно продолжительная тишина. Не слышно было ничего, кроме раздававшегося в глубине коридора сопения отца, который сам только что испугался собственного храпа.
— На! — вернувшись, сказала Юлия. — Но погоди, поставь свечу за ночной столик. Если отец проснется, он тогда не увидит света.
На левой растопыренной руке Юлии лежит большой зеленый пластырь; под мышкой у нее бутылка с водкой; указательным пальцем правой руки, как крючком, держит она чашку, наполненную каким-то дымящимся густым снадобьем. В правой ладони она зажала коробочку с пилюлями.
— Погоди.
Она кладет пластырь на мрамор комода. Она разгружается от вещей.
— Ну, вот. Прежде всего надо положить вот это между ног и туго подвязать тряпкой, чтобы было горячо. Если будет немножко щипать, потерпи. Откинь одеяло, я сама приложу тебе это.
Припарка тяжела и жжет, и сразу же начинает кислотой своей разъедать самое нежное место Мадлены. Бед-

няжка стискивает зубы; она тяжко дышит, как больной зверь. Голова запрокидывается на подушки.

— Ничего, — говорит Юлия. — Обойдется.

Глухо потрескивает вокруг этих двух женщин большая спящая ферма. В хлеву плачет ягненок. Бьет копытом кобыла: жеребенок слишком сильно тянет сосок...

— А теперь выпей.

Юлия приподнимает голову Мадлены; она подносит к мадлениным губам чашку, от которой пахнет укропом и анисом, абсентом и страшной улицей, черным мраком земли.

В зельи, которое Юлия помешивает ложечкой, есть осадок спорыньи, и темный дух ее внезапно заглушает запах укропа.

— Пей! Приневоль себя, приневоль свой рот, приневоль свою глотку. Надо приневолить себя, Мадлена.

Там, внизу, дрожащим голоском окликает овца своего ягненка.

У Мадлены поднимается отрыжка, как перед рвотой. Юлия зажимает ей ладонью рот.

— Приневоль себя, Мадлон, приневоль. Надо, чтобы все это попало в живот. Только этим и поможешь. Приневоль себя!

— Нет, — стонет откинувшаяся на подушку голова.

— Зажми рот, не открывай его. Приневоль себя!

Волна, поднявшаяся с низу живота, сотрясает грудь бедняжки. Она стискивает зубы. Она громко чихает; зелье двумя липкими струями вытекает из носу. Юлия обтирает ее рукой.

— Конечно, — говорит она, — это неестественно, это против природы. Так надо приневолить себя. Право же, Мадлон! Что поделаешь, такое уж время! Приневоль себя, — ведь ты женщина.

Мадлена вливает в рот все зелье и, решительно мотнув головой, проглатывает его.

— Юлия! — зовет мужской голос в коридоре.

Юлия не отвечает. Она задувает свечу. Это отец. Слышно, как он идет босиком по коридору. Он нашаривает дверь Юлии

— Юлия, — тихонько зовет он.

— Не бойся, — шопотом говорит Юлия.

Отец приближается. Он кладет руку на ручку двери.

Он открывает дверь.

— Мадлена! — говорит он.

Во мраке Юлия подражает глубокому и медленному дыханию спящего человека.

Отец прислушивается. Он снова закрывает дверь и уходит.

Мгновение спустя Юлия ощупью ищет подсвечник. Она зажигает свечку.

Мадлена с закрытыми глазами сидит на постели. Она вся в рвоте. Сорочка в пятнах. Грудь замазана зельем. С губ свисает клочок лиловой слюны.

— Я сменю тебе белье, — говорит Юлия. — Немножко в тебе все-таки осталось.

Она раздевает ее догола. Она разглядывает уже напруженный, круглый, полный жизни живот.

— Ну вот, теперь ты чистенькая... Ничего, все хорошо. Ложись, девочка, ложись! Подвинься, я лягу с тобой рядом. Я буду охранять тебя, не бойся. Мы его вытравим, вот увидишь.

ЛЮБОВЬ МОЯ!

Жером в нерешительности стоит на пороге.

— Юлия! — говорит он. — Подойди-ка посмотри, кто это идет там, по дороге.

Сердце у Юлии подпрыгивает. Мадлена так и остается с поднятой иголкой в руке; бледная и влажная, как свеже-ободранная ветка, она глухо стонет, точно человек, которого ударили по затылку. Жозеф! Юлия всматривается:

— Нет! — говорит она.

Этот на костылях. У него нет ноги.

— Эй, вы, там в доме! — кричит он и смеется.

Его узнают по голосу и смеху.

— Да это Казимир!

— Поставь кофе на печку, — говорит отец.

Его просят войти. Его усаживают.

— Помочь тебе? — спрашивает Юлия, протягивая руку к костылям.

— Я уже привык, — говорит Казимир.

Он ожирел. Он жирен и бледен. Жир у него какой-то белый и трясется. Глаза почти совсем заплыли этим жиром.

Посыпались расспросы с обеих сторон. Казимир похлопывает Жерома по коленям, и Жером поднял было руку, чтобы в свою очередь похлопать Казимира, но воздержался: побоялся, что попадет как-раз по пустой штанине. Это было бы невежливо.

— Ээ, Юлия! — говорит Казимир. — Подошла бы поближе, а то ты все возишься у печки. Подойди, у меня вести о твоем муженьке.

— Я варю тебе кофе.

— Да ну его, кофе! Подойди, я расскажу тебе о твоем муженьке, небось знаешь, что он стосковался по тебе. «Побывай у Юлии», — сказал он мне. А в то утро, как я уходил, он высунулся в окошко и крикнул: «Смотри же, побывай у нее!»

— Как он? — спросила Юлия.

— Хорошо. Рука перестала гноиться, он показывал мне. Одно только маленькое пятнышко осталось, скоро уже все кончится. Не пройдет и месяца, как он будет здесь. Я частенько отправлялся к нему через кухню, оттуда меня переправляли в кладовую на подъемнике. Жозеф, понимаешь ли, в третьем этаже, а я — внизу. А с моей шалой ногой трудно взбираться по лестнице. Вот я и отправляюсь на кухню и говорю сестре: «Сестрица, переправьте меня наверх, как говядину». Она смеется: «Вы всегда останетесь шутником, — говорит она. — Влезайте!» Это клетка величиною в стол. Я, съежившись, помещаюсь в ней. «Влезли?»—«Влез». Она нажимает кнопку, и я подымаюсь в третий этаж. «О, Казимир!» — говорит Жозеф. Я сажусь у его кровати, и тут, верно, у вас в ушах звенит. Говорит о тебе, об отце, об усадьбах, и о тебе, Мадлена... Да где же она, Мадлена-то?

— Я здесь, — не отрывая глаз от шитья, говорит Мадлена.

В открытую дверь слышен топот кобылы, играющей со своим жеребенком; видно, как, подпрыгивая на солнце, резвится жеребенок, и прыгает он так высоко, что сам после этого в полном недоумении обнюхивает свои ноги.

— Когда я вернусь, — говорит Казимир, — мне приладят железную ногу с шарниром в колене. Она совсем как настоящая.

— Так, значит, ты говоришь, что он совсем здоров? — спрашивает Жером.

— Здоров? Как я, — говорит Казимир. — И толстый, как я.

Юлия глядит на этого бледного и дряблого человека. Казимир утратил смуглость работающих на солнце людей. У него пухлые белые руки бездельников, которых пичкают супом, предоставляя им только труд раскрывать рот, и которые разбухают, сидя на стуле, как тюки. А хороший, помнится, был он пахарь в былые дни, сухой и крепкий, как старый боб!

— Хорошо кормят, — продолжал Казимир. — В десять часов два блюда, да вечером два блюда и суп. А я кроме того хожу еще на кухню. Стучусь в дверь: «Сестрица, — говорю,—еще немножко мяса». — «Это не полагается»,— говорит она. Я делаю жалобную гримаску, и она дает мне лишний кусочек.

На великолепных пружинах своих ног прыгает кошка за слепнем. Вот она присела, она зажимает слепня в когтях, она скалит клыки, разгрызая черный угольный щиток. Под ним терпкий мед. Она облизывается, чтобы смахнуть с усов застрявшие в них синие крылышки.

— Поверьте, дядюшка Жером, лучше устроиться, чем мы с Жозефом, нельзя было. Есть, знаете ли, такие госпитали, от которых с души воротит. А в нашем — просто блаженство, рай земной. Находится он за городом, на излучине Роны. Вокруг большой парк, в конце его Рона. Она, видите ли, делает такой поворот... Когда я еще не мог ходить на костылях, меня выносили на крыльцо, как раз на углу дома. Я слышал, как свистят пароходы. Вдруг между деревьев показывалась мачта с подвешенными к ней на веревке флажками. Все это скользило по Роне. Я не открываясь смотрел вслед. Пароход огибал парк, там, у самого конца, потом свистел и исчезал из виду. «Он идет к Валансу», — думал я.

— Сколько положить сахару?

— Спасибо. Два куска. Я беру руками.

— И бери. Так и надо.

— Да, так вот, я вам говорю, ухаживают там за нами сестры. Есть одна, похожая на тебя, Юлия, когда ты была еще девушкой. Это Жозеф подметил. Ну, да тебе бояться нечего, ведь это сестра, она поставила крест на все радости... Ложечку ты мне дашь?.. Ну вот, разместили нас по порядку: с одной стороны—тех, у кого нет ноги, с другой стороны—тех, у кого нет руки. Здесь вот—тех, у

кого нет обеих ног, а там — тех, у кого нет обеих рук, а еще дальше — тех, у кого нет ни рук, ни ног.

— Боже праведный! — тихонько стонет Мадлена.

Казимир пьет.

— Юлия, насчет кофе ты всегда была первая... Вот уж мокко, можно сказать!.. Ну как, Жером, что вы на все это скажете?

— Эх, сынок! Что я скажу! да что сказать мне на это? Слушаю я тебя и вижу вас обоих там...

— В это время все там полно роз всевозможных цветов с названиями на дощечках. Все в отличном порядке. Есть и «Мадам Эррио», и «Мадам Пуанкарэ», и «Ночные красавицы», и «Большие бархатные», и «Розы Франс», и «Битвы при Марне». Все это разбито на квадраты, подвязано к палочкам; повсюду дощечки с надписями. Мне-то для моей уцелевшей ноги необходима прогулка. Так вот, я иду по аллее Фоша, сворачиваю в аллею Жоффра, прохожу дорожкой Петена вдоль воды, потом с площадки Союзников отправляюсь в конец парка слушать гармонику слепых. — Ах, эти слепые! Их тоже поместили всех вместе, в самом конце парка. Ведь это целая история, с гармоникой-то! Вообразите себе, пока не было гармоники, от постоянного сидения во тьме люди эти прямо-таки сходили с ума. Пришлось сторожить берег Роны, а не то они бы согрешили перед папой. Однажды один из них велел купить себе дудочку за четыре су. Начал он на ней играть. Хоть плачь! Пришла старшая сестра. «Надо было бы вам гармонику», — сказала она.

— Как вы догадались об этом, сестрица? — спросил он ее.

— Да просто представила себе.

— Я умею играть, — сказал кто-то из них.

И вот нашлась в городе богатая девушка, которая купила гармонику для слепых. И с той поры все наладилось: им ничего больше не надо. Они слушают. По воскресеньям, когда все гуртом отправляются в город (слепые везут в колясочках безногих), они не расстаются с гармоникой. Они берут ее с собой. Они знают, что в городе играть им не придется, что это запрещено. Но они все-таки берут ее с собой и время от времени спрашивают: «У тебя она?» — «Да», — отвечает несущий.

Над персиками в компотнице жужжат мухи. В траве скользит и играет позолота солнца. Дверь заслонена го-

зубым горбом холма. Там в оливковых рощах гуляет ветер, и серой пеной вскипает листва под его пятой.

...О! Уж если речь зашла о слепых, так я вам расскажу... Слушай, Юлия! Подойди сюда, Мадлена!.. Так вот, есть там сестра Матильда, красивая, настоящая красавица, и такая нежная, что у нее сквозь кожу щек просвечивает кровь. И есть там один слепой. Он не только слепой, а ему пришлось сделать заново все лицо — из того, что осталось у него от прежнего. У него не осталось ни носа, ни рта — ничего, и все это ему сделали заново, как могли. Самое ужасное в нем — это глаза, оставшиеся в глубине впадин. Он слепой. Он знает, что кругом все слепые, что никто не видит. Но стоит ему притронуться к лицу, чтобы отогнать муху, или еще зачем-нибудь, он тотчас же, точно ожогшись, отдергивает руку.

И вот сестрица Матильда, едва только придет в сад, сразу разыщет этого человека. Он всегда один, сидит на корточках, забившись где-нибудь в высокую траву. Она подходит. Она тоже садится на корточки рядом с ним. Как-то раз был там и я. Она меня видела. Он меня не видел. Она глядела на меня с ласковой своей улыбочкой. Он сказал ей:

— Сестрица, позвольте мне...

Она позволила. Он водил рукой по ее лицу. Он коснулся носа.

— Нос, — сказал он.

Коснулся глаз.

— Глаза, — сказал он.

Коснулся рта:

— Рот.

Он обвел пальцем вокруг всего рта.

— Укусите меня, сестрица.

Она тихонько укусила его.

— Крепко! Чтобы след остался!

После этого он отдернул палец и пытался жалкими остатками губ прикоснуться к следам ее зубов.

Когда Казимир ушел, Жерому удалось встретиться у хлева с Юлией с глазу на глаз.

— Послушай, Юлия, ты видела Мадлену? Что с ней? Больна она, что ли? Она, наверное, больна. Ты видела,

какое у нее лицо? А потом, заметила ли ты, — она ведь смеялась, когда Казимир рассказывал...

И вот, накормив свиней, тяжелая от всех мыслей и от борьбы с судьбой, Юлия вернулась домой.

— Мадлена! — кликнула она.

— Я тут.

Тут она, у открытого окна. Прекрасное плоскогорье плывет навстречу вечерней мгле. Оно кренится к востоку, откуда поднимается ночь, точно для того, чтобы сбросить с себя в тьму ношу своей сверкающей листвы.

Юлия опускается на колени перед Мадленой.

— Что же, ничего не вышло?

— Нет.

— Вот видишь, нужно было тебе выпить все зелье... Слушай, я сведу тебя к кому-нибудь, хотя бы к Элоизе. Она вытравила плод еще постарше твоего.

— Нет, — отвечает Мадлена.

— Больно не будет, — ласково говорит Юлия.

Мадлена качает головой.

— Это не из-за боли, — говорит она. — Это оттого, что я хочу сохранить Оливье. Я люблю его, Юлия, я люблю его! У меня будет от него ребенок. Ведь это будет он сам. Это единственный способ сохранить его, моего Оливье. Никто не сможет отнять его у меня. Он будет мой, только мой! Весь, весь, целиком! Любовь моя! — кричит Мадлена.

— Молчи, молчи! — говорит Юлия, прикрывая ей рот рукой.

ПОД ЛЕВОЙ РУКОЮ

Внизу во входную дверь тихонько постучали ровно три раза; потом послышались шаги; кто-то отступил на солому гумна, чтобы заглянуть в окно комнаты. Юлия услышала, у нее дух захватило.

Рядом с нею спит Жозеф. Он приехал с пятичасовым почтовым дилижансом. Он обхватил ее согнутой тощей ногой.

Юлия тихонько приподнимает ее за верхнюю, мягкую часть, снимает с себя этот крючок, соскальзывает с постели и встает. Жозеф продолжает спать все тем же глубоким сном.

Она открывает дверь, — шума от этого не больше, чем

от скользящей во мраке тени: вчера еще Юлия извела на смазку дверных петель большой кусок сала. Она спускается по лестнице, стараясь не ступать большими пальцами, потому что тому, кто прислушивается, слышно, как стучат ногти о камень.

На кухне на полу валяются осколки стекла. Жозеф давеча запустила бутылкой в голову Мадлене. К счастью, девочка успела наклониться. Она бросилась к двери. Жозеф схватил левой рукой кувшин, точно собираясь швырнуть и его в Мадлену. И силен же он с одной своей левой рукой!

Еще раз тихонько стукнули в дверь.

Протянутыми вперед руками Юлия нашарила косяк двери. Она ощупывает замок; ключ она не поворачивает; ощупью идет выше, минуя засов; она только открывает дверное оконце.

Ночь на дворе светлая. У самой двери стоит мужчина. Он прильнул лицом к дверному оконцу.

— Юлия!

С низким его голосом проникает в комнату терпкая испарина августовской ночи.

— Да, — тихонько отвечает Юлия.

— Уже прошло три дня. Идем!

— Нет. Хозяин вернулся.

— Какой хозяин?

— Мой.

Перед нею большое лицо — кожа да кости, звериная борода, сверкающие, как звезды, глаза и широкий, изголодавшийся, уязвленный всеми жаждами рот.

— Хочешь хлеба?

— Тебя!

— Табаку?

— Тебя, Юлия. Идем. Тебя я хочу! Я один, один! Всего лишь раз! Один только раз! Идем, Юлия!

На минуту водворяется молчание. Слышно, как дрожит, прислонившись к двери, это большое мужское тело.

— Я сказала — нет, значит нет! — говорит Юлия.

Мужчина тяжело дышит Юлии в лицо. От него пахнет сырой травой и табаком.

— Я дам тебе хлеба, коли хочешь, и охотничьих патронов.

— Плевать мне на твой хлеб!

Кричит сова.

— И плевать мне на тебя!

Он плюет в оконце. Юлия опускает ставню и задвигает засов. Мужчина всем своим телом припал к двери. Она слышит, как трещат эти кости, слышит это дыхание усталого зверя. Он уходит...

Юлия вытирает лоб; плевок сполз по лицу до самых губ.

Жозеф спал. Он так и не проснулся, не пошевельнулся; попрежнему торчит крючок тощей его ноги, точно поджидая тело жены.

Юлия тихонько влезает в постель. Она смотрит, хорошо ли накрыт Жозеф, там, с правой стороны, где он уже не может помочь себе сам. Ложится под эту согнутую крючком ногу. Она снова задирает кверху сорочку, скомкав ее валиком под самым подбородком. Берет левую руку Жозефа, раздвигает эти мужские пальцы. Она вкладывает одну из своих грудей в эту широкую ладонь — и, успокоенная, так и остается под этой левой рукою дышать и жить.

БОЛЬШОЕ СТАДО

— Эй, проснитесь вы там, в задних рядах!

Кто-то барабанит по каске Оливье.

— Что? — спрашивает он.

Он скользит по грязи.

Весь ряд спал на ходу.

— Что! Ваш черед!

Наткнулись на обоз.

В темноте подошли к шумящей, как река, дороге. Пахнет бензином и лошадиным навозом.

Там, в глубине, живстрепещущая, разодранная молниями ночь истекает кровью на темные волны холмов.

— Хоть бы лошадь лягнула меня в живот, — говорит Ла-Пуль, — чтобы я подох!.. Ведь все равно я мертвый.

— Подвинься!

— Шабран!

— Тут я, — отвечает Оливье, — тут!

Он хватает Ла-Пуля за руку.

— Кончено, кончено! — кричит Ла-Пуль.—Пришел мой конец! Убить нас хотят, вот что!

Сигнал к отдыху.

Внизу, среди деревьев топчется обоз. Составляются винтовки в козлы. В грязи, под откосом, рассаживаются солдаты.

— Ла-Пуль!

— Да! — звучит у самой земли глухой голос.

Оливье наклоняется к нему. Ла-Пуль лежит, растянувшись на земле.

— Ничего, ничего, — говорит он. — Я уже почти очухался.

Забрезжил день, зеленый и резкий. Пересекли широкое, почти совершенно вымершее полотно железнодорожных путей. Шлагбаум, преграждающий проход на железнодорожные пути, снесен. Сторожка пуста и звенит от топота солдатских ног. Одно окно заткнуто мешками. На рельсах валяется солома.

Из тумана выступает изгородь, потом сверкающий ясень, потом развертывающаяся ширь полей. Слева в росе лугов, вся теплая, дымится деревня. Минуя деревни и холмы, черным-черна, катит дорога живой поток солдат. Он медленно течет по всем складкам земли, он наполняет долы, он переливается через край ложбин, он просачивается сквозь леса. У деревни, в высокой траве пустого сада раскинулось большое озеро спящих солдат. Полнолюдная, течет между деревьев дорога.

— Ла-Пуль!

Оливье вытягивает тощую шею. Он срывает галстук, расстегивает ворот. Безжизненным ртом ловит он воздух.

— Ла-Пуль!

— Я держу тебя.

Ла-Пуль рукой обхватывает плечи Оливье.

— Продвигайтесь же вы там, впереди!

— Идем! — говорит Ла-Пуль. — Дай мне на минутку свое ружье. Обопрись на меня. Идем, мы останемся вместе.

Оливье идет. Он просунул руки под скрещенные на груди ремни и изо всех сил старается высвободить грудь, вздохнуть.

— Вперед!

Он стискивает зубы. Он плачет; губы его как-то раздвинулись, обнажив зубы, точно он смеется.

— Вперед!

— Обопрись на меня.

Каму поскользнулся и ничком валится на дорогу. Он снова поднимается. Он сплевывает грязь, сопли и кровь.

Тихо по твердой дороге отдается ритм шагов. Впереди человек двадцать инстинктивно шагают в ногу, потому что таким образом уже не чувствуешь себя одиноким, таким образом все вместе несут груз тела и невзгод, и так куда легче.

Каму старается попасть в ногу, войти в ритм. Оливье вне себя; он стиснул зубы; боль насквозь пронизывает его, и глаза его точно продырявлены твердыми, как железо, слезами.

— Вперед, старик! — ворчит Ла-Пуль. — Вперед, старик...

Огромным, словно раздирающим его снизу доверху усилием попадает Оливье наконец в дружный шаг товарищей. Каму борется один. Он начинает хромать.

— Осторожней! — говорит он.

Он расталкивает соседей. Он выходит из общего потока. Он во весь рост валится на откос. Он так и остается лежать там без движения, с ружьем за плечами, с мешком на спине, в полной амуниции, с широко раздвинутыми ногами. Штаны его в шагу почернели от крови. Он уже не смеет пошевельнуться. Точно обнюхивая его, подходит к нему сержант. Каму поднимает глаза; он говорит ему два-три слова; сержант, повесив нос, отходит к своим рядам.

На краю дороги сторожит среди деревьев, кося одним глазом, кривоглазый дом. Большая ферма; посреди двора кузница. Обнаженный до пояса артиллерист, широко размахивая молотом, сражается с добела раскаленным, искрящимся куском железа. Рядом, заляпанная грязью, ждет большая пушка.

— Вот и деревня, — говорит Ла-Пуль. — Вот в этой-то деревне мы теперь и остановимся.

Прошли деревню. Длинное людское стадо потерлось о стены домов. Оно поглядело на овины, на конюшни с соломой, но там, далеко впереди, в полях двигалась и тянула всех за собою головка стада.

И снова поля, поля, холмы да леса...

Около полудня прошли мимо большой стоянки провиантских обозов. Сюда со всех стран стекались медленные воды обозов и дремали, тихонько бурля звоном сбруи и железной посуды. Потом шагали по дорогам, среди пу-

шек и повозок, шагали с забрызганными грязью руками и лицами, и в сердце закипали горечь и кровная обида.

На дымящихся кучах навоза в деревне, истекая кровью, покоится вечер. Звенят у стены цимбалы. Рожки. По отлогой дороге стекает навозная жижа.

Овины, за ними площадь; дорога сворачивает в сторону. На этом повороте стоит какой-то человек; он высокого роста, толстый, в черном непромокаемом плаще. На нем блестящее кэпи.

Из нарядного дома выходит офицер. В руке у него стул. Он подходит к стоящему, прикладывает руку к козырьку и протягивает стул. Тот берет стул, раздвигает полы плаща и, грузный и квадратный, садится, заполняя всю ширину стула. Саблю он ставит между ног. Обеими руками и подбородком опирается он на эфес. Он смотрит, как проходят мимо солдаты.

Там, в ивняке, за огромным, как земной шар, плоским полем занялась заря. Пришли вот по этой, обсаженной березами дороге. Каски побелели от инея. Люди дымятся с головы до ног, как лошади; за ними по пятам несется пар; вся рота окутана туманом своей испарины.

Остановились.

— Дай-ка бидон, — говорит Оливье, — я пойду в кафе.

Как буря на море, гремит на горизонте канонада.

— Это где-то у Байеля.

По полю, направляясь к низкой ферме, одиноко проходит английский солдат. Он волочит на тощих своих ногах тяжелые комья грязи. Подойдя к двери, он отстегивает свой ранец.

Возвращается унтер-офицер с приказом:

— Стрелкам рассыпаться в цепь.

Ряды солдат начинают развертываться по полю. Те, кто оказывается поближе к ферме, куда вошел англичанин, заглядывают в окно. У двери, в грязи, лежат сумка и солдатское ружье.

Там, вдали дорога выстраивает в ряд свои еще безлистные, но зеленеющие легкой дымкой весны деревья. Рассвело. Отдельными клочками видна окрестная местность. Плоские поля скрываются за рощицами. На лугу по колено мокнет нога. За шагающими рядами солдат, как под

зубьями грабель, никнет трава. Поверх деревьев выглядывает высская ветряная мельница и, широко размахивая крыльями, медленно сигнализирует приближение идущих по траве солдат.

У кофейни, на перекрестке двух дорог сделали привал. Подойдя к дому, цепь свернулась.

На окнах уже нет занавесок. Там, внутри, взобравшись на ящик, мальчик снимает вешалку, отвертывая винты гвоздем. Стена совсем голая. Стойка сдвинута вбок, чтобы просторней было человеку, складывающему бутылки на тачку.

— Все побросали, — говорит он. — Всюду эти удирающие англичане. Боши одним взмахом сокрушили все. Поди-ка, послушай, не громыхает ли это в стороне Кемметя?

Холодные оконные стекла дребезжат.

По эту сторону неба, взвихренная громовым голосом пушек, подымается черная пена. По дороге какой-то человек тащит нагруженную тюфяками тележку; на перекладине покачивается овощная корзинка. По сырой пашне идет женщина. Она ведет своих детей. Человек, везущий тюфяки, останавливается. Женщина отпускает детей и поправляет волосы.

Бежит хромой, с одной только стороны разбрызгивая воду в луже. Женщина прижимает к груди курицу. Проезжает двуколка, увозя поставленные вверх ногами комод и дребезжащий разбитыми дверцами буфет. Занимая всю ширину улицы, идут в ряд четыре женщины, связанные друг с другом общей ношей: корзинами с посудой. Английский мотоциклист, весь в коже, мчится полным ходом по выбоинам голого луга.

Идут длинной пустынной деревней. Все двери открыты. Где-то в доме звонят часы. У самой двери сидит в своем стариковском кресле старая женщина.

— Жду, — говорит она.

В ногах у нее лежит узелок с пожитками; из него высовывается ручка сковороды.

— Посторонитесь к краю дороги!

Автомобиль генерального штаба обгоняет солдат. На подушках, обеими руками придерживая кэпи, подпрыгивает краснолицый французский генерал.

А там, за деревней поджидали пустыня, ночь и пекло

пушечной пальбы. Впереди стеной стояла черная пена. Налетел длинный снаряд, пронесся по небу и умчался к морю. Вся ширь лугов, рощ и деревень булькает под топотом солдатских ног.

— Хорошее место, нечего сказать! — промолвил Ла-Пуль. — Да еще приправленное этим проклятьем, которое валится с неба. Ни зги не видно!

Ветер дует с моря. Он дышит холодом и едким запахом водорослей.

— Отдых. Снаряжение не снимать!

Так оставались они долго-долго. Мало-по-малу стали ложиться на землю. Там, впереди пылает какая-то ферма и тихонько осыпается во мраке, как слишком пышно распустившийся цветок.

— Что с тобой? — спрашивает Ла-Пуль.

— Ничего, — говорит Оливье.

С ветром доносится запах цветущих бобов.

У изгороди тихонько напевает Марсилярг:

Мы полей золотых песню слушать пойдем...

— Дурные вести из дому, — говорит Оливье.

На заре, на фоне красного неба стали появляться солдаты с ящиками и свертками. Патроны, гранаты, шоколад, сыр, большие ножи для мяса, ведра с водкой.

Из ивняка выходит командир и идет по траве. Он только что встретил английского офицера с непокрытой головой, с привешенной к поясу каской. По полю бежит старый генерал, приехавший вчера в автомобиле. Они поджидают его. Потом втроем обсуждают что-то. Английский офицер показывает на краешек неба. Концом палки начинает он что-то чертить на земле. Командир и генерал наклоняются над его чертежом. Генерал приподнимает кэпи и всей пятерней чешет свой лысый череп.

Английский офицер указал на краешек неба. На конце его вытянутого указательного пальца, там, вдали дымится угрюмый хребет холма.

Отправляются дальше, гуськом по краю дороги, сгорбившись, держа ружье наготове.

Остановка перед большой развороченной, выпотрошенной деревней, растерявшей в полях все свои кишки. Полдень. По дороге бежит какая-то женщина. Слева, остервенившись на хрупкую деревянную мельницу, летят большие снаряды. Они разрывают луг до темных недр, до воды,

и при взрывах сверкающими брызгами разлетается вода. Труп лошади запрудил ручей.

Ждали ночи. Капитан грузной походкой подошел прямо к Оливье и Ла-Пулю. В руке Оливье белеет письмо. Капитан, как вкопанный, остановился перед ним.

— Ребятки!.. — сказал он.

Ни звука не просочилось больше сквозь гущу его бороды. Он долго смотрел на них. За ним, во всей своей неотвратимости, вставала ночь. Лицо капитана озарялось лишь металлическим светом канонады.

— Вставай!

И следом за ним вступили они под железное небо.

— Кеммель!

В дыму проваливается куда-то лишенный всякой растительности кусок земли. Размахивая руками, бегут навстречу два английских солдата.

— Сюда, сюда! — кричит поручик.

Пробегая мимо, они делают какие-то знаки. Они выкрикивают какие-то слова, заглушаемые пушкой-револьвером, палящей с кеммельской колокольни.

Они относили гранаты.

— Нет, не туда! — говорят они.

— Мы свернули.

— При выходе из деревни стрелкам рассыпаться в цепь!

Раздвигая мрак, пыхтя, проносится снаряд. Под ним дол, деревья, какой-то парк, пруд, замок. Потом снова ночь, снова куда-то проваливается земля, трещат ветки, поет черепица крыш, пруд хлещет землю по щекам большой илистой рукою.

— Копай, — говорит Ла-Пуль.

Он лег около Оливье.

Огненная дубина, как било цепа, колотит с тыла по деревне и полям.

Солнечными стружками разлетается ночь.

— Они сейчас нагрянут, — говорит Ла-Пуль.

— Нет, — отвечает поручик, который лежит тут же.— Там впереди еще держатся англичане.

— Вперед! — доносится из темноты голос капитана.

Все вскакивают. Низкая изгородь бьет по животу.

— Стой! — говорит поручик. — Связь!

— Есть! — отвечает Барну.

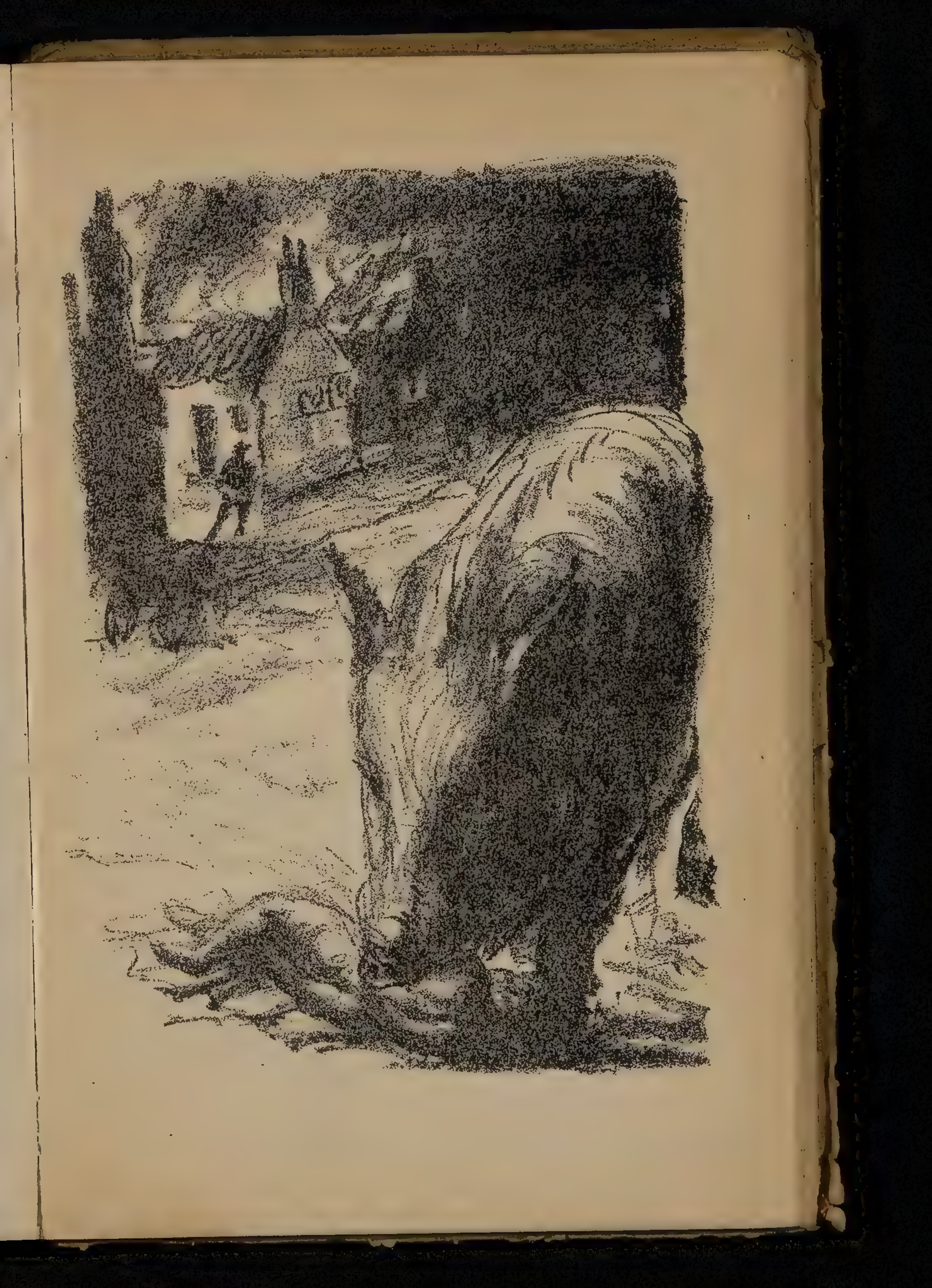
— А капитан?

— Ушел вперед.
— Пойди узнай, что там?
Барну бегом возвращается.
— Поручик! В ста метрах англичане. «Френч?» — спросили они меня. Я ответил: «Да».
— А по эту сторону?
— Ничего. Проволочные заграждения. Пройти нельзя.
— Французы? — спрашивает чей-то голос во мраке.
Это английский офицер. Медленно, подыскивая слова, он объясняет:
— Справа, в трехстах метрах, французский батальон.
— Итак, направо.
Придорожный откос.
— Командир Дус.
— Поручик Рейно, шестой роты.
— Вы знаете, где мы находимся?
— Нет, командир.
— Так, что же нам делать? Куда итти? Вправо, прямо, влево? Где передовые линии? Здесь? А ваш капитан? Где ваш капитан? Который час, поручик Рейно?
— Девять часов, командир.
— Атака должна была начаться в семь?
— Там впереди есть пустые траншеи,—сказал Барну.
— Что? Что он говорит? — спрашивает командир. — Так пойдемте туда. Быть может, это там.

День наступил как-то сразу. Гора Кеммель дымится со всех сторон, как угольная яма. Они у дороги, обсаженной ивами, уже тронутыми весной; почки доверчиво распускаются.

По веткам хлещут пули, трава вся изранена. Медленно спадает пруд. Видно, как он уходит в ямы и зарывается в землю.

Стаями пролетают снаряды, валятся наземь, подпрыгивают, срывают ветки, рычат, вонзаясь в землю, барахтаются в грязи, потом вертятся, как волчок, и остаются на месте. Лопатами роют землю от воронки до воронки. Под ногами все время этот пруд, который хочет куда-то уплыть и который, сам того не зная, течет то здесь, то там. Его отталкивают, бьют; он снова возвращается и стонет. Его бьют лопатой. Совсем близко падает снаряд. Ложатся на дно ямы, и пруд холодным своим языком тотчас же начинает лизать человека с ног до головы.



Наверху, в трехстах метрах виднеется мельница. Чуть полевей — небольшая груда камней. Там была голубятня.

— Вот он, вот он, поглядите, поглядите! — кричит Жоливэ. (За грудой камней прячется человек. Только что видели, как он приподнялся. Он виден был до пояса.) Скотина! Дайте-ка мне ружье, уж я его проучу!

Человек показывается. Жоливэ стреляет.

Минуту спустя человек снова показывается.

Жоливэ стреляет.

И опять минуту спустя человек снова показывается из-за камней.

При сигнальной ракете грянула атака и смела их, как горсть листьев. Жоливэ даже не вскрикнул; он поднес руку ко лбу как раз в тот миг, когда его каска взлетела в воздух, и повалился, повернувшись в сторону кучи камней.

Подпрапорщик Гривелло карабкается наверх, как кошка; на минуту, пригнувшись к земле, он замирает, потом выпрямляется.

— Назад! Назад!

Оглушительный удар в живот перешибает его пополам. Как два крыла, простерты его обагренные кровью руки.

Фляш, как куча мокрого белья, соскальзывает в яму.

— Вст!

Он ощупывает пах.

— Посмотри... Нет, самый край... Положи сюда руку... Беги!

Шармолля рвет кровью и вином. Он делает два шага вперед. Потом останавливается, чтобы поглядеть, что он выблевал. Ему вслед трещат ружейные выстрелы.

— А капитан? Капитан?

— Это агент связи, присланный капитаном.

— В атаку! В атаку! Вели им атаковать!

К хмельнику зигзагами, как кролики, бегут двое англичан; один из них комом валится на землю и остается на месте; другой бежит дальше.

— Поручик Рейно, теперь я командую! Капитан убит!

Агент связи не шевелится; он сидит на корточках; в тисках ног и рук у него зажат бидон с водкой. Голова у него продырявлена. Длинной нитью свисает с его губ кровавая слюна.

Оливье швыряет гранату.

— Ух!

— Ложись!

Два пулемета когтят людей и землю.

— Вперед!

Поручик бежит, опустив голову. Он зарывается головою в землю. Он так и остается там. Мгновение спустя он начинает корчиться, потом вытягивается и застывает, лицом к небу, с открытым ртом.

Ползком приближается капрал.

— Ты кто?

— Барну.

— Ладно. Командую теперь я. Ты, ты кто?

Он ощупывает солдат, их грудь под амуницией.

— Переведи их туда, в яму.

— Это мертвые.

— Вперед!

Оливье уж не шевелится. Рядом с ним роет землю пулемет. Минутное затишье. Ветер относит в сторону крики и треск петард.

Справа дерутся остатки 140-го.

Там, впереди качается маленькая травка; сильно упершись рукою, Оливье придвигается к ней.

Отсюда ему видно высокое, как гора, тело: чья-то спина.

— Ла-Пуль?

Гора не дышит. Она слишком выперла над землей, это наверное, мертвец.

Оливье ползет под прикрытием этого тела. Он дергает его за шинель. Да, это мертвец. Он падает на Оливье, и изо рта у него вываливается сгусток крови. Это капрал. Борода у него уже смешалась с прахом.

Оливье ползет. Рука его упирается в какой-то ком холодного мяса... Капитан!

Он весь разодран и выпотрошен. Он впился зубами в свою руку.

— О! — кричит стоящий посреди поля солдат.

— Ребятки!.. — сказал он.

Он стоит во весь рост. Он такой высокий, что касается неба.

— Шабран, вставай! Все кончено.

Оливье медленно поднимается и осматривается кругом.

— Как? Все кончено?

Он стоит рядом с Ла-Пулем. Перепрыгивая через

трупы, приближается к ним еще один солдат. Это — Барну.

Все кончено. Великая тишь. Ни звука. Сразу наступила такая тишина, что слышно, как ступает по земле дым.

— Что это? — спрашивает Оливье.

— Вот, — говорит Барну. Он показывает рукой на этот клочок земли, на хребте Кеммеля, на котором они стоят и который со всем грузом лежащих на нем мертвецов мирно купается в небе. — В живых нас осталось только трое.

Внизу в долине, по лугу бегут какие-то серые люди.

— Они атакуют!

Они атакуют без заграждений, без пулеметов, без ружейной стрельбы. Вся местность перед ними опустошена.

Одни только трупы, развороченная земля да пылающая деревня. На лугу, запутавшись в своих вожжах, пляшет обезумевшая лошадь.

Из всех ям, из всех долов, просачиваясь на широкий простор равнины, уходящей к Байелю, катит свои волны большое неприятельское стадо.

— На дорогу! — кричит Ла-Пуль.

Дым пожаров стелется по земле. Французский солдат без амуниции выбегает из дыма. Вихрь горящих угольков шипя проносится в воздухе.

— Барну!

— Шабран!

Они прыгают от воронки к воронке. Позади, в двухстах метрах от них вступает на траву первая волна серых солдат. Они устали. Ружья болтаются в повисших руках.

Они входят в деревню.

— На дорогу! — кричит Барну. — Мы спасены!

Вот она, в ста метрах от них, курчавящаяся деревьями, бегущая от рощицы к ферме дорога. Идет мелкий дождик. Из-за облаков показываются четыре аэроплана с черными крестами. Они спускаются, как ласточки, так низко, что задевают брюшком землю; они, точно щелкая клювом, палят из митральезы.

— Передохнем, — говорит Ла-Пуль.

Страшная молния сметает высящийся впереди плетень... Вылет ядра.

Это английская батарея: колеса, обломки трубок, пустые патронные гильзы, снаряды, как коконы гусениц;

лошади со вспоротым брюхом, с вывороченной шеей; солдаты, зарывшиеся лицом в землю; обращенные кверху, черные, точно кусающие небо лица; одинокая нога; какое-то месиво из мяса; человеческий мозг на ободе колеса.

И посреди всего этого палит пушка. Она обслуживается двумя оголенными до пояса артиллеристами. Они наступают на труп офицера. Чтобы приподнять вдвоем снаряд, они тяжелыми сапогами топчут лицо офицера.

Над батареей разрывается крупный снаряд. Никто не слышал его приближенья. Барну свешивает голову. Он пытается пощупать ее рукой; рука не идет дальше плеча и тихонько опускается. Он падает на Оливье.

Из простреленной головы фонтаном хлещет кровь.

— На дорогу!

Дорога — точно вымерший ручей. Она завалена обломками повозок, лошадиной и человеческой падалью; в канавах валяются пушки, пулеметы, разодранные листы железа, пивные бочки, ящики с галетами, сдобные булки, мешки с табаком.

— Напрямик, полем!

Два раза уже Оливье останавливается, чтобы поглядеть себе под ноги. Что это течет там, между ног? И всюду под травой луга текут, точно воды орошения, и такие густые, что видны проложенные ими борозды. Да это крысы! потоки крыс! Крысы всех этих охваченных пламенем стен, всех развороченных чердаков, всех разрушенных деревень, крысы — завсегдатаи бранного поля и трупов, смешанные колебанием земли в широкий черный поток...

Вот там, на лугу выходят они из-под земли, высовываются над насыпью и дрожат, блестя, как смола, во всех выбоинах пашни.

Какая-то шалая повозка прыгает по полю без возницы, увлекаемая парой белых лошадей, которые бешено несутся вскачь. Повозка накреняется, досчатой стенкой задевает траву, ложится набок и опрокидывается наконец, взметнув облако пыли и водяных брызг. Ее торчащее в воздухе колесо еще вертится полным ходом; лошади, лежащие в оглоблях, продолжают скакать по небу, попирая его всеми своими копытами.

— Эй! — поднимая руку, кричит Ла-Пуль.

Они сразу обрывают свой бег. Как раз в эту минуту,

громыхая, содрогаются небо и земля. Страшное дымовсе и огненное дерево окутывает людей огромной тенью своей листвы. Взорвалась английская батарея.

Там позади, в тылу, из деревни выступают немцы. Над ними пляшет облако, как рука с растопыренными пальцами; рука эта сотрясает и клочьями выдирает небо; звездами сыплются ракеты.

— Налево, налево! — кричит Оливье.

Перед ними топчутся в траве три тяжеловоза, три убежавших крестьянских рабочих лошади. Маленькая голая лоснящаяся кобылка приплясывает перед своим жеребенком; она видит людей, она их поджидает; она подходит к Ла-Пулю, чтоб помотать головой, посмеяться и потоптаться по его следам. Жеребенок бочком подскакивает к Оливье.

Со всех разрушенных ферм разбрелась скотина. Она столпилась на опушке леса или в ивняке, или среди деревьев, или, переминаясь с ноги на ногу, дрожа стоит под навесом.

Ла-Пуль, Оливье, кобыла, жеребенок и три земледельческих лошади рысью свернули налево, и вся скотина встала и сбежалась навстречу людям.

— Вперед, Шабран, вперед!

Оливье сбросил шинель и куртку; крыльями развевается вдоль рук его разодранная рубашка.

— Вперед! Вперед! Ну, как ты, ничего?

— Ничего.

Сноп снарядов разрывает над ними облака.

— Жеребеночек! — кричит Оливье.

Он бросается на жеребенка и валит его рядом с собой на землю.

— Теперь вперед!

На склоне луга высится разлатая ферма.

Ла-Пуль верхом на рослой лошади, сопровождаемый овцами и козами, направляется к деревьям. Оливье подкарауливает кобылу. Она, мотнув задом, увертывается от него; галопом пускается к ферме; точно плывет к ферме в волне своей растрепанной гривы. Оливье бежит за нею.

Вдруг, всеми четырьмя копытами врывшись в траву и пятясь всем телом, она останавливается. Тяжело дыша, смотрит она в землю. Оливье тихонько подходит к ней.

Это ферма с маленьким навесом, обвитая по всему фасаду глициниями. Через дыру содранной с петель двери выблевывает она шерсть матраца. У стены, вытянувшись, лежит молодая женщина с обнаженными грудями и рассеченной саблей головой.

Оливье медленно приближается, низко опустив голову. Лошадь тяжело дышит. Она смотрит на куст мяты. Тут же свинья; она роет землю, что-то раздирает и жрет. Все рыло у нее в крови.

— Эй, ты! — кричит Оливье.

Свинья приподнимает голову; она жует мясо. Красными глазками смотрит она на Оливье; она морщит рыло; она, как злой пес, скалит зубы. Оливье делает еще два шага к ней. Кобыла бьет копытом по траве.

Под ногой у свиньи голый мертвый ребеночек. Она выхватила у него плечо, выела всю грудь. Она наклоняется к его еще белому животику; она вгрызается в него; она громко чавкает, проглатывая кишки.

Оливье хватается за карман. Кричать он не может. Он дрожит всем телом. Он вытаскивает свой большой деревенский нож, которым режут хлеб и сыр. Пальцы его, сжимающие роговую рукоятку, уже не дрожат.

Свинья глядит на него. Она делает шаг вперед к нему навстречу. Она ворчит. Он онемел. Он сжимает нож, она приближается. Он ждет. Потом он прыгает на свинью; он замахивается; нож сразу входит в тело. На его зажатые пальцы хлещет кровь. Он уже под нею... Свинья ударом головы сшибает его с ног и валит наземь. Она впивается зубами в его плечо. Он вытаскивает нож; он всаживает нож ей в горло и еще раз в горло, и еще, и еще, точно заступом взрывая землю: тело, в которое он вонзается, шипит, как горящие угли, заливаемые водой. Еще и еще раз, что есть мочи! И в брюхо со всего размаха! Он ослеп от крови, он весь в крови, он оглушен ревом и храпом, и все бьет, бьет изо всех сил; глаза у него слиплись от крови; он видит сверкающее лезвие ножа, и опять бьет и бьет.

Вокруг них, взметая комья земли, пляшет кобыла. Наконец обеими руками сверху донизу раздирает он горло свиньи.

С минуту он лежит и полной грудью вбирает в себя воздух. Там, наверху небо, немножко небесной синевы и

легчайшее, медленно проплывающее мимо облако. Покой. Тишина.

Он приподнимается. На траве истекает кровью разодранная свинья. Он глядит на глицинии, на мертвую женщину, на кобылу...

Он весь в крови. Он шевелит плечом. Ничего, только кожа ободрана. Он подзывает кобылу:

— Маленькая, маленькая!.

Она, дрожа всем телом, подходит к нему; она останавливается перед ним. Он всей пятерней ухватывается за ее гриву и, навалившись ей на спину, выезжает со двора на луг.

Ла-Пуль возвращается на крупном вороном жеребце. Оливье, навалившись на спину белой кобылы, мчится вниз по лугу...

— Ранен?! — всплеснув руками, восклицает Ла-Пуль

— Нет, — кивает Оливье.

Он чувствует под собой живительное тепло кобылы.

— Я сражался со свиньей: она слопала ребеночка.

— Живо! — говорит Ла-Пуль. — Гони вскачь! Они уже за Ремингельстом. Там они, вон там, там...

С трех сторон пожирает день бахрома огня.

С высоты лошадиных спин Оливье и Ла-Пуль видят пустынную местность.

Пылающие овины исходят густым рыжим дымом. Качаются засеянные бобами поля, точно собираясь стряхнуть с себя в каналы и канавки цветочный свой груз.

Низко, к самой земле клонится ивняк. Дымится и трещит развалинами своих стен Стенворд. За пределами этого городка в волнистых полях пенится поток бегущих оттуда людей и животных.

Ныряя то вправо, то влево, дырявит облака аэроплан и падает, распластав крылья, в ивняк. Справа взрывают луг крупные снаряды. Колокольня Стенворда рушится; подпрыгивая в мусоре, звонит колокол.

— Галопом!

Пригнувшись к лошадям, несутся они среди деревьев, огня и вскидывающихся земляных комьев.

Миновав Стенворд, они сошли с лошадей. Оливье оставил на кобыле следы крови.

— Иди, маленькая! — похлопывая ее по крупу, сказал он.

Она ускакала со своим жеребенком. За нею следом — рослый жеребец. За ними рысцой побежали прятавшиеся за плетнем две овцы.

Оливье и Ла-Пуль идут по лугу, напрямик, к высящемуся перед ними горбику Мон-Касселя. Немцы еще там, далеко за Стенвордом. Широко открыта перед ними вся местность. Все голо.

С часами в руках идет по дороге священник. Проносится вскачь английская пушка; французские артиллеристы подстегивают лошадей. Без шинели, с непокрытой головой шагает по траве полковник. В левой руке у него открытая коробка сардин. Он макает в нее хлеб и жадно набивает им себе рот. Согнувшись за деревом, зажигает английский офицер трубку. Все это направляется к Мон-Касселю.

Оливье и Ла-Пуль изнемогают под бременем этого тяжелого послеполуденного часа. Куда ни глянь, всюду без боя продвигаются немцы. Не слышно уже никакого шума кроме рокота людских толп, шагающих по траве, по камням, среди деревьев.

— На этот раз все лопнуло, — говорит Ла-Пуль.

На губах Оливье, только в самых уголках, показалась бледная улыбка.

— Тем лучше! Лишь бы все кончилось.

И вдруг там, впереди, в то время как стали никнуть деревья под мощным красным дымом, отделяющим небо от земли, все зашумело, засверкало и затрещало.

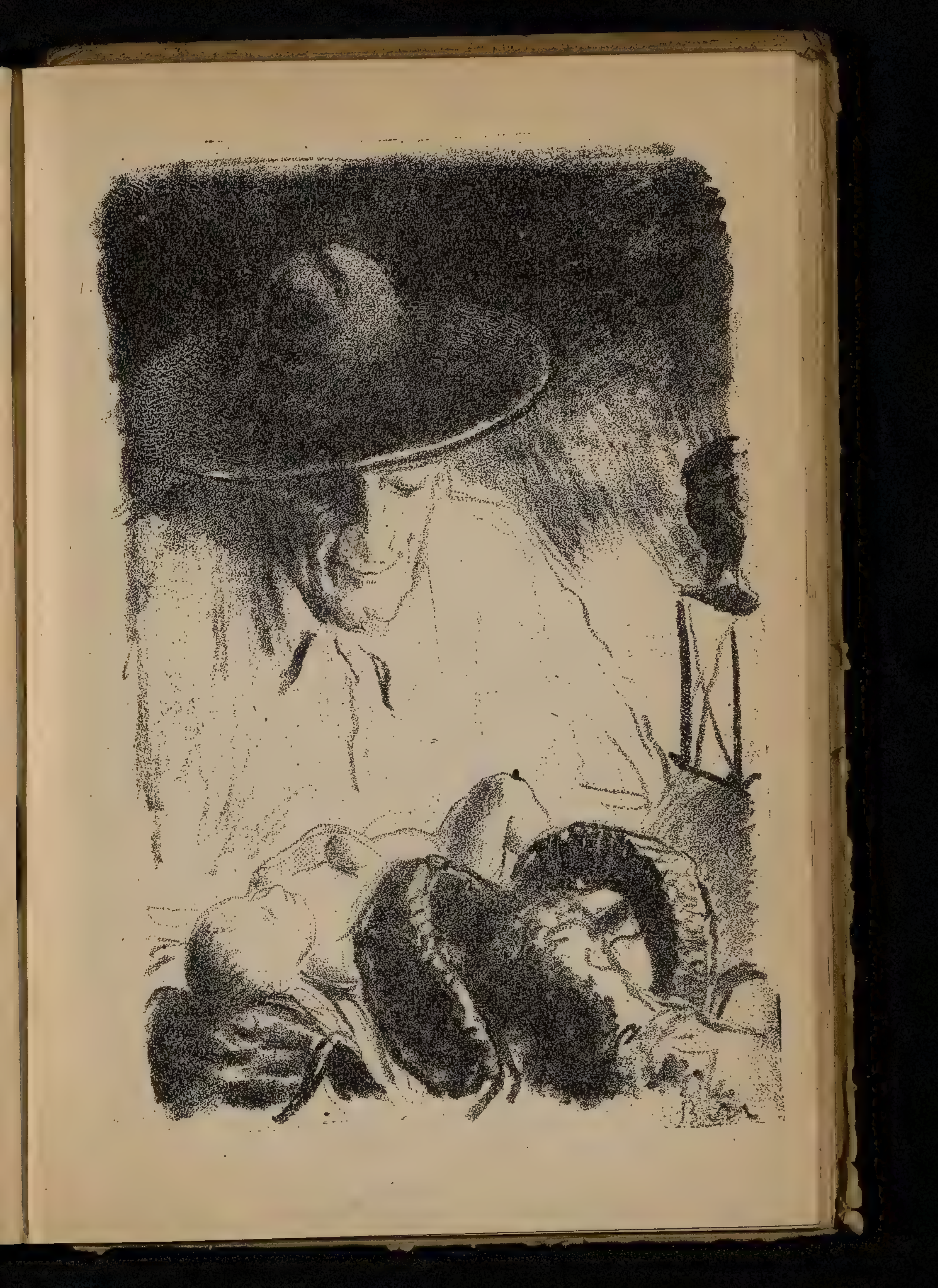
— Влево, стрелки, рассыпься в цепь!

Из хмельника вышли альпийские стрелки, чистенькие, розовенькие, свеженькие, новенькие, и, позвякивая железом, развернулись цепью. На ружейных стволах у них штыки. Не обремененные ранцами, с привешенными к поясу гроздьями гранат, зашагали они легко и весело, высоко поднимая ноги в мокрой траве.

— Налево, стройся!

Другая волна солдат, пенясь, катится по полю. Из рощ хлынули голубые пехотинцы. Оливье простирает к небу свои обнаженные руки.

Развернувшись на сто метров в ширину, во весь опор мчится большая английская батарея; все новенькое: люди, пушки и лошади; вычищенная скребницей шерсть лоснится, как намасленная.



Сноп красных аэропланов взлетает над Касселем и тонет в дыму.

Шурша материей, проносятся в тюрбанах и развевающихся шарфах уланы.

— Красавчики! — стиснув зубы, бормочет Ла-Пуль.

— Налево, стройся!

Роща выблюнула из себя одну за другой несколько колонн альпийских стрелков. Подойдя к полю, колонны механически, точно на шарнире, развертываются; они продвигаются вперед, сметая все на своем пути.

— Налево, стройся!

— Цепью!

— Батарея! Батарея!

— Вперед!

— Если ты воображаешь, что все это скоро кончится... — говорит Ла-Пуль.

Сидя на навозной куче, играет на волынке шотландец.

— Какого полка? — проходя мимо Оливье, спрашивает сержант-стрелок.

— Сто сорокового.

— Убитых много?

— Все.

Флейтисты, пятясь, выступают перед английским полком Они наигрывают за тополями какой-то медленный пронзительный мотив. Музыка хватает солдат прямо за брюхо, под скрещивающимися ремнями, и тащит их вперед.

Они идут, тяжелые, как быки, понурив голову, глядя себе под ноги. Когда они уже пошли полным ходом, флейтисты ускользают, пропускают отряд вперед, а сами идут позади него.

Мерно, как поток воды, льется барабанная дробь. За стенами фермы, как горящие угли, трещат рожки; звуки рожка срывают со вспаханного поля кучу бельгийцев в длинных шинелях; за деревьями во весь опор проносятся кавалерийские трубы. Ржут кони; за драгунами, свободная и шалая, скачет белая кобыла Оливье. Куда ни глянь, на необозримом просторе равнины огромным веером, в который вклинены деревья и фермы, развернулись артиллерийские батареи.

Плотная, как поток грязи, продвигается английская пехота, и голубое стадо французских солдат скользит по траве и холмам, навстречу дыму.

— На убой, — говорит Ла-Пуль.

На самом горизонте, там, где небо сливается с землей, уже потрескивают митральезы, как масло на сковороде.

БЛАГОСЛОВЕННА ЖИЗНЬ

У дверей Гардетт стояла Юлия, она не решалась войти.

Из освещенной комнаты донесся протяжный стон: долгий-долгий и постепенно усиливающийся...

Тогда Юлия попросту вошла. Она протянула вперед руку, как бы для приветствия, но в то же время для защиты от Оливье, который при виде ее сразу вскочил, опрокинув стул.

— Успокойся, — сказала Юлия. — Это должно было кончиться. Жозеф оказался разумнее тебя. Он сказал мне: «Поди туда, и пусть все это будет кончено».

— Поздно, — стиснув зубы, сказал Оливье.

Протяжный стон ползет по лестнице.

— Послушай, — говорит Юлия, — еще не поздно. Впусти меня...

— Входи, Юлия, — говорит дед. — Там котелок, а здесь вот — соль. Приготовь все, как у себя дома. А ты, мальчик, садись. Пусти ее, она права. Первый шаг не должен был даже исходить от Жозефа, а от тебя самого... В бессердечности никто никогда Шабранов упрекнуть не мог. Садись!

— Спасибо, папаша, — сказала Юлия.

Она снимает с крюка котелок, перевешивает его пониже, подкладывает в огонь сухого вереска, дует; пламя лихо вскидывается кверху.

— Так, так, — говорит Юлия и дует еще пуще.

— Поди-ка наверх, Юлия, — говорит папаша. — Посмотри, скоро ли там, или как? Мне надо сходить к лисьему капкану. Там недавно я слышал визг.

Юлия возвращается.

— Через часок приблизительно, — говорит она. — Все идет отлично. Она молодец.

— Так я мигом сбегаю туда, — говорит папаша.

По ту сторону очага, под распахнутым в летнюю ночь окном, в корзинке спит девочка. Большая ее голова всей тяжестью своей вдавливается в подушку. Одеяло откинуто: с корзинки свисают две тощих, две безжизненных ножки. Оливье глядит на эти ножки.

— На этой-то на всю жизнь останется след.

— След нашего времени, — стоя на коленях перед огнем, говорит Юлия.

— След вашей жестокости, — говорит Оливье.

Юлия выпрямляется; руки ее подымаются в усталом жесте человека, протестующего против чего-то непререкаемого.

— Не моей, — бормочет она.

Оливье продолжает глядеть на жалкие маленькие ножки.

— Знаю, Юлия, — помолчав, говорит он. — Она рассказала мне все. Знаю, что ты действовала от чистого сердца и из желания помочь. Только направлено оно было в дурную сторону, вот и все.

— Что делать, Оливье! Все мы растерялись. А кто написал тебе письмо?

Оливье поднимает голову. Он смотрит на Юлию. Она стоит перед ним, как подсудимая.

— Спасибо тебе, Юлия!

Слышно только бульканье кипятка в котелке.

— Спасибо тебе! Благодаря этому мне удалось спасти их обеих. Благодаря этому мне удалось спасти, быть может, всех вас... Взгляни-ка, Юлия...

Он протягивает к ней правую руку. Он разжимает кулак. На руке осталось всего лишь три пальца: большой, указательный и мизинец; середка выхвачена, точно плугом.

— Ночь после Кеммеля, — говорит он. — Ты не знаешь. Никто не знает. Но тебе-то я расскажу. Нас было двое. Опять начиналась заваруха. Ночью под опрокинутой повозкой вдруг показался свет. Между колесами натянут был холст палатки, и там светился огонек. Мы подошли. Слышно было, как разговаривают там люди: «Ну, что же, как там у тебя?» — «Не ахти как. Я получил письмо: у ребенка корь, и жена моя некрепкая. Она ходит на поденную». — «Ну-ка, выпей, все пройдет». Тогда я заглянул в щелку палатки. Он был один. Там, внутри был только один человек. Он разговаривал с собственными своими заботами. Он подливал себе вина...

Оливье поднял свой одинокий указательный палец.

— ...Он сражался в собственной битве. Эх, другая-то битва вокруг уже началась! Но это была не наша — не

его и не моя битва. Ничья! Ну, так вот, слушай, Юлия, хорошенько слушай... О, это сделалось просто, само собой! Это было понято сразу, с полуслова. Я шел ночью вдвоем с другим солдатом, звали его Ла-Пуль. При мне было твое письмо, и я сказал Ла-Пулю: «Она беременна, и вот ее бьют ногами в живот... Об этом пишет мне золовка. Тошнехонько мне, как тому, под тележкой...» Так вот, слушай, что я тебе скажу: ты одна будешь это знать. Посмотри на мою руку. Я спустился в яму, вырытую снарядом. Ла-Пуль, с ружьем в руке, спустился в другую яму, метрах в десяти от меня. Я зажег свою зажигалку: я поднял над ямой руку с горящей зажигалкой, и он выстрелил мне в руку.

— Господи! — восклицает Юлия.

— Да, так надо было. Для всех.

— Ну, вот! — входя в комнату, сказал папаша. — Вот что она оставила нам.

Он швырнул на стол лисью лапу.

— Западня прищемила ее как раз в этом месте. Лиса собственными зубами перегрызла себе кость. И все-таки вырвалась из западни. Какова смелость! Вот это мужество!

На непокрытом кухонном столе Юлия приготовила кучку крупной соли: кучку белую, сухую и все-таки живую в своей сухости и едкости. Этой солью омоют младенца, когда он родится.

Оливье смотрит на нее. Давно ли такая же кучка лежала перед ним символом всего, что осталось от человека!

Чей-то голос спрашивает за дверью:

— Здесь еще живут Шабраны?

— Здесь, — круто обернувшись, отвечает папаша. — Здесь, попрежнему. Да кто это спрашивает?

Входит какой-то человек. Он снимает шляпу.

— Тот, кто спрашивает, не здешний. Но он вспомнил Шабранов. Привет честной компании!

Он поднимает руку в знак приветствия.

— Это какой-то пастух, — увидев плащ и посох, говорит папаша.

— Нет, — отвечает человек, — не какой-то пастух, а пастух тот самый.

Папаша пронзительно смотрит на него из-под бровей.

— Тома? Я узнаю тебя.

— Ну да, — говорит Тома, — он самый, живехонький перед тобой. Тебя сбила с толку моя новая куртка?

— Нет, Тома. Садись. Сбрось поклажу. Будь, как дома. Нет, не новая твоя куртка сбила меня с толку, а годы, слишком тяжелые годы, которые пролегли между нашими встречами. Но поверь мне, как только кончилась война, я стал поджидать тебя. Уже в прошлом году, когда стада потянулись на горные пастбища, я подумал: «Если Тома еще жив, он придет за своим бараном». Потом я подумал, что ты уже умер.

— Нет, я не умер, — сказал пастух. — Не могу же я умереть в Кро!

С минуту он, не говоря ни слова, шершавой рукой легонько чистил синий ворс своей новой куртки.

— Вот для этого я и поднялся в горы. В последний раз.

— В последний раз в этом году, — улыбаясь, сказал папаша.

— В последней, Шабран, — сказал пастух. — Не те уже ноги, не то дыханье, уже стали забываться слова, и воля гниет, как застоявшаяся вода. Я сказал хозяину: «Окажите мне милость, пустите меня в горы, не старшим — для этого я слишком стар, а просто так, сопровождать». — «Здесь за тобой будет лучший уход», — сказал он мне. Потом он понял меня: «Ладно, Тома, иди», — и пожал мне руку. Я попрощался с дочкой хозяина, с хозяйкой, с ребеночком фермерши. Я догнал стадо в Салоне... И вот — я здесь.

— Долги платить да помирать — всегда успеешь, — сказал папаша.

— Не всегда удается умереть во-время, — сказал пастух. — Надо пользоваться минутой.

— Юлия, раз ты нынче здесь хозяйка, подай-ка стаканы. Пузатая бутылочка в стенном шкафу, справа.

Все трое они встали.

— Красавец-мужчина! — положив руку на плечо Оливье, сказал пастух.

Юлия подала им стаканы; она налила им всем по порядку: пастуху, папаше, Оливье. Вот стоят они рядом, и стаканы с водкой дрожат в их руках.

— За дружбу! — сказал папаша.

Пастух осматривается кругом: Юлия, Оливье, корзинка, из которой высовывается голова Амели-Жанны.

— А семья-то ваша разрослась.

— И в горе недостатка не было, — сказал папаша.

— Жизнь делается кровью, Шабран.

Из верхних комнат несется громкий, пронзительный стон. В женском голосе тянется длинный острый шип жалобы, шип, который мог бы разодрать весь мир.

— Так, значит, не эта твоя невестка? — указывая на Юлию, спрашивает пастух.

— Нет, моя-то наверху, за работой.

— Понял. Этот стон, дедушка, мне знаком. Это вопль надежды... Не обращай внимания. Я иногда говорю такие вещи. Меня иной раз принимают за сумасшедшего.

Он поворачивается к Оливье.

— Сынок, — говорит он, — если то, что я вижу там, в корзинке — девочка, то желаю тебе теперь сына, такого же, как ты сам, не более, не менее. На таком-то можно строить жизнь!

— Юлия, Юлия! — кричит на лестнице мать. — Иди скорей, пора!

— Пойдем, — обхватив Оливье за плечи, говорит папаша. — Идем и ты, пастух. Посмотрим пока что на барана.

Они открывают дверь конюшни. Оливье поднимает фонарь.

— Арлатэн! — окликает пастух.

И тотчас же баран ответил на этот голос хриплой любовной песенкой. Видно, как из этой светящейся тени, где колышется пар гнилых листьев и овечьего пота, робко выступает и подходит к освещенному кругу баран. Свет ныряет в шерстяную бурю этого рыжего руна. Он уперся в водоворот разлатых рогов. Вот он стоит, баран, в полумраке, точно окутанный морскими волнами.

Пастух медленно опускается на колени.

— Вот я и нашел тебя, — говорит он вполголоса. — Поди сюда, мой маленький, поди, лучезарный, как день, о курчавый мой, о мой Арлезианец! Ты, наводивший ужас на стаи тунцов, когда я прогуливал тебя по берегу

моря. Солнышко мое! Если бы теперь ты вышел из волн морских, все воскликнули бы: «Вот он, прибывший из Египта!»

Баран подходит поближе. Он поворачивает голову, чтобы удобнее устроить свои рога. Он кладет морду на шею пастуху, он дышит полной грудью, время от времени похрапывая от радости.

— Ты хорошо за ним ходил, — говорит пастух.

— Спасибо, — говорит папаша.

— Лучше, чем я.

— Нет, не лучше тебя. Это благодарное животное: посмотри-ка на всю эту семью вокруг него. Он заждался тебя. Он оставляет нам четырех котных овец.

Пастух поднимается с колен.

— Шабран, — говорит он, — здесь, у тебя на соломе, прижавшись к своему барану, я спокойно почувствовал холод смерти. Помнишь ли ты тот день, когда я ушел от тебя?.. Я-то помню, потому что он каленым железом выжжен во мне. Ты сказал мне: «Спасибо, что ты показал мне, что сердце у тебя жалостливое». Вспомни, папаша. Ты считал меня жестоким. А я думал, что поступаю правильно, — ведь всегда боишься показать ее, свою жалостливость. Это печальная истина. Никогда не надо вести стадо на убой, как вел его я по дорогам! Лучше уж отречься от людей. Ну, да оставим это...

Из дома сквозь шум листвы доносятся крики: «Оливье! Папаша! Идите!» И всякие другие радостные возгласы. Мать открыла окошко и зовет; и окрепший голосок Мадлены тоже что-то кричит из глубины комнаты.

— Идем, идем! — говорит папаша.

— Цел? — из ночной темноты спрашивает он женщин.

— Красавец! — отвечают ему.

— Позволь мне уйти, — говорит пастух, — я не обижусь. У вас теперь веселые заботы.

— Оставайся, пастух, — говорит Оливье. — Это я, отец ребенка, прошу тебя об этом. Сперва нас постигло горе: девочка, которую ты видел, не владеет ногами. Быть может, на этот раз счастье посетит наш дом. Оставайся. Ты поможешь нам своим опытом.

— Охотно.

Юлия стоит на пороге. Передник ее весь чем-то наполнен.

— Что это? — в один голос спрашивают папаша и Оливье.

— Хороший мальчик.

— Покажи...

Она широко раздвигает передник, и в нем на охапке травы лежит голый младенец.

Папаша кладет руку на маленькое новое тельце со следами крови в складочках и всей пятерней щупает его между ножек.

— Да, это уж наверняка мужчина. У него все на месте.

Приближается баран и подходит обнюхать младенца, как ягненка.

— Пусть его! — говорит пастух. — Это хорошая примета, когда при рождении присутствуют животные. Одним зверком на свете больше стало... Что же, мальчуган, хочешь, чтобы я принес тебе дары пастухов?

— Да, — говорит Оливье, — дайте их ему, чтобы счастье было на нашей стороне.

Пастух берет младенца в свои, сложенные корзиночкой руки.

Он дышит на ротик ребенка.

— Зелень трав, — говорит он.

Он дышит ему в правое ушко.

— Шум мира, — говорит он.

Он дышит ему в глаза.

— Солнце.

— Поди сюда, баран! Дохни на этого маленького человечка, чтобы он был, как и ты, вожаком, чтобы он был человеком, идущим впереди, а не плетущимся сзади.

«А теперь мой черед.

«Дитя, — сказал пастух, — всю жизнь я был пастырем стада. Тебя, малыш, благодаря радушию твоего отца, встречаю и приветствую я в тот миг, когда ты вступаешь в большое людское стадо.

«И прежде всего говорю тебе: вот ночь, вот деревья, вот животные, и скоро ты увидишь день. Ты знаешь все.

«И еще добавлю я:

«Если услышит меня небо, тебе дано будет любить медленно и упорно во всех твоих любвях, как человеку, идущему за плугом и с каждым днем все глубже и глубже вонзающему его в землю.

«Никогда не будет литься вода из твоих глаз, но, как виноградник, всю влагу свою будешь ты отдавать тому, к чему призовет тебя судьба, и у ног твоих расцветет жизнь, и грудь твоя покроется мхом, и все вокруг тебя будет дышать здоровьем.

«В ширину своих плеч проложишь ты свой путь.

«Тебе дана будет великая легкость зачастую нести на своих плечах ношу других, быть родником на краю дороги.

«И ты будешь любить звезды!»

— Молодец! — глухо говорит дед.

— Он простудится.

— Брось, женщина, брось! Надо, чтобы сию же минуту он почувствовал, что такое надежда!

Пастух на вытянутых руках высоко поднимает над своей головой младенца.

Глядя на горизонт из-за больших ветвистых рогов, урчит баран. И там, вдали, точно от этого ласкового урчанья, проясняется ночная темень.

В полночном небе восходит звезда.

ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА

ХОЛМ

Четыре дома, до черепиц обвитых цветущим ятрышником, выступают из густых и высоких хлебов.

Между холмами, там, где плоть земли собирается в жирные складки.

Заячий горох в цвету сочится кровью под оливами. Пчелки пляшут вокруг клейких от сладкого сока берез.

Переливающаяся через край вода источника поет двумя ручейками. Они падают со скалы, и ветер разбрасывает их брызги. Они бурлят под травой, потом сливаются и текут вместе по тростниковому ложу.

Ветер гудит в платанах.

Белые Бастиды.

Остатки деревни на полпути между равниной, где храпят и грохочут паровые молотилки, и великой пустыней, заросшей лавандой, — краем ветра, в холодной тени Люрских гор.

Земля ветра.

И земля зверья также.

Уж выглядывает из пучка лаванды; белка, подняв султаном хвост, скользит, как жолудь в руке; ласка высовывает мордочку на ветер, капля крови блестит на конце ее уса; лисица читает в траве путь куропаток.

Кабаниха хрюкает под можжевельником; кабанята с ртом, полным молока, настораживают уши на большие деревья, которые машут ветвями.

Потом ветер убегает за деревья, тишина объемлет листву, и они, похрюкивая, ищут рылом сосцы.

Зверье и жители Бастид встречаются у родника, у воды, которая течет со скалы, давая такую отраду языку и шерсти.

С наступлением ночи в пустоши, ползком и ступая мохнатой лапой, пробираются к ней — певучей и свежей.

И днем также, когда жажда становится нестерпимой.

Одинокий кабан втягивает воздух, посматривая в сторону ферм.

Он знает час полуденного отдыха.

Делая большой крюк, бежит он рысью под листвой, затем кидается стремглав с ближайшего пригорка.

Вот он. Он барахтается в воде. Грязь облипает его брюхо.

Прохлада пронизывает его насквозь, от брюха до хребта.

Он грызет родник.

У его кожи колышется приятная свежесть воды.

Но вдруг он отрывается от наслаждения и вскачь несется к лесу.

Он услышал, как скрипнул ставень на ферме.

Он знает, что ставень скрипит, когда его осторожно отворяют.

Жом стреляет наугад картечью.

Лист падает с липы.

— В кого ты стрелял?

— В кабана. Посмотри, — вот он там, сукин сын!..

Люр, спокойный, голубой, господствует над краем, загораживая запад своим большим бесчувственным телом горы.

Серые коршуны часто посещают его.

Они кружат целый день в воде неба, похожие на листья шалфея.

Бывает, что они отправляются в странствования.

А то дремлют, приплюснутые сильным ветром.

И Люр поднимается между землей и солнцем, и задолго до ночи его тень погружает в сумрак Бастиды.

В этих четырех домах — две семьи.

Семья Гондрана Медерика; он женат на Маргарите Рикар; тесть живет с ним.

Семья Афродиса Арбо, женатого на одной из Пертюи.

У них две девочки — трех и пяти лет.

Потом идут: Цезарь Мора, его мать, их батрак — парнишка из приюта.

Александр Жом; с ним живет дочь Юлалия; и потом — Гагу.

Итак, их двенадцать, да Гагу в придачу: с ним — чортова дюжина.

Дома обступают небольшую утрамбованную площадку — общий ток и место для игры в шары.

Мойня — под большим дубом.

Белье полощут в саркофаге из известняка, высеченном внутри наподобие завернутого в саван человека.

Углубление для трупа полно зеленой муаровой воды; она вздрагивает, когда ее задевают насекомые.

Эта тяжелая гробница украшена барельефом с женщинами, бичующими себя ветвями лавра.

Афродис Арбо, вырывая оливу, нашел в земле этот старый камень.

Дома подстать людям.

Дикий виноград опутал дом Жома и повис над дверью длинными галльскими усами вроде тех, которые висят над ртом владельца.

И все — как этот.

Нарядный — его красят охрой дважды в год — домик Арбо; дом Гондрана, Мора и Гагу.

И хибарка Гагу также подстать ему.

Он пришел в Бастиды три года тому назад, в летний вечер, когда кончали веять зерно на ночном ветру.

Тесемка стягивала его портки, он был без рубахи.

Отвисшая губа, мертвые, но синие-синие глаза; два больших зуба торчали изо рта.

У него текла слюна.

Его спросили; он ответил только: га-гу, га-гу, — повторяя два звука, как животное.

Потом заплясал, как обезьянка, болтая повисшими руками.

Дурачок.

Ему дали супа и соломы.

Бастиды были местечком в старину — в те времена, когда сеньоры из Экс любили подышать резким воздухом холмов.

Все их прекрасные дома разрушились и сравнялись с землей; только крестьянские дома стоят нерушимо.

Однако два высоких, поросших травой столба по ту

сторону мойни до сих пор обозначают въезд.

На столбах — земной шар, в капюшоне из мха, с латинскими надписями.

Железные ворота должны были охранять этот «каприз».

Балконы с животами богинь, террасы, где колыхались юбки и постукивал высокий каблучок.

В четырех метрах за столбами, как раз посредине, Гагу соорудил себе лачугу среди крапивы.

У него ловкие пальцы и есть сноровка. Он построил ее из жестяных продырявленных бидонов.

Он соскоблил траву с подножья столбов, и теперь можно прочесть знатную фамилию, вырезанную на обрамленной лавром табличке.

Город далеко; дороги непроезжие.

Когда ветер дует с юга, внизу слышен свист поезда и звон колоколов.

Это значит только, что будет дождь.

Из города, когда разрывается знойное марево, Белые Бастиды кажутся голубями, посаженными на плечо холма.

В прошлом году почтальон часто подымался сюда.

Почти каждую неделю. Сын Мора служил драгуном.

Теперь он вернулся; ему незачем больше писать; он кричит с площадки или с поля, а мать выходит и спрашивает:

— Чего тебе?

И почтальон больше не подымается.

Разве только иногда, в конце месяца, когда наступает срок платежа по облигациям, на которые подписались у нотариуса.

Да по правде сказать, его и не желают.

То, что идет из города, плохо: ветер с дождем и почтальон.

Никто не спорит против этого.

Куда лучше ветер с пустыни Люр: он режет, как бритва, но зато погонят сорок и указывает тем, у кого есть смекалка, логовища, где хоронятся зайцы.

Дом Гондрана — последний со стороны равнины.

Его называют Монж, — может быть, потому, что он

одинокий и рыжий, как монах, может быть, потому, что он был когда-то скитом.

Кряжистые подпоры, круглая и низкая дверь действительно придают ему вид крепко сколоченного, неуклюжего дома кюре, — одного из тех кюре-полусводников, которые давали хлеб и сенник влюбленным, скрывавшимся, чтобы спокойно отдаваться любви.

Из четырех домов этот расположен лучше всех. Он караулит дорогу, видит холм. Он на самом краю склона, который спускается в долину. С его террасы видны до самого низу все петли дороги в Клеманту.

Сперва это был дом Жанэ — самого старого из бастидских мужиков. Жанэ уже тридцать лет как тут. Он поднялся на холм после того, как побывал на всех фермах равнины; его не хотели там больше держать: он дрался со всеми батраками. Приходилось по три раза в неделю бегать за жандармами и за бинтами. Тут умерла его жена; тут выросла дочь. Теперь ему под восемьдесят. Прямой, крепкий, как ствол лавра; бритое, словно из букового дерева, лицо прорезано едва заметной щелью тонких губ. Взгляд его маленьких выцветших вороватых глазок перелетает, как моль, с неба, по которому он угадывает погоду, на листву, где он заранее видит болезнь, на лица, где он, лгун и хитрец, подмечает хитрость и ложь.

Он продолжает жить в Бастидах, но не говорят больше: дом Жанэ, — говорят: дом Гондрана. Это его зять. Жанэ примирился с этим. Говорят: дом Гондрана, поля Гондрана, лошадь, телега, сено Гондрана. Гондран занял его место во всем. Он — широкий, высокий, красный; соха не кренится в его руках; ударом кулака по уху он свалил мула, когда тот вздумал кусаться.

В глубине души Жанэ затаил против него досаду. Особенно сердит он на дочь, так как это из-за нее пришел и занял его место другой.

С той поры, что бы она ни делала, все ему кажется плохо.

— В мое время умели варить бобовый суп.

— Заяц недурен, но ты набухала воды в соус.

Он был бы счастлив, если бы ее колотили.

— На твоем месте, — говорит он зятю, — я бы дубасил ее по заднице.

— Ладно, ладно! — смеется Гондран.

Толстая Маргарита семенит на коротких ногах и с добродушной гримасой поднимает брови:

— Вам ведь никогда не потрафишь, отец.

Сегодня Гондран выходит на террасу. Одной рукой он держит бутылку и два стакана, другой — прижимает к груди флягу из тыквы, наполненную свежей водой; струя затекает в штаны. Он прилаживает стол ногой, ставит флягу, стаканы, потом, осторожно, бутылку.

Шесть часов вечера. Лето. Поют на мойне.

Взмахивая руками, он дважды вытягивает свое большое туловище, согнувшееся от работы заступом; в конце второго взмаха п..., как водится.

Садится; придвигает к себе стакан. Поднимает бутылку на свет. В ней до половины зеленая настойка, а на дне — свалявшиеся травы, листья, коричневые зернышки. Он сам делает абсент из белой полыни с холма, из аниса, который заказывает почтальону, и виноградных выжимок.

Капля по капле наливает воду. Сжав черной ручищей горлышко фляги, без напряжения держит ее, наклоняя к стакану.

Трубка; два клуба дыма. Потом неподвижный воздух доносит до него обрывки шума.

Гондран нагибается, не спуская глаз с поворота от Понш, внизу, в боярышнике: там видно все, как на ладони.

Он что-то увидел.

— Грита, он уж тут! — кричит Гондран по направлению к кухне.

Поднимается шарабан, переваливаясь в колеях с боку на бок, как медведица на ярмарке в Мартигах. Лошадка стучит копытом.

Мора тащит мимо вязанки оливы.

— Цезарь, иди, выпей стаканчик!

— Наливай. Я дам козам и приду.

Теперь колокольчик лошади звенит под самым откосом. Наконец экипаж появляется и скользит по площадке, как улитка. Лошадь знает порядки: она идет одна к водопою. К дому Гондрана поднимается человек.

— Эге! Что такое вы пьете? — с удивлением говорит он, входя на террасу.

И сейчас же прибавляет:

— Дайте-ка мне немножко.

Его уже ждал пустой стакан. Прежде чем он вошел, Гондран подмигнул Цезарю:

— Вот увидишь, какой он мастак пить!

Это доктор. Он рыжий и голубоглазый. Его левая бровь непомерно длинна и загибается на лоб, как маленький рог. Широкие волосатые руки покрыты веснушками.

— За ваше здоровье!

Он пьет, вытирает кустистые усы, потом:

— Ну, кто нездоров?

Гондран отодвигает стакан и кашляет. Пауза. Он опять кашляет, придвигает стакан, облокачивается и, наконец, произносит:

— Да тесть. Его схватило намедни ночью, когда мы поливали луг. Я поставил его в конце, чтобы он предупредил меня, когда начнет прибывать вода, а сам смотрел за щитами. Я заметил, он два или три раза заходил в дом выпить: при луне было видно, как он проходил. Потом он долго не шевелился. Я крикнул: «Жанэ! Эй, Жанэ!» Никакого ответа. Ничего. Сначала я почти не беспокоился, — я знаю его повадки: он ложится в траву и не просыпается, пока вода не начнет щекотать ему голову. Я ему сто раз говорил: «Когда-нибудь вы захлебнетесь». Но ему все трын-трава... Итак, он не отвечает. Я думаю про себя: «Что за притча? Удивительно, что вода туда еще не дошла». Впрочем, из-за этих проклятых кротовых нор никогда толком не знаешь. И прочищаю заступом канаву. Вода текла во-всю. Трава пела, как от ветра. Через минуту я опять кричу. Ни слуху, ни духу. Что за чертовщина! Я спускаюсь в обход. Со мной не было фонаря. Правду сказать, я испугался. Что, если ты найдешь его мертвым? В его годы!.. Он лежал, вытянувшись во весь рост, закоченелый. Вода была на палец от его рта. Одному было нелегко вытащить его оттуда. Я по колена увяз в мокрой земле. Мы уложили его. С тех пор он ест, пьет, жует табак, говорит, двигает пальцами и половиной рук. Остальное — мертво, как пень. Зайдите посмотреть его.

— Для этого я и приехал.

Доктор, смакуя, прихлебывает из стакана, приглаживает рог бровей, потом входит в кухню, где сейчас же раздается тусклый голос Маргариты.

— Ещё стаканчик, Цезарь?
— Еще стаканчик.
Доктор выходит.
— Ну, что же?
— Он стар. Сколько ему лет?
— Под восемьдесят.
— Кто доживет до таких лет, тому никакая медицина не поможет. Очищайте ему желудок. Давайте есть, что попросит. По-моему, долго он не протянет. Он любил выпить? Да?

Гондран улыбается, смотрит на Цезаря, потом на доктора.

— Любил ли выпить отец Жанэ? Большим выпивохой он, может, и не был, а по шести литров выдувал ежедневно, — это виноградного, не считая водки из выжимок, — это особь статья, — шипучки, розового вина, вишневки. В тот вечер, когда его схватило, он выцедил ее полбанки.

— В конце концов это дает себя знать. Я думаю, он долго не протянет. С таким одром все может случиться. Делайте, как я вам сказал, хотя, по-моему, это все равно, что прикладывать припарки к деревянной ноге. Если ему станет хуже, позовите меня, коли хотите. Но уж очень далеко: мне надо потратить три часа, чтобы подняться сюда.

Ночь уже наполняет долину, она касается бедра холма. Оливы поют в сумраке.

Гондран провожает доктора до шарабана. Держит лошадь под уздцы.

— До свидания, господин Венсен!

— До свидания! Не забывайте очищать ему желудок. Может быть, он будет немного бредить. У алкоголиков всегда надо ожидать этого. Не пугайтесь.

Едва заскрипели колеса, как доктор передумывает.

— Знаете что, не стоит второй раз вызывать меня. Все пойдет своим чередом, ничего не поделаешь... А что, можно проехать в экипаже напрямик через Гаридель?

— Иногда они бывают живучи, — говорит Цезарь. — Вспомни отца Бюрль; его схватило летом, он прожил зиму и другое лето. В жару от него скверно пахло. При-

ходилось по три раза в день менять белье. Между ягодицами завелись черви.

Сначала Жанэ положили в его комнате, но он по сто раз в день зовет Маргариту голоском девочки, которая кличет коз.

То открой ему ноги, то приподними голову, потом дай поесть, потом — испить, потом — табаку пожевать, — и Маргарита крошит табак ножницами.

А в комнату три ступени, и у Маргариты ноги распухли от хождения туда и обратно.

— Не устроить ли ему постель в кухне? Ему будет лучше, да и я не буду так уставать.

В конце концов его поместили возле очага.

Нагибаясь, он видит, как дочь готовит ужин на печурке с дырами, полными золы, где блестит злой глаз пылающих угольев.

И говорит.

Безостановочно, как родник; как один из тех родников, куда вливаются подземные ручьи, которые берут начало далеко, в самой глубине горы.

— ...Ни на одной ярмарке во всем кантоне не было таких публичных девок, как на ярмарке в Манэ. Там была устроена лотерея. Если ты выигрывал, то шел спать с женщиной на сеновал.

— ...В первом постоялом дворе направо я ел суп из лука, так было заведено. Я приезжал в Волькс на рассвете, стучал уздечкой в дверь. Хозяйка отворяла окошко: «Это ты, Жанэ?» Она узнавала меня по стуку. Она выходила отворить в одной рубашке, я щупал ей слегка зад, и дальше все шло, как по маслу...

— ...Он был там, на соломеннике, зарывшись в солому, — одна спина торчала. Я знал, что у него есть палка. «Это ты, старая шпана?» — говорил я ему. «Я, — отвечал он. — Что же, значит, и поспать уж теперь у тебя нельзя?» Я брался за вилы: «Я тебе покажу, ты увидишь...».

И Жанэ смеется потихоньку; потом его маленький стальной глаз поворачивается к котлам.

— Грита, бобового супа до завтрашнего дня ждать, что ли?

В этот вечер Маргарита ничего не успела состряпать.

Вместо ужина Гондран ест сырой лук. Он разрезает луковицу пополам, облупливает слой за слоем, окунает в солонку и хрустит.

Больной вечер. Ветер с Роны. Ущелье Мондрагон, должно быть, закупорено пробкой грозы.

Круглый день река ветра колотится в лоханях Дромы. Поднявшись до каштановых рощ, она беснуется в ветвях; мало-по-малу вздувается, перехлестывает через горы и, перепрыгнув гребень, катит на нас, разукрашенная султанами из листьев.

Теперь ветер свистит вокруг Бастид в каменных флейтах, выдолбленных потоками.

Пляшут леса. Мимо проносятся лохмотья грозовых туч; блестит и гремит короткая молния. Воздух пахнет серой, гравелем и льдом. Свет окрашивает в водяные тона стекла окна, куда расшатанный плющ стучит тяжелой лиственной рукой.

Дверь чердака прыгает на петлях. Можно подумать, что наверху ударами каблука раздавливают выводок котят. Наступает ночь. Ветер ревет во всю глотку. Небо звенит, как железная крыша под градом.

Долгое стенание пронизывает дом. Это не слуховое окошко, — оно крепко-накрепко заперто. Окно в комнате? — оно дребезжит, но не стонет. Наружная дверь? — засов новый.

Что же тогда?

Гондран ест. Лук хрустит у него на зубах. Это мешает вслушиваться в стенание, возбуждающее его любопытство. Он перестает жевать.

Жалобный стон пронзает лезвием содрогающуюся плоть дома.

Жанэ вытянулся под простынями, одеревенелый и прямой. Узкое тело поднимает серое одеяло горбом, как перевернутый пласт борозды. Птичье, прерывистое дыхание бьется в груди. Точно зерно, которое хочет дать росток и погрузить листья в солнечный свет. Этот образ возникает в воображении Гондрана в то время, как он ест лук.

В этот вечер у Жанэ отвратительный вид: голубизна гранита, жесткие грани носа, ноздри, просвечающие, как края кремня. Открытый глаз блестит в сумраке, как камень, как один из осколков, скрытых в перегное земли;

наткнувшись на них, ломается вдруг и опрокидывается большой гладкий лемех, который обыкновенно идет прямо.

«Что, если он протянет все лето, всю зиму, как отец Бюрль?»

Жанэ как будто двигает пальцами. Что он затевает?

Жанэ с трудом выпростал кисти рук, положил их на простыню и смотрит на них. Мало-по-малу глаза его расширяются от изумления. Правая рука медленно подвигается к левой.

Это движение растущей ветви — движение растения.

Правая рука хватает левую, сжимает ее, тянет. Она как будто пытается освободить ее от перчатки или от пут. Затем все так же медленно и тяжело, точно вздуваясь от страшной силы, которая напрягается, стараясь поднять безмерное бремя, она подвигается к краю постели и бросает что-то. И это начинается снова, повторяется без конца, как движение машины.

Гондран подходит ближе. Отсюда он может видеть толстые вены, дрожащие на руке, как веревки, связывающие козленка:

— Отец Жанэ, что вы делаете?

Тот застыл, как деревянная статуя святого. Он перекатывает зрачки к углам глаз.

— Змеи, — говорит он, — змеи.

— Какие змеи?

— Змеи, говорю тебе! Змеи из моих пальцев. У меня в пальцах змеи. Я чувствую, как чешуя проходит сквозь мясо.

Его смешок потрескивает словно еловая шишка, когда ее давишь ногой.

— Я подстерегаю их. Когда их голова доходит до ногтя, я сжимаю ее, тяну, — вся змея вылезает, и я бросаю ее на землю. В это время другая поднимается внутри пальца, я тяну ее и также бросаю. Это долгая работа, но когда моя рука будет свободна, боль у меня пройдет.

Гондран в замешательстве глядит на Жанэ, потом на коврик перед постелью. Ничего: красные и голубые цветы.

— Вы заговариваетесь, — говорит он.

— Я заговариваюсь? Посмотри...

Возобновляется точно такое же движение: Жанэ хочет доказать. Сжатый кулак подвигается к краю постели,

открывается. Зрачок Жанэ торжествующе блестит в углу глаз. Гондран не видит ничего. Он приободряется.

— Вы заговариваетесь, — говорю вам, у вас голова больная. Нет змей в вашей руке. Там, на земле ничего нет. Если бы были змеи, я видел бы их. Я видел бы их,— повторяет он, волоча тяжелые башмаки по голым плитам.

Прыгает ставень; плющ стучит в окно. Жалобный стон бежит с чердака, погружается в густой воздух комнаты, раскалывает запах лука, холодной золы и пота и исчезает под трясущейся дверью.

— Я заговариваюсь? Кто ты такой, как смеешь ты говорить, что я заговариваюсь!

Жанэ обращается к сумраку, к пространству, не глядя на Гондрана, который тревожно смотрит на него и впивает его странные слова.

...Ты воображаешь, что видишь все своими жалкими глазами? А разве ты видишь ветер?

Ты смотришь на дерево, но неспособен видеть ничего, кроме дерева.

Ты думаешь, что деревья с листьями посажены прямо в землю, и что это так и остается там... Ах, кабы было так, чего бы лучше!

Ты ничего не видишь там, под стулом?

Ничего, кроме воздуха?

Ты думаешь, что воздух пустой?

Значит, ты думаешь, что воздух совсем пустой?

Там — дом, там — дерево, там — холм, и ты воображаешь, значит, что это пустое? Ты думаешь, что дом — это дом, и ничего больше? Холм — это холм, и ничего больше?

Я не думал, что ты такой бестолковый!

Туда, под стул я бросил сейчас трех: маленькую — зеленую-презеленую — змею травы. На спинке у нее точно три сплетенных стебля овса. Не знаю, почему, когда она вылезала из пальца, она сказала мне: «А, Август!» Разве меня зовут Август? Меня зовут Жанэ.

Другая — толстая и короткая, и еще одна — она насвистывает, как губная гармоника. Это самка. Кожа на ее брюхе вздулась: она произведет детенышей. Было больно, когда она проходила в пальце.

Посмотри, посмотри поскорее вот ту, что ползет кверху по котлу и пьет молоко: молоко шарами перекатывается по ее глотке.

Разве ты ее не видишь?

Неужели ты думаешь, что воздух пустой?

Если бы они сидели у тебя в пальцах, как у меня, то ты бы знал.

Если бы ты встретил то, что в воздухе, лицом к лицу, вдруг, на краю дороги, вечером, ты увидел бы их, как вижу я.

Холм. Ты увидишь когда-нибудь холм.

Сейчас он лежит, как бык в траве, и видна только его спина. Муравьи поднимаются по шерсти и снуют туда-сюда.

Сейчас холм лежит. А если когда-нибудь он поднимется, ты мне скажешь, заговариваюсь ли я...

Глянь, глянь на ту, вот там! Она красавица, с глазами по яблоку. А у той—человечьи глаза. Как она тянет мясо! Ой, ой, ой!..

И вот там, и вот на потолке... Она корчится хуже разрезанного червя. А та притворяется мертвой, толстая бестия!..

Гондран поворачивает глаза направо и налево: голые плиты пола.

Коврик перед постелью как будто шевелится.

— Одна под столом, под столом! Под столом змея в большой палец толщиной. Она спит, согнувшись наподобие буквы S

— Это веревка кнута.

— Это змея!

— Это веревка кнута.

Снаружи трещит дуб, раздавленный тяжестью ветра. Мертвые ветви падают в водопой. Печная труба ревет; зола поднимается, как пыль под ногами баранов.

В два прыжка Гондран у двери. Он распахивает ее со всего размаху, так что ручка втыкается в стену, и кричит во все горло по направлению к хлеву, где Маргарита раздает козам оливковые ветки:

— Грита! Грита! Когда же этому будет конец, чорт возьми?!

Два дня и две ночи дул ветер. Он был отягчен тучами; теперь идет дождь. Гроза, запрудившая узкую долину реки, поднялась кверху. Как бык, подстегиваемый травами, она вырвалась из грязи равнин; мускулы на ее

спине вздулись; затем она перепрыгнула холмы и зашагала по небу.

Идет дождь. Мелкий яростный дождик. Он то утихает, то разражается с новой силой. Его пронизывают стрелы солнца, треплет грубая рука ветра, но он упрям. И его теплые ступни примяли овес.

Стаи ласточек и дроздов гомозятся в деревьях.

Небо — словно болото, где светлая вода блестит там и сям между тиной.

Сначала Жом отбивал косу, примостившись под дубом. Листья защищали его. Он пересмеивался с женщинами, бежавшими собирать развешанное белье. Дождь прогнал его и остальных. Свернутый мешок, на котором он сидел, превратился в губку.

Арбо, стоя в воротах риги, смотрит на дождь. Он собирался ехать на холм и распряг мула.

Подходят Мора и Жом.

Дождь.

Родник поет под деревом в унисон.

Подошел Гондран, выгибая спину под ливнем.

— Проклятая погода!

— Каждый раз, как мне ехать за сеном, одно и то же...

Гондран разглагольствует. Он долго жует и пережевывает слова, ругает погоду, говорит то, что обыкновенно говорится о дожде и о земле, наконец переходит к главному.

— Во всю свою жизнь я такого не видал, право, не видал. Не понимаю, откуда у него берется то, что он рассказывает! Он свихнулся. Вы не можете себе представить, что это такое! Это течет, как ручей. И это не всегда смешно. Грита боится оставаться с ним одна. Пойдемте ко мне, выпьем абсента, и вы увидите.

— Это, — говорит Жом, — в таком же роде, как...

Он не заканчивает мысли. Может быть, он хочет объяснить, но не решается, прежде чем не увидит своими глазами.

Надо только пересечь площадку, да и дождь немного утих. Через минуту они у Гондрана.

Жанэ попрежнему одеревенелый и черный. Паралич сделал из его длинной худой шеи неподвижный кол. Об-

тянутый коричневой кожей кадык поднимается и опускается, когда он глотает сок табака. Его глаза неподвижно устремлены на стену против постели, на то место, где висит отрывной календарь.

Гондран достает стаканы и абсент. Они говорят шопотом, как на охоте на зайца.

— Лицо у него никуда не годится.

— Нос уже заострился, как у сороки.

— Долго не протянет.

Они как будто исполняют долг вежливости, говоря Гондрану, что его тесть скоро помрет.

И вдруг это началось. Сначала легкий вздох, как будто Жанэ переводил дух перед тем, как поднять тяжесть, и они не успели приготовиться, как это хлынуло на них сразу, застигло их врасплох.

«...На лугу были дымки, это были женщины.

Они прыгали по стеблям травы. Волосы у них торчали, как хохолки у птиц.

Они были всех цветов: зеленые, как бутылки, сквозь их кожу просвечивала луна, а другие были все из красных и голубых точек.

Это были самки. У одной задница была как скирд соломы и грудь штопором.

Она так крутилась, что ее длинные сиськи щелкали, как вымпелы: щелк, щелк, щелк...

Она убивала блох, просовывая язык под мышки, и скребла себя лавандой, лопавшейся под ее ногтями.

«Вот так чучело!» — говорю я себе. Я подхожу потихоньку. Она ковыряла в ногах так, что скрипело.

Одна из них пила из ручья, как заправская дама. Она черпала воду капюшоном из стеблей овса и разевала рот до ушей, показывая белые зубы. Зад ее качался, как яблоко на ветру. Я схватил его руками. Она... меня, потаскуха...

Жаба вылезла из своего домика в иве.

У нее руки — как у человека, и глаза — как у человека.

Это — человек, наказанный за грехи.

Она сделала себе в иве домик из листьев и грязи.

Ее брюхо полно гусениц, а между тем — это человек.

Она ест гусениц, но это человек, — достаточно взглянуть на его руки.

Человек-жаба проводит по брюху ручками, ощупывает себя: «Это я, я самый», — соображает он и плачет, когда удостоверяется, что это он.

Я видел, как он плакал. Глаза его похожи на зерна маиса. Из глаз его текут слезы, а он поквакивает.

Однажды я подумал: «Жанэ, как бы узнать, что такое он сделал, за что его наказали так, оставив ему только руки и глаза?»

Ива рассказала бы мне это, если бы я умел говорить, как она. Я попробовал, — ничего не вышло. Она глуха, как пень.

Мы дошли вдвоем с жабой до Сен-Мишель. Она подходила к краю травы, чтобы взглянуть на меня.

Я сказал: «Что нового, товарищ?» Когда я мочился, он делал то же самое.

Раз ночью слышу — он пришел. Он тащился по грязи и квакал, подманивая червей. Они приползли, приплясывая брюхом и спиной. Один был толстый, как колбаса из птичьего мяса с молоком, и волосатый. Другой походил на палец в болячках.

Жаба положила свои лапки мне на ступни.

Я не люблю, когда он кладет свои холодные ручки мне на ступни. Такая привычка завелась у парня. Каждый раз как я прихожу, он всегда кладет свою холодную лапку на мои голые ступни, — от него не убережешься.

В конце концов мне это надоело. Я застал его как раз в ту минуту, когда он вылезал из своего домика.

Он поквакивал. Он держал черного червя и ел его. Кровь была у него на зубах, рот был полон крови, а маисовые глаза плакали.

Я подумал: — Жанэ, это не христианская пища, ты сделаешь доброе дело...

И рассек его ударом заступа.

Он разрывал землю руками, кусал землю зубами, красными от крови. Он остался там, с ртом, полным земли, и со слезами в маисовых глазах...»

Когда Жом встречает кабана, а его ружье заряжено мелкой дробью, он прячется.

И теперь у него такой же вид. Арбо и Мора поглядывают на дверь.

На улице Гондран смотрит на них вопросительно. Все четверо молча созерцают друг друга.

— Этого еще не хватало!

После того как ветер дул всю ночь напролет, десять часов подряд, день встает в это утро обновленный. Первые лучи солнца входят в пустой воздух; едва прилетев, они уже на далеких холмах между можжевельником и на тмине. Эти земли как будто придвинулись со вчерашнего дня.

«До них можно достать рукой», — думает Гондран.

Небо — голубое с края до края. Профиль трав четок, и все зеленые тона различимы на зеленом пятне полей: на пучок бурачника ветер принес лист оливы; полевой салат светлее цикория; а в том углу, где рассыпали мешки фосфата, мясистые, почти черные травы буйно поднялись, как волоски на родимом пятне. Можно сосчитать иглы на вершинах сосен.

Какая-то странная тишина.

Вчера небо было шумной ареной. Колесницы, кони с железными копытами, с грохотом и гневным ржаньем проносились по нему вскачь.

Сегодня тишина. Ветер перешагнул рубеж и бежит по другую сторону земли.

Нет птиц.

Тишина.

Даже вода не поет. Она крадется чуть слышными шагами: она тихо скользит с луга в уличку, ступая на цыпочках белыми ногами.

Гондран глядит на занявшуюся зарю и приготовляет ягдташ. Он идет окапывать оливы — там в ложбине. Это далеко, в самом низу, за тремя холмами, разлегшимися поперек долины; они не посторонятся, — их приходится огибать, проходя по их чреву.

Он несет с собой обед: томат с сочной, ароматной мякотью, шесть головок чесноку, бутылочку с провансским маслом, заткнутую куском бумаги, соль и перец в коробочке из-под пилюль, кусок ветчины, большой хлеб, вино, заднюю часть кролика, завернутую в виноградный лист, и горшок с вареньем. Все это вперемешку в кожаной сумке.

В кухне Маргарита мешает в печке кочергой, чтобы поскорей поспел кофе.

Тишина тяжела, как свинец. Только Гондран ходит в

это утро взад и вперед, стуча гвоздями грубых башмаков.

Обыкновенно раньше всех пробуждаются голуби Жома. Заря перекидывает их с руки на руку. Сегодня голубятня кажется вымершей.

Гондран идет взглянуть на часы: уже четыре, однако.

— Они не врут?

— Я поставила их намедни по солнцу.

Как бы то ни было, эта тишина хорошо пахнет. Запах боярышника и дрока вливается в нее большими волнами. И потом, к чему беспокоиться о жестах земли? Она делает, что хочет. Она достаточно велика, чтобы знать, что ей делать; ее жизнь идет своим чередом...

— Как тихо сегодня! — говорит Жанэ.

— Все точно вымерло. Слушайте. Ничто не шелохнется.

— Это нехорошо. Знаешь, сынок, раз так же вот пошли...

— Кто?

— Нельзя сказать.

И Жанэ вперяет глаза в отрывной календарь.

Гондран продевает мотыгу в ремень ягдташа и перекидывает его через плечо. Спустившись с лестницы, свищет собаку.

Лабри, спавший под розовым кустом, вылезает, потягивается, зевает, обнюхивает сумку, идет вслед за Гондраном, и тот с радостью слышит за собой чирканье когтей его лапок.

После луга Мора, оседлавшего склон холма, от дороги, можно сказать, ничего не остается. Она мало-по-малу пропадает в траве, как иссякающая вода.

Сад, куда идет Гондран, он купил в прошлом году у одного из жителей Пьервер, «копившего деньгу», чтобы приобрести право разносить почту.

Это на территории деревни Рейлан, у чорта на куличках, но этот сад достался ему за бесценок, и оливы уже окупили стоимость. В итоге, при небольшой затрате труда, он обеспечен маслом и дровами. Только это далеко,

тем более, что туда нет дороги. Надо проходить по падям, по сухим ложам потоков, заросшим калиной и ежевикой, огибать холмы по диким ущельям, где у камней лица недоделанных людей.

Гондран думает, что в следующий раз лучше будет обойти вершины со стороны Тренкет: туда небольшой подъем, но зато после прекрасный вид всю дорогу; хороший воздух, кричат куропатки. А здесь тишина, вселяющая тревогу. К счастью, собака с ним.

С вершины «Пимайон» сад Гондрана кажется пятном лишая на дикой пустоши. Кругом здоровая, буйная, кудрявая растительность, — здесь же мотыга Гондрана царапает поверхность.

Сад на склоне, на жирном боку холма, в том месте, где ручейки оставляют наносы. Ниже поток расколол землю узкой черной щелью, откуда несет холодом, как из уст пропасти. Древнеримский акведук шагнул через сад; его тощие пыльные подколенки торчат из олив.

Гондран вырыл сначала ямку под самым густым можжевельником и, когда добрался до чернозема, положил туда бутылку в холодок. Выбрав ветку повыше, куда не доползали муравьи, повесил ягдташ, засучил рукава и принялся за работу.

Сталь мотыги запела в камнях.

Тень олив мало-по-малу сузилась. Она только что стлалась по всему полю, как ковер, расцвеченный золотыми пятнами. Под все более и более прямыми лучами она раздробилась на куски, потом закруглилась. Теперь от нее остались лишь серые капли вокруг стволов.

Полдень.

Мотыга останавливается.

Полуденный отдых.

Воздух, полный мух, скрипит, как зеленый плод под ножом. Гондран спит, всей тяжестью навалившись на землю. Он пробуждается сразу. Он так же спокойно вынырнул из сна, как и погрузился в него. Движение крестца — и он на ногах.

Берясь за мотыгу, Гондран встречает лицо земли. Отчего сегодня так тревожно на душе?

Трава вздрагивает. Под желтым цветком дрожит длинное мускулистое тело ящерицы, с крайним изумлением высунувшей голову на стук мотыги.

— А-а-а, гадина!..

Ящерица двигается вперед рывками, как зеленый камень, делающий рикошеты. Она застывает в неподвижности на выгнутых ногах. Ее пасть пышет жаром и отхаркивает.

Гондран сразу превращается в глыбу силы. Мощь вздувает его мышцы, скопляется в широких руках, на рукояти мотыги. Дерево содрогается от нее.

Он хочет быть животным, которое властвует, которое убивает, — и ждет, затаив дыхание.

Ящерица приближается.

Молнией обрушивается мотыга.

Гондран с остервенением топчет каблуками корчащиеся обрубки.

Теперь осталась только трепещущая горсть грязи. Дальше более густая кровь обагрила землю. Там голова с золотыми глазами; язычок, как розовый листок, дрожит еще от неосознанной боли раздавленных нервов. Лапка с вздувшимися пальчиками судорожно впивается в землю.

Гондран выпрямляется; на острие его орудия — кровь. Его дыхание течет широкой струей, он дышит полной грудью. По мере того как он глубоко вдыхает голубой воздух, гнев его утихает.

Вдруг ему становится стыдно. Ногой набрасывает землю на мертвую ящерицу.

Набегает ветер.

Деревья перешептываются.

Собаки нет; она, должно быть, выслеживает какую-нибудь зверушку.

Гондрану не по себе, неизвестно почему. Он не болен, — он встревожен, и эта тревога камнем застряла в его горле.

Он поворачивается спиной к большому кусту, где сплелись бузина, боярышник, ломонос, фиги; этот куст шумит и жестикулирует сильнее остальной рощи.

Продолжая работать мотыгой, Гондран впервые думает, что под этой корой поднимается кровь, подобная его крови; что дикая сила скручивает эти ветви и взметает к небу эти побеги травы.

Он думает также о Жанэ. Почему?

Он думает о Жанэ и подмигивает на кучку коричневой земли, вздрагивающей над раздавленной ящерицей.

Кровь, нервы, страдание...

Он причинил страдание красной плоти — плоти, похожей на его собственную.

Таким образом, вокруг него, на этой земле каждое его движение причиняет страдание?

Значит, он погряз в страданиях растений и животных?

Значит, он не может срубить дерево, не убивая?

Он убивает, когда рубит дерево.

Убивает, когда косит.

Тогда выходит, что он все время убивает?

Он — как большая бочка, которая катится, давя все вокруг себя.

Значит, все живое?

Жанэ понял это раньше.

Все: животные, растения, и—кто знает? — может быть, и камни также.

Тогда нельзя поднять пальца без того, чтобы боль не струилась ручьями?

Гондран выпрямляется; опершись на рукоять орудия, он смотрит на великую землю, покрытую рубцами и ранами.

Акведук, в пустотах которого гуляет ветер, гудит, как зловещая флейта.

Земля!

Земля широко раскинулась с каждой стороны — тучная, тяжелая, с грузом деревьев и вод, с реками, ручьями, лесами, горами и холмами, с круглыми городами в вихре молний, с ордами людей, цепляющихся за ее шерсть.

... Что, если это живое существо, тело?

Сильное и злое.

Огромная масса, которая может лавиной ринуться на меня, как я обрушился на ящерицу?

Что, если задвигается под острием мотыги эта долина, эта складка между холмами?

Тело!

Живое тело!

Жизнь — движение, вздохи...

Голос акведука и пение деревьев.

Живое? Конечно, да! Ибо эта земля шевелится: десять лет тому назад она тряслась. Внизу, у Экс, деревни — Ламбек и другие — превратились в развалины, а колокола в Маноске без звонарей звонили на колокольнях.

Эта мысль поднимается в нем, как гроза. Его рассудок подавлен ею.

Она причиняет боль.

Она — как галлюцинация.

Волнообразное движение холмов медленно развертывает на горизонте свои змеиные кольца.

Пашня едва заметно дышит.

Необъятная, крайне медлительная, но грозная своей скрытой силой, жизнь волнует чудовищное тело земли, течет от холмов в долины, развертывается вширь в равнинах, изгибает реки, вздымает тяжелую травянистую плоть.

«Чтобы отомстить за себя, она взметнет сейчас меня к самому небу, — туда, где у жаворонков захватывает дух».

Закругляя руку, Гондран вскидывает ягдташ и большими шагами подымается по холму, не смея свистнуть собаку.

Он сказал об этом Жому.

Без ложного стыда.

Впрочем, с той поры тайна везде: в хлебах, под люцерной, повсюду. А вчера мирная рощица из трех ив ворчала на него, как собака, готовая вцепиться в штаны. Так дальше не может продолжаться, лучше поговорить об этом всем вместе.

Два вечера обсуждали это, сидя за абсентом.

Больше всего считаются с мнением Жома. Но он неразговорчив. Мора и Арбо также тут, — опершись локтями на стол, закрыв рот руками.

Жом лучше всех знает холмы, и потом он читает, — не только газету, когда бывает в городе, но и книги.

У него есть даже Распайль! Это не шутка!

Жом — непререкаемый авторитет.

Теперь он отмалчивается. Он не говорит: «Это невозможно». Ждут, что он это скажет, но он не говорит

этого. Он покачивает головой, пыхтит в длинный ус.

— Посмотрим, — решается сказать он, наконец.

— Посмотрим...

Он предлагает итти завтра в лощину с ружьями.

Соглашаются.

— Кто идет?

— Я пойду, — говорит Жом. А еще кто?

У других нерешительный вид.

— Я охотно пошел бы с тобой, — говорит Мора, но как раз завтра мне надо чистить конюшню.

Арбо посматривает на абсент.

В конце концов сговариваются: пойдут Жом и Гондран. Двое других будут охранять женщин.

— Не все ли равно? Здесь мы будем тоже одни, — говорит Арбо.

В кухне, сквозь кисею занавески, просачивается дребезжащий голос Жанэ:

— Я заговариваюсь? Я заговариваюсь? А ты видел шум ветра, — ты, хитрец? И знаешь ли ты, что позади воздуха?

Мора останавливается посреди лестницы.

— Тебе надо бы заставить его замолчать, — говорит он глухо, — все это нездорово...

Не увидели ничего.

Весь день провели, лежа под дроком, притаившись между кривых ветвей. Двустволки, выступавшие из травы, были как бы продолжением их самих.

Сегодня ломонос остался ломоносом, фиговое дерево — фиговым деревом, а земля — неподвижной. Одна только франтоватая белочка, пугливо озираясь, крутыми прыжками перебежала римский мост, царапая известняк.

В продолжение целого дня не произнесли ни слова.

Жом жевал стебли пряной мяты.

Гондран прочистил горло, где скопилась слюна. Жом знаком велел ему соблюдать тишину.

Под черным глазом ружей лежит недвижимо покрытая растительностью благоуханная земля.

Сумерки заставляют шаг за шагом отступать солнце.

Травы гнутся от вечернего ветра.

Свет спускается с другой стороны Люра.

Жом трогает руку Гондрана. Идут назад, пригнувшись к земле, прячась в камнях. Широким гибким шагом воз-

вращаются в Бастиды.

Арбо и Мора ждут перед дубом.

— Ну?

— Ничего.

Жом вынимает трубку изо рта.

— Идемте к дубу, незачем пугать женщин, — говорит он.

Там, в сторонке, Жом как будто принимает окончательное решение: он говорит больше, чем когда-либо.

— По-моему, это скверная история. Я позвал вас сюда, потому что со мной намедни утром случилась одна вещь, над которой приходится призадуматься. Вы знаете, что я пошел в засаду на кабана. Я был на Маненском подъеме, в старой голубятне. Когда рассвело, я услыхал легкие шаги по листьям. «Это молодой», — думаю. Осторожно просовываю ружье и жду. Вокруг карликовые дубы, поляна. Гляжу и вижу — в конце тропы выходит какой-то черный шар, забавно приплясывая. «Это не то, погоди немного», — думаю. А оно опять прыгает, катается по земле, потом вытягивается на солнце, и я вижу, что это кот. Черный-пречерный кот. Пока — ничего особенного. Он ложился на брюхо, окунал морду в ручеек солнца, потом валялся на спине, перебирал когтями траву, играл былинками, — словом, проделывал все кошачьи штуки. Дуло моего ружья было наведено на него. Я не выстрелил только потому, что знал, или думал, что знаю. Я не ошибся. Минуту спустя он выпрямился на четырех лапах — тугих, как натянутая проволока. Притворщик перестал ломаться. Он сделал три шага в одну сторону, потом три шага в другую, потом остановился, как вкопанный, лицом к расщелине холма, через которую виден весь наш край до самого Динь. Он мяукал. Тогда я отвел ружье. Я убрал ружье, потихоньку, без шума. Я весь съежился в темноте голубятни, прижав руки к коленям, так как слишком хорошо знал это мяуканье.

Молчание.

Вечерний воздух точно створожился.

Жом два раза затягивается; трубка погасла. Он чиркает зажигалку, появляется пламя, и он смотрит, посасывая, на Гондрана, Мора, потом на Арбо, который вертит соломинку в пальцах.

— Землетрясение тысяча девятьсот седьмого года было

в четверг, — говорит Жом немного погодя, — а в понедельник, подстерегая куропаток, я увидел кота.

Гроза на святого Панкратия, когда ручей унес скирд Маньяна и колыбель с матерью, которая хотела вытащить ее из воды, — была во вторник, а в воскресенье я видел кота.

Я видел кота за два дня до того, как молния убила в хижине угольщиков твоего отца, Мора.

Я увидел кота, я услышал его мяуканье, — а через два дня, отворяя ригу, нашел повесившуюся жену.

Когда Гондран рассказал, что с ним было, я подумал об этом коте. Теперь я говорю вам: «Берегитесь, — он появляется каждый раз за два дня до гнева земли».

Этим холмам не надо доверять. Есть сера под камнями. Доказательство? Этот источник в Эмберской долине смерти, действующий, как слабительное. Холмы из тела и крови, неведомых нам, но это живое.

Трубка Жома опять погасла; он по обыкновению забыл затянуться из своего глиняного чубука.

Он поворачивается к Гондрану:

— Ты, — говорит он, — можешь добраться до самого корня. В твоем доме Жанэ. Не в обиду тебе будь сказано, через него все началось. Ты не виноват в этом, не виноват и он. Ты ничего не знал, и он знал не больше тебя. Это, видишь ли, всегда начинается через человека, который видит дальше других. Человек видит дальше других, когда что-то расстроилось в его мозгу. Иной раз это пустяк, словно нитка какая-нибудь, но с этой минуты — конец. Лошадь — больше, чем лошадь, трава — больше, чем трава: он видит все, чего не видим мы. Вокруг обычных форм, линий носится, как дымка, что-то кроме того. Помните, что он говорил о жабе?.. Как будто кто-то около них объясняет им все, сдирает перед ними кожу со всего. В этом деле многое уже известно. От Жанэ мы узнаем остальное. Он наверняка замешан в этом. Он всегда был очень близок к земле, ближе нас. Он усыпляет змей. Он знает вкус всякого мяса: лисицы, барсука, ящерицы, сороки... Он делал суп из дыни, сыпал тертый шоколад в кашу из трески. Кровь происходит от всего, что едят, а мозг — это сгусток крови... Послушай, Гондран, постарайся узнать, — это нам поможет.

Женщины зовут ужинать.

Бастиды ночью — словно светляки под деревьями.

Большая звезда восходит над холмами.

Они возвращаются.

— Не толкай, — тихо говорит Арбо парню Мора, навалившемуся на его локоть.

Утро второго дня. Ни ветерка. Попрежнему затишье. Густой венок из фиалок сжимает ясное чело неба. Сквозь этот туман поднимается солнце, похожее на гранату.

Воздух жжет, как дыхание больного.

Сын старухи Мора приотворяет дверь овина. Осматривает дома один за другим. Они еще бесшумно спят, как усталые животные. Только дом Гондрана покряхтывает за плетнем.

Мора выходит; делает два шага по площадке; влезает на каток, чтобы лучше видеть: глаза дома открыты — большие ясные глаза, в которых, словно зрачок, перекатывается круглая тень Маргариты. Из отворенной двери течет слюна воды после мытья посуды.

Мора решается. Он беззвучно подходит в плетеных сандалиях.

— Гондран! — зовет он приглушенным голосом, который, однако, разносится в утренней тишине.

Тот появляется в просвете двери, прикладывает палец ко рту, как будто прислушивается к тому, что делается в кухне, затем выходит на цыпочках.

— Ну, что? — спрашивает Мора.

— Все то же. Ужасная ночь! У меня голова трещит. Я пробовал остановить его, чтобы позвать Жома, но это, как вода, — не удержишь в руках. Словно стадо проходило мимо: и топот, и колокольцы, и глаза всех голов с отражением в каждом глазе. В его словах я много чего увидал... Ты представить себе не можешь, что это такое! Знаешь, словно улей гудит в моей голове... Помнится, он говорил о коте. Маргарита пила кофе. Она стучала ложкой. Я велел ей не шуметь. Его едва было слышно. Было похоже на масло, когда оно вытекает из треснувшего кувшина. Он говорил сам с собой, понимаешь... Я напрягал слух, насколько мог. Проклятые часы тикали. Я проскользнул за его изголовье. Он говорил: «Мину, Мину, с шерстью кота, у тебя зад мерзнет на твоем холме. Устрой себе постель, как человек. Твои когти подобны плугу, и язык твой — как терка. Жанэ говорит с тобой.

Я обрежу тебе когти серпом».

— А ты уверен, что он это сказал?

— Уверен. Я записал это на клочке газеты.

— Нет ли какого средства?

— Средства?

— Да, средства, чтобы избавиться от этого наваждения — от кота? Какой-нибудь безделицы, — не знаю, чего именно... Ты понимаешь, что я хочу сказать: заплетенного конского волоса, копыта козла, пера попугая. Ты хорошо знаешь, что...

— Возможно, что есть средство. Об этом надо подумать. Надо посмотреть в его тайнике, у ив, куда он кладет бутылки.

Маргарита приотворяет дверь и просовывает голову. На ее лице отсвечивают белые пятна: она побледнела. Она делает знак мужу:

— Иди скорее, иди скорее!..

Мора остается один, лицом к лицу с утром.

Небо теперь — словно большой голубой жернов, на котором кузнечики оттачивают свои косы. Фиолетовый туман потек в горные пади, как река грязи.

Через плечо домов виден на холме луг Арбо; по нему разбросана скошенная трава, но никто не думает ворошить и убирать сено: сейчас не до того.

Мора возвращается домой. Плетеные сандалии и ковер пыли делают его похожим на бесшумно передвигающуюся тень. Однако, когда он проходит мимо двери Жома, она отворяется. Александр там, в полутьме; видны только его усы и глаза.

— Ну, как дела? — спрашивает он.

Мора объясняет, в чем он видит средство спасения.

— Не там надо искать. Я знаю, что надо делать. Я скажу, когда будет надо.

И Жом прибавляет, понизив голос:

— Прежде всего надо остерегаться Жанэ.

Он затворяет дверь; слышно щелканье щеколды.

В доме Арбо отворяется ставень, — там тоже караулят.

Час шел за часом, и день, которого так страшились, незаметно наступил.

Пошли посмотреть тайник Жанэ; там оказались две

пустых бутылки, обрывок бумаги от шоколада и сухой корень причудливой формы. Мора сунул его в карман. Жом пожал плечами:

— В нас самих — средство спасения. Эти корни, семена кипариса, все это шарлатанство ни к чему, уверяю тебя. Средство? Оно в наших руках и в нашей голове. Особенно в наших руках. Холмы — словно норовистые лошади. Я-то уж их знаю: тридцать лет я охотился на них и изучил все их повадки. Это свалится нам на голову неизвестно откуда, нежданно-негаданно, и надо будет сейчас же подставить грудь и дать отпор. Кто победит? Мы. Несомненно. Придется пережить скверные минуты, но бьюсь об заклад, наша возьмет. Всегда так бывало. Чтобы победить, надо только не зевать.

Тем не менее Мора сунул корень в карман. А Арбо сказал:

— Дай посмотреть.

Он увидел точно маленькие вилы, гладко обструганные ножом, и прошептал:

— Не бросай. Кто его знает...

Наконец пришлось ввести в курс дела женщин. Они уже недоумевали, видя, что работы заброшены, и замечая все эти переговоры с Жомом. «Так оно и есть», — сказали они. И каждая рассказала историю: одна видела кота, другая слышала голоса в деревьях; Бабета сообщила, что ее стенной шкаф ворчит, как человек. Маргарита уже знала, но чтобы ее проняло, надо пробить три слоя жира.

Ночью забаррикадировались.

Жом тщательно зарядил все шесть стволов своих трех ружей. Его взрослая дочь, сухая и почерневшая, как виноградная лоза, развешивает порох на маленьких весах: «Немного больше, чем для кабана». Потом пересыпает в ладонь и передает отцу. Она проверила прочность засовов, заткнула тряпкой дыру жолоба для стока воды в кухне и осматривала дом от подвала до чердака, пока отец не крикнул: «Юлалия, спать!»

Бабета приготовила ночник и клубочком свернулась под простынями, уткнувшись головой в колени в то время, как ее муж раздевался. Когда он собирался влезть на постель, она высунула нос:

— Афродис, хорошо ли ты запер сарай? Надо бы привалить плуг к двери...

То одно, то другое, пока, наконец, Арбо не собрался с духом. Но он не успел еще выйти, как она соскочила с постели в одной рубашке:

— Афродис, подожди меня, не оставляй меня одну, — я пойду с тобой.

Мора устроил себе постель в комнате матери. Парнишка батрак пришел и, плача, царапал дверь: он не хотел спать один на чердаке. Его впустили; положили на пол сенник.

Гондран и Маргарита сидели у изголовья Жанэ с осоловелыми глазами, с горечью во рту, с сердцем, перевернутым от тревоги, тайны, страха.

Час шел за часом, и день, которого так страшились, незаметно наступил: рассвет забрезжил над холмами.

Одним прыжком солнце перемахнуло через горизонт. Оно входит на небо, как борец, вперевалку, на огненных руках.

Все устремились на улицу: мужчины, женщины, две маленьких девочки, собака Лабри. Они спешат: наконец-то! С самой полуночи поджидали они рассвета. Гагу смотрит, прислонившись к своему столбу.

Они собрались под дубом и все, не говоря ни слова, повернулись к Жому. Жом понял, что он — вождь. Он знал это. Так и должно быть. У Жома два ружья на ремнях через плечо. Юлалия следует за ним со своим ружьем, — не с дамским карабином, а с настоящей основательной двустволкой, с хорошей «начинкой» в обоих стволах. У ее бедра торба, полная патронов.

Бабета держит по девочке на каждой руке: она — словно прекрасное дерево, обвешанное плодами. Она тут с двумя своими дочурками, умытыми, слегка припудренными, в воскресных платьицах: «Кто знает, что будет...»

Жом отвел мужчин в сторону:

— Оставим женщин, — сказал он. — Я поднимусь к Саблетам. Там я постараюсь заприметить, какой это примет оборот. Мора будет на карауле со стороны Бурн, Гондран — со стороны Юбаков, Арбо — со стороны Адрет. Что надо сторожить? Все и ничего: тяжесть воздуха, зной, прохладу, ветер, облако — из всего можно извлечь урок. Идем!

И он зашагал, не дожидаясь.

Прежде чем исчезнуть в зарослях дрока, он оборачивается и, сложив руки рупором, кричит:

— Оно всегда приходит с той стороны, за которой не следят. Не зевайте! Смотрите в оба! А главное, коли увидите кота, — не стреляйте!

Затем Жом скрывается в высоких травах.

Мужчины ушли.

И Гагу вышел из рамы столбов.

Он двигается по площадке по направлению к женщинам, болтая руками, нагнув голову вперед, как пляшущая обезьянка.

Губа его отвисла, течет слюна, подбородок лоснится от нее. Нос морщится от гримасы, морщинки появляются вокруг глаз: Гагу улыбается.

Теперь он неуклюже прыгает по площадке, махая руками. Одна нога, потом другая, потом руки... Его ступни хлопают по земле, и вокруг него клубится голубая и рыжая пыль.

До полдня сторожили они дороги в Бастиды.

Не появлялось ничего: ни кота, и ничего другого. Но разве беда обязательно приходит по дорогам? Разве мало пространства над головами людей, между их волосами и облаками?

И Гондран рассматривает форму облаков.

Одно тяжело опирается на спину холмов, как небесная гора, как небесная страна, великая пустынная страна с погруженными в сумрак долинами, с обнаженными гребнями, по которым скользит солнце, с кручами, нагроможденными одна над другой.

Но кто знает, пустыня ли это? Может быть, там, наверху живут небесные горцы с длинными черными бородами и с зубами, блестящими, как солнца? Страна над страною людей...

До сих пор Гондран искал в облаках признаки грозы, бледные тона, предвещающие свинцовый град; теперь он не думает больше о граде.

Град означает полегшие хлеба, побитые плоды, смерть травы — вот и все. Теперь же Гондран подстерегает нечто такое, что угрожает ему самому, а не траве. Плохо,

когда гибнут хлеба, плоды, трава, но своя шкура еще дороже.

Ему слышится еще голос Жанэ: «А ты знаешь, — ты, хитрец, — что позади воздуха?»

Он размышлял так до тех пор, пока не стали кликать из Бастид.

Звали обедать — только и всего.

Это спокойное утро немного ободрило их. А особенно этот славный суп из капусты и картошки; он вливается в желудок, и из него тотчас же образуется хорошая, чистая кровь, которая немедленно начинает струиться по телу и мозгу, поднимая дух.

— Ты увидишь, — говорит Арбо, — мы избавимся от нашего страха.

— Конечно, лучше было бы сторожить, раз мы предупреждены, но покуда как будто все идет хорошо...

Легли отдыхать в полдень под дубом.

— Эй, ты там, — тише! — крикнули Гагу, барабанившему по пустому бидону; потом стали бросать в него камнями.

И Гагу перестал стучать.

Их разбудила тишина. Странная тишина. Более глубокая, чем обыкновенно; тише той тишины, к которой они привыкли.

Что-то ушло; какая-то пустота образовалась в воздухе.

— Э-э-э!.. — тревожно мычит спросонья Гондран.

Они вскакивают. Бастидам не хватает какого-то характерного для них шума. Чего именно?

Это случилось внезапно. Они озираются, судорожно поворачивая шеи; долго рассматривают знакомые предметы: каток, борону, плуг, веялку.

Ничего; все — как обыкновенно.

Однако чего-то не хватает. Они разом обертываются к источнику:

Он не течет больше.

Жом пришел в ту минуту, когда они старались помочь горю.

Гондран взял в рот железную трубку источника. Конец ее едва помещается у него во рту; он сосет изо всех сил, чтобы пошла вода. При каждом вдохе слышно бульканье где-то глубоко в скале, но оно сейчас же прекращается. Течет только и остается на железе слюна

Гондрана.

Всем надо попробовать. У всех ржавчина на губах.

— Слишком глубоко, — говорит Жом, — ничего у тебя не выйдет. Вас еще не было здесь, когда проводили этот источник. Труба идет прямо, немного под уклон, до того места, — видите там, почти рядом с тем фиговым деревцом? Там, в пазухе горы — вода. Если она больше не течет, значит или труба засорилась, или же она на всем протяжении пустая. Так что ты сосешь понапрасну, братец. Завтра утром мы вынем трубу из земли.

Утром вытащили из земли железную трубу во всю ее длину. Она протянулась на холме, как большая, покрытая болячками змея.

В ней ничего не оказалось.

Пошли к каменной плите, что под можжевельником. Отбили цемент и отвалили плиту. Наклонились над ямой, прислушиваясь, — ничего не течет.

— Иной раз, — говорит Жом, — не слышно журчанья воды. Она незаметно сочится из земли, и, однако, в конце концов образуются целые озера, которых нам хватило бы на всю жизнь. Я спущусь.

В мгновение ока он внизу. Неглубоко. Ему передают масляную лампочку.

— О-о-о! — спрашивает Арбо. — Идет?

Голос Жома подымается вместе с дымом масла:

— Вода ушла, все сухо.

— Как же теперь мы будем готовить суп? — говорит Маргарита. — Из чего мы будем делать отвар для питья? У меня осталось еще немного в ведре, и я возьму ту, что налила козам... Что сказал Жом? И он не знает, что делать? Как найти воду? Мы-то, мы будем пить вино, — это так. Ну, а отец? На сегодня у меня ее едва хватит, может быть — на завтра, а после что?

Утром, до рассвета, принялись вчетвером искать воду в холме.

Выкапывают яму до чернозема; потом Жом прижимается лицом к земле и втягивает воздух...

Копают яму немного дальше... На мгновенье у них блеснула надежда, когда они увидели пучок тростника. Но то был тростник старого источника: он умирает теперь.

На третий день, вечером вернулись в полном изнеможении. Потеряли надежду, и это усугубляло усталость. И большими глотками жадно пили свежее вино.

— Как же теперь мы будем готовить суп? — говорит Маргарита. — Из чего будем делать отвар для питья? У меня не осталось ни капли. У Бабеты — тоже. У матери Мора — тоже. Юлалия дала мне горшок воды; этого хватит только на сегодняшний вечер.

Гондран идет под дуб со всем прибором: с бритвой, ремнем, солдатским котелком, мыльной кисточкой и зеркалом.

Он тащит все это вперемешку, прижав к груди, за исключением котелка, который осторожно несет перед собой между указательным и большим пальцами.

В стволе дерева есть гвоздь для зеркала, обрубок сука для салфетки — очень удобно.

Гондран начинает намыливать лицо. Пена фиолетового цвета. Жом смотрит на него.

— Чем ты бреешься?

— Вином, чорт возьми! Со мной это уже было раз, в Кейра, во время больших маневров.

— Наводишь красоту?

— Только бы уйти оттуда хоть ненадолго, — говорит Гондран, показывая на дом.

Жом с минуту слушает, как бритва поет на щеках Гондрана. Смотрит на источник. Под трубой мох побелел, как козья бородка.

— Знаешь, что я думаю? Жанэ, может быть, найдет нам источник.

— Жанэ? Балда он!

— Ну, не совсем так. Послушай, Медери, в старину твой тесть слыл за очень сведущего человека во всем, что касается воды. Колодезники приходили к нему советоваться, прежде чем начать копать. Когда он был еще на равнине, то, помнится, господин Буас, в то время проводивший себе воду, нарочно приезжал за ним в экипаже. Это было до твоей женитьбы. Он нашел здесь резервуар воды. «Копайте тут, — сказал он: — она недалеко, я ее чую». Сначала смеялись над ним. Потом принуждены были рыть там где он сказал, и нашли воду. Я хочу его повидать.

— Дело твое.

Гондран осторожно скребет подбородок. Внизу ямочка, где каждый раз после бритья остаются порезы.

— Ну, как дела, отец Жанэ?

— Он вас не узнает, — шепчет Маргарита.

Жанэ устремляет на Маргариту очень ясный взгляд:

— Она с ума спятила. Не узнаю? Значит, ты думаешь, что я свихнулся?

— О, у него еще хороший слух!

Жом садится у постели, в ногах, на одной линии с этим большим телом, от которого остались только кожа и кости, взгляд и слова.

— Как дела, Жанэ?

— Плохо, и этому конца не видать.

— У тебя болит что-нибудь?

— Голова.

— У тебя голова болит?

— Нет. Она не болит, как у других: она полна, вот в чем дело, и трескается в темноте, как старая миска. Меня оставляют все время одного, я не могу говорить, это накопляется во мне и давит на кости. Немного вытекает через глаза, но большие куски не могут пройти и остаются в голове.

— Большие куски чего?

— Жизни, Жом.

— Куски жизни? Что ты хочешь сказать?

— Ты сейчас увидишь. Я вспоминаю все, что делал в своей жизни. Это приходит большими кусками, плотными, как камни, и это поднимается сквозь мое мясо. Я вспоминаю все. Я вспоминаю, как, идя на ярмарку в Рейла, подобрал обрывок тесемки на Монфюронском шоссе. Я обвязал им кнутовище. И теперь я вижу тесемку, вижу кнут, вижу колесо телеги, как видел их, когда нагнулся, чтобы подобрать тесемку. Я вижу ноги мула, который был у меня тогда. На стене, там, напротив, я все время вижу все это: тесемку, кнут, колесо. Я закрываю глаза, тогда это остается в моей голове. И так вот все, что я делал. Теперь, в то время, когда я говорю с тобой об этом, — немного отпустило.

— Ты вспоминаешь все?

— Все. Даже такие вещи...

— Какие вещи?..

— Такие вещи, которые делаешь иногда, думая, что

это пройдет бесследно, а потом это остается. После, через некоторое время, снова находишь их: они тут как тут и ожидают тебя.

— Плохие вещи?

— А ты знаешь, что плохо и что хорошо?

Жом умолкает. В словах старика словно глубокие провалы, в которых клокочет скрытая сила.

— Грита, воды!

Он совсем другим голосом требует, чтобы ему дали напиться.

Маргарита подходит потихоньку с чашкой, — в ней немного воды.

— Есть у тебя еще? — спрашивает Жанэ, понизив голос.

— Это святая вода. Я берегла ее для троицына дня. Она была в шкафу. Хорошо, что она пригодилась.

— Жанэ, ты ведь все помнишь, — ты должен помнить день, когда ты нашел источник.

— Да. Ты смеялся вместе с другими, ты —тоже.

— Сомнение брало.

— Все вы одинаковы. Вы всегда хотите понять: почему тот делает так, почему другой — этак? Дайте же делать тем, кто знает. Нашел я воду — да или нет?

— Нашел.

— И хорошую воду?

— И хорошую воду.

— Чего же тебе еще надо?

Жом решается сразу:

— Я хотел бы знать, как ты это сделал. Как надо копать землю? Или же есть какая-нибудь трава, по которой можно узнать место, где проходит вода?

— Посмотри там, где мой табак.

— Где?

— Там, в простыне, поищи-ка.

Жом находит небольшой шарик табаку, уже разжеванный и еще влажный.

— Дай сюда.

Жом сует его Жанэ в рот.

— Знаешь песенку, Лександр:

А на рынке в Пертюи,
Коли ты не дашь монет,
Конюх, как ты не проси,
Скажет: сена нет и нет.

Жанэ смеется. Из угла его рта течет табачный сок.

— А, старый плут, — шутит Жом, — ты увиливаешь, ты не хочешь открыть мне секрет, как находить воду.

— Нельзя, сынок. Это — от рождения. Если у тебя нет этого от рождения, то, сколько ни копай, ничего не найдешь. Этому надо учиться в утробе матери. Тебе надо было раньше позаботиться об этом. Ну, а теперь уже поздно. Разве этой тебе мало? Разве нехороша моя вода? Другой такой ты никогда не найдешь в холме.

Жом собирается сказать, что источник мертв, но Маргарита грозит ему жирным пальцем:

— Тссс...

Впрочем, теперь кончено: Жанэ не скажет ничего. Хитрость, болезнь или злоба?

— Я так и знал, — говорит Гондран, входя, — из этого ничего не вытянешь, — он показывает на безмолвного Жанэ. — Одна пакость — с головы до пят.

Всего мучительнее, начиная с полудня.

Два дня уж солнце как будто прыгнуло к земле: его горящая головня, придвинувшись, потрескивает на краю неба. Падает зной, тяжелый, как ливень в грозу. Воздух дрожит; липкие вихри крутятся в нем.

Пьют одно вино. Жадная гортань беспрестанно просит пить.

А жажда остается неутоленной.

Часы сотканы из видений, где пляшут серебряные воды.

Все готово для экспедиции: веревки, бидоны, зажигалка, палки с железными наконечниками, ружье. Ждут только ночи. Она скоро наступит: небо — зеленое; легкие облака, только что бывшие розовыми, постепенно голубеют; вся белая пыль солнца оседает в чаше неба; тень Люра поднимается.

Вот что собираются делать: узнали от Мора, что он видел дважды, как Гагу возвращался на заре, — штаны у него были вымазаны в грязи, с волос струилась вода, — и решили итти за ним следом этой ночью. Он, должно быть, нашел источник. Увидим.

Конечно, лучше было бы не пускаться в пустыню ночью, но ничего не поделаешь.

И потом — светит луна. Видите: тень кипариса мало-по-малу чернеет и четко вырисовывается на траве.

Громким голосом пожелали друг другу доброй ночи. Идут по площадке. Хлопают дверьми. Ставни стучат сильнее обыкновенного. Надо, чтобы Гагу думал, что легли спать.

Ночной ветерок перебирает листву дуба. Поет соловей.

— Вот он, — шепчет Жом.

Луна ярко освещает два обросших мхом столба и хижину из жести. Гагу выходит из нее. На нем одни портки; его торс обнажен; большая голова поднимается к луне. Навстречу белому свету он вытягивает слюнявую губу, откуда вырывается какое-то квохтанье, переходящее из одного тона в другой. Он поет.

Поет и приплясывает. Лунный свет действует на него возбуждающе: он тихо двигается, почти не переступая ногами, точно плывет по траве; его бедра делают волнообразные движения, он пошатывается, опьяненный вечером, и выходит из-за столбов.

И вдруг стремглав бросается во тьму.

— Пропустим его немного вперед, — говорит Мора, — у него ухо востроe. Этой именно дорогой приходит он по утрам. Я знаю, что он идет через Томасин, мы не потеряем его из виду.

За деревьями, купами поднимающимися над Бастидами, дорога, по которой идет Гагу, пролегает по пустоши, голой, как ладонь, с легким подъемом по направлению к высокому рифу Люра.

Видно, как Гагу шагает там, попрежнему приплясывая.

— Идем!

Жом встает, Мора — тоже. Арбо и Гондран охраняют женщин.

— Мне очень хотелось бы дождаться Юлалии, — говорит Жом, — она ушла еще днем и вернется поздно. Она тоже ищет воду. Гондран, покарауль ее и скажи ей, чтобы она шла ночевать к тебе. Все-таки будет не одна.

Когда минуешь Томасин, расходятся две дороги. Ска-

зать — две дороги, пожалуй, слишком много: отсюда можно пойти в двух направлениях. С одной стороны постепенно спускаешься, пока не дойдешь до ложа высохшего потока. Идешь вдоль его и выходишь на «Равнины», на дорогу в Рейлан. С другой стороны — та же голая пустошь, с небольшим подъемом. Проходишь через расщелину в скале и попадаешь в обширную котловину, воронкой, под самым Люром. Тут все та же пустыня. В центре котловины — пыльный труп деревни, деревни без жителей. Таких, как она, у подошвы Люра насчитывается пять. Эту покинули в холеру 1883 года. Перемерли сотни людей, — умирало по десять человек в день. Осталось не больше двадцати женщин и детей; они спустились с горы, с узлами на плечах, и ночью, полями, пробрались в городки равнины. С той поры там — ни души. Дома стоят полуразрушенные. В заросших крапивой улицах ветер гудит, поет, ревет, завывает в дыры окон без ставней и зияющих дверей.

Гагу направляется в сторону этой деревни.

— Эге! — тихо произносит Мора.

Они останавливаются. Шаги Гагу звенят впереди.

— Он идет туда.

— Как будто.

— А ты согласен итти туда ночью?

— Вдвоем — да. Один я предпочел бы вернуться, но вдвоем — другое дело. И потом, надо же разузнать, где он берет воду.

Луна превращает Гагу в странное существо. Очутившись на территории, населенной зверьем, он инстинктивно подражает теперь сторожкой походке крадущегося зверя; он согнул длинный спинной хребет, вобрал шею в плечи и идет, нагнув голову вперед; его большие руки касаются земли, как две лапы. Рядом с ним прыгает тень чудовищного четвероногого — его двойник.

Он попрежнему квохчет нараспев, на разные тона. Время от времени шаги Гагу переходят в танец, и тогда его голос разносится, принимая более резкий и веселый оттенок.

Когда они входят в расщелину скалы, Мора еще раз останавливает Жома.

— Слышишь?

— Да. Я тоже с минуту как слышу...
— Слева?
— Слева.
— Чудно! Это со стороны Эмберской долины смерти. Кто это может быть?
— Не знаю.
Действительно, на склоне холма слышны шаги, как будто кто-то идет по тропинке параллельно с ними.
Катятся камни. Впереди — Гагу.
Они потихоньку двигаются дальше, прислушиваясь.
— Идет кто-то, кому знакома дорога.
— Ты ничего не видишь? У тебя лучше глаза.
Мора не видит ничего, но он отстает и удерживает Жома за руку.
— Жом, вернемся. Послушай! Кто может, кроме нас и Гагу, итти ночью к этой деревне по пустыне? Кто? Разве только... Ты сам хорошо знаешь, это не бабьи сказки, — после холеры там, наверху, творится такое, что лучше не совать туда носа. Видел ты пастуха из Кампа, когда его принесли на плетенке? Видел его? Он умер не простой смертью. Видел ты его глаза? И его шею, скрученную, как колодезная веревка?
Жом на мгновение останавливается, не говоря ни слова. Голос Мора продолжает звучать, будя в нем воспоминания. Он видит мертвого пастуха, двадцать мертвых овец, мертвую собаку и тучи мух на пустынной улице. И говорит, заикаясь, шопотом:
— Знаю, Цезарь, но вода...

Жом произнес слово, которое нужно было и Мора, и ему самому. Вода, призрак воды толкает их вперед. Свежая ночь касается их щек, как обещание. Перед ними вздымается большое тело Люра — матери вод, горы, таящей воду во мраке своей пористой плоти. В воздухе, вдали, дрожит флейта источника; в травах большая плоская скала переливает, как глаз воды. Лунный свет течет с высот неба, брызжет белой пылью, и тень Гагу плывет в нем, как рыба.
— Ты ничего больше не слышишь?
— Нет. Может быть, это возвращался кто-нибудь из жителей Вилемюса.
— Хорошо, кабы так.
— Около того места проходит проселочная дорога из

Больших Эр. Может, один из тамошних возвращается напрямик. Вчера была ярмарка в Маноске.

— А бывает, проходит коробейник с красным товаром.

— Бывает...

И вот перед ними распростертый скелет деревни. Это груда обломков костей, в которой неистовствует ветер. Длинная река воздуха ревет в пустых домах. Их остовы блестят при луне.

Обдуваемая ветром деревня лежит недвижимо в высоких травах, которые зыбятся, как море.

Гагу идет в крапиве по протоптанной дорожке. Теперь он дрожит от волнения и прыгает, как сухой лист, которым играет ветер.

Мора и Жом осторожно перешагивают через балки и камни. Но бидоны, которые они несут на перевязях, все-таки звенят.

— Теперь нельзя шуметь, парень, — говорит Жом, останавливаясь и ложась ничком на груду развалин. — Мы наверняка около воды. Оставим все жестянки под ежевикой, и сейчас же вернемся за ними.

Дома бросают на улицу тень в форме пилы. Там и сям окна кажутся освещенными; но нет — они только смотрят прямо на луну. Тот же самый холодный свет блестит в очагах без решоток. Он обрисовывает силуэты людей в капюшонах, бодрствующих в залах со сломанным полом, среди буйно разросшихся крапивы и боярышника.

Почти нетронутое гумно. Круглая дверь. Солома высовывается наружу. Отсюда однажды вечером, когда разразилась гроза, пастух из Кампа ушел в другую сторону, с овцами и собакой — гуртом, как они пришли сюда.

Гагу делает прыжок и исчезает.

Жом втягивает носом воздух.

— Я чую воду.

Вдруг с верхнего конца улицы, на которой они находятся, перед ними открывается картина.

Площадь.

Еще прямые фасады домов.

Обломок древка прикреплен к покосившемуся балкону. Плакат, на котором можно прочесть: «Республиканский клуб». Трава растет между плитами. Взъерошенное тутовое дерево шелестит в бледной руке луны.

В центре площади старый фонтан выставляет напоказ свое чрево. За исключением горы Люра и деревьев, это, наверное, самый древний предмет во всей округе. Его края стерлись от трения бидонов. Из круглого бассейна выступает столб с бронзовыми трубками. Четыре толстощеких мраморных маски дуют, держа концы в разинутых ртах, но вода не течет. Однако бассейн полон светлой воды; она струится через край на мостовую; ее сила продолбила плиты; огромные хвощи взметнулись из нее. Столб, выступающий из бассейна, кажется живым: как будто кто-то дрожит, закутавшись в плащ. Источник струится во мху вдоль всего столба. Сухими остаются только четыре мраморных маски, взирающих на мертвые дома.

Гагу ринулся на воду. Он загребает ее, взмахивая руками, и она брызжет вокруг. Весь он в воде: вода в его волосах, на мохнатой груди, на худой спине; слышно, как она журчит вдоль его холщевых порток.

Теперь он пьет.

Охватив руками чашу переполненного бассейна, он прильнул ртом к трещине края; между глотками он стонет от наслаждения, как ребенок, который сосет грудь.

Оба смотрят на эту безумную радость; их радость более дисциплинирована. Она — как цветок подсолнечника в их мозгу.

— Надо будет вычистить бассейн, — шепчет Жом.

— И починить трубу, — говорит Мора.

— Будем ходить поочередно с бидонами, — говорит Жом.

— По очереди, как в полку, — поддакивает Мора.

Они там, в темноте, как святые близнецы во впадине ниши. Они перешептываются, и цветок их радости распускается шире, чем солнце.

— Я пойду за бидонами, — говорит Жом.

— В конце концов, — произносит Мора, придвигая стакан абсента, — хорошо, что Жом не видел того, что видел я.

Он пьет. Гондран пользуется этим, чтобы также выпить; ему не хотелось прерывать рассказ.

— ... Чтобы пройти два конца, оттуда до ежевики и обратно, надо четверть часа. Луна заливала площадь.

Было светло, почти как днем. Между тем местом, где был клуб, и прежней булочной на площадь выходит прямой переулок. Луна наводнила его светом, словно загородила новым серебром. Едва Жом ушел, как в конце переулка я увидел что-то черное, высокое, тонкое, до того тонкое, что сначала я подумал — мне померещилось. Потом это приближается, вырастает и вдруг оказывается в каких-нибудь десяти метрах против меня, по другую сторону фонтана. Я застыл на месте, сердце у меня так и заколотилось... Эта штуковина смотрит на Гагу. Я гляжу на нее и говорю себе: «Цезарь, да не Юлалия ли это? Во всяком случае очень похоже на нее». И вот она свистит, и мой Гагу поднимает нос — раз-два, как по команде. Он поднимает голову, видит ее, бежит к ней. У них, должно быть, было так заведено. Все делалось, как по нотам. Она ставит ружье к стене...

Мора умолкает. Он опасливо оглядывается. Он наедине с Гондраном, в кухне, где Жанэ дремлет с открытыми глазами, — Жанэ в счет не идет, — но дверь в комнату приотворена, и слышно, как Маргарита выбивает тюфяки.

Мора подмигивает:

— Иди, толкони дверь.

Гондран возвращается и снова садится.

— Она ставит ружье к стене. Потом ложится, задирает подол, и вот мой Гагу — на ней.

— Как так? — мямлит Гондран, ошарашенный. Он ударяет кулаком по столу. — Как же это так? Да не может быть!

— Все было так, как я тебе рассказываю. С того места, где я был, было хорошо видно: Гагу лег на нее, точно делал гимнастику. И, должно быть, это давно уж у них...

— Тогда, — произносит Гондран, — знаешь...

Мора смакует изумление Гондрана. Тот с трудом переваривает огромную новость.

— Между нами говоря, — снова начинает Мора, — дочь Жома безобразна, стара, все, что хочешь, но нутро-то у нее такое же, как и у всякой другой бабы. Чтобы пойти с ней, надо отбыть воинскую повинность в Африке. Она нашла, что могла...

— Я не спорю, — ворчит Гондран, — не спорю, но... с Гагу! Должно быть, этой девке здорово приспичило? И что же ты сделал тогда?

— Я смотрел с минуту, как они дрыгали ногами, потом подумал, что лучше спровадить их до того, как придет Жом, и выстрелил в воздух. Я сказал ему, что хотел выстрелом прогнать Гагу, но, между нами, Медерик, напрасно он так зазнается...

Гондран пошел первым в мертвую деревню за водой для всех. Он пошел днем, с тележкой и мулом, и привез пять больших глиняных кувшинов.

Жом составил список: Арбо, Гондран, Жом, Мора — в порядке алфавита. И прибил список к стволу дуба. Так не будет споров: чей черед, тот и идет.

И, однако, первым пошел Гондран, потому что сегодня Арбо не до того: заболела его дочка, Мария — старшая. Два дня как ее знобит, несмотря на духоту неподвижного воздуха. Она, должно быть, напилась воды из цистерны, которая служит только для водопоя скота. Она заболела накануне вечером, а щеки ее уже ввалились. Она проводит языком по потрескавшимся губам, чтобы смочить их, но лихорадка их снова сушит. Под ее блестящими глазами темные круги.

Этим утром она начала потеть; пришлось переменить простыни на постели. Она вся липкая от пота.

Бабета тут, у постели. Она плачет и беспрестанно повторяет: «Крошка моя, крошка моя, крошка моя», точно хочет втолковать судьбе, какая несправедливость заставлять страдать ее крошку.

Арбо пошел за Жомом. Тот пришел со своей книгой, с Распайлем, в оберточной бумаге.

Эта книга пользуется большим авторитетом, так как Жом постоянно повторяет: «Я купил ее в том году, когда женился. Я три года собирался ее купить».

Он переворачивает страницы, водит пальцем по оглавлению.

— Вот оно, ты увидишь...

Он тычет под нос Арбо страницу.

— Вот оно, — как раз то, что надо. Ты увидишь...

Они читают вдвоем по складам. Время от времени Жом поднимает голову и глядит на потолок, стараясь понять.

— Что же это такое? — спрашивает Арбо. — Это серьезно?

— Нет, видишь, тут написано. Какой-нибудь доктор закатил бы тебе на пятнадцать франков лекарств и по-

том назначил бы диэту, а тут, видишь, как просто: Это лекарь бедняков, и притом это голова. Ты не сомневайся. Посмотрим, что он говорит: «Отвар из бурачника»... Есть у вас бурачник?

— Да, да, — говорит Бабета.

— «... Поджарить ломтик хлеба, окунуть его в сладкое вино и прикладывать к подошвам больного». Дело не хитрое!.. Потом: «Намочить кусок ваты водкой и пропитать дымом ладана...» Стой! Я напишу тебе все это на бумажке. Коли забудешь что-нибудь, приходи ко мне, — у меня книга.

— Значит, вы уверены, что это несерьезно? — спрашивает Бабета, провожая Жома до порога. — Вы уверены?

— Не беспокойся, я уверен в этом: тут написано...

В подтверждение он хлопает ладонью по книге.

— Надо будет, — говорит Бабета, возвращаясь, — купить такую книгу.

Несмотря на вату, намоченную в водке, и отвар бурачника, Мария не поправляется. Ее ручки точно из фарфора, ее взгляд обращен внутрь. Сквозь кожу видно пожирающее ее пламя. Она вытянулась, стала худа, как распятие. Она не в силах даже поднять руку, чтобы прогнать мух, и позволяет им прогуливаться по лицу; когда они близко от глаз, она слегка шевелит веками.

Бабета с красными глазами борется с болезнью возле нее. Она перерыла все ящики, где спрятаны домашние средства — сухие травы, завернутые в газетную бумагу: ромашка, мальва, шалфей, тмин, репейник, лаванда, белая полынь.

Она разложила на столе развернутые пакетики. От этих цветков зависит здоровье ее дочки. На огне уже поет в кастрюле вода. Достаточно бросить в эту воду хорошей травы, и Марии будет лучше. Бабета ищет, и бумага шуршит на столе, как спелые хлеба в ветреный день.

Жом боится.

С того утра как он увидел себя в роли вождя, он боролся: надежда поддерживала его. Внутри его была точно пружина: полученный удар бросал его вперед. В этот вечер он встретил вдруг на своем пути поток отчаяния, и яростная вода уносит его.

Жом боится. У него нет больше уверенности, что они победят в этой борьбе против коварства холмов. Сомнение закралось в него — сомнение с острыми зубцами, как чертополох.

Началось с Мора.

Жом только что сказал ему:

— Цезарь, завтра тебе итти за водой.

И Цезарь ответил:

— Нет!

Раньше никто не отказывался.

— Я пойду, когда захочу, когда захочу, понимаешь? Не тебе мною командовать! Разве я тебе должен что-нибудь? Если я тебе должен, скажи, — я заплачу. А если я тебе ничего не должен, то иди подальше со своими приказаниями и оставь меня в покое. Мы не малые дети, — сами знаем, что делать.

— Но был такой уговор...

— Никакого уговора не было. Ты один составил список. Прежде всего, какое ты имел право? Кто ты тут, — папа римский, что ли?

— Ладно, пусть так, я пойду, — говорит Жом. — Я пойду вместо тебя.

А Мора оборачивается на ходу и отвечает:

— Пошли Юлалию, — она знает дорогу.

Это не может так продолжаться. С вожаком можно еще рассчитывать на победу, когда тот, кто идет впереди, знает...

Сомнение грызет сердце Жома: знает ли он на самом деле?

«По плечу ли мне бороться с гневом холмов? У меня хорошие намерения — и только. Я поставил стражу, а беда все-таки прокралась между нами. Она пролетела над нами и выбрала, что хотела, без стеснения, как у себя дома: источник, Марию... Она продолжает пребывать тут. Мне кажется, что я слышу ночью взмахи ее больших крыльев. Она подстерегает... Кто следующий?»

Всю ночь Жом мучился сомнениями. К утру у него созрело решение: повидать Жанэ. Тот должен знать выход из всего этого.

Рассвело.

Маргарита, доведенная до одурения этой пляской ча-

сов вокруг постели, спотыкается на распухших ногах. Когда входит Жом, она дремлет, стоя перед открытым буфетом, не зная, зачем пришла.

— Грита, иди усни, коли хочешь, — говорит Жом, — воспользуйся тем, что я здесь. Я побуду немного с твоим отцом.

Как только они остались одни, Жанэ заговорил первым, как будто он давно предчувствовал сквозь стены приход Жома.

— Сиди хоть до вечера, коли охота болтать.

— Жанэ, на этот раз мне не до смеха, — слушай меня хорошенько. Я не решался раньше говорить с тобой об этом, но теперь надо. Ты можешь спасти нас, коли захочешь. Слушай: я видел кота.

Жанэ лежит, как бревно; он не может больше пошевельнуться; его веки опущены.

Он поднимает их; его взгляд вонзается в Жома.

— Поверни мне голову, я тебя плохо вижу, а надо видеть друг друга, чтобы говорить о том, о чем мы собираемся говорить.

Жом берет Жанэ за голову и осторожно поворачивает ее к себе.

— Так. Когда ты видел кота?

— Три недели тому назад.

— Почему же только теперь ты пришел сказать мне об этом?

— Я думал, что смогу помешать этому, как ты однажды, говорят, помешал, но боюсь, что теперь ничего не выйдет.

— А ты сосчитал зубцы холмов?

— Зубцы?

— Заметил ли ты, стоит их шерсть торчком или же слегка ложится, когда дует ветер?

— ?..

— Говорил ли ты колдовские слова воронихе ворона?

— ?..

— Косил ли ты глазами?

— ?..

— Видел ли ты логовище оборотня за холмом Эспель, там, где нет ничего, кроме горелого дрока, который он сжигает своим дыханием?

Жом спрашивает себя, тот ли это человек, которого он

только что видел, — так резко и четко звучит голос Жанэ.

Тот самый: тот же глаз, тот же рот, окрашенный табачным соком.

— Нет, я ничего этого не делал.

— Что же ты делал тогда?

— Я?.. Я, Жанэ, сказал: «Стерегите дороги, как бы хищный зверь не пришел невзначай...» И вот, в то время, когда стерегли, что-то ранило источник, и он умер. Я искал воду, я рыл землю, потом перебрал все в своей голове. Наконец мы нашли воду в деревне, наверху, — ты знаешь, где? Теперь дочь Арбо заболела. Какой-то особенной болезнью, которой нет в моей книге. Она постепенно худеет, и сейчас — точно голубенок. Едва может открыть рот, чтобы сказать «мама». Жалко ее. Самое страшное, что и в мозгах это начинается. Мора уже... В мозгах, где никто ничего не видит, где болезнь идет своим путем, незаметно, без лихорадочного румянца, без опухолей, потихоньку, потихоньку... Пока все — как один, можно победить: трудно сломать пук прутьев. Но если идут вразброд, вслепую, не зная куда, и каждый думает только о себе, — то спасения нет. Я боюсь за Бастиды...

— Балда!

— ?..

— Балда, говорю тебе! И такой хочет командовать! А! Ты видел кота? Ладно. И ты расставил людей на дорогах?

Жанэ смеется. Его рот открывается, крякая, как треснувшее дерево.

— Как же не назвать тебя балдой?

Голос Жанэ делается на несколько тонов ниже и хрипит. Жанэ точно каменный. Его глаза не мигают. Он словно выщербленный камень, сквозь который дует ветер.

— Вам — крышка!

— Не говори так, Жанэ. Можно подумать, что ты радуешься этому.

— Я очень доволен: таких болванов, как вы, слишком много развелось.

— Почему ты говоришь это? Разве тебя кто-нибудь обидел?

— Все.

— Что же тебе сделали?

— Вы всегда тут, перед моими глазами: ваши ноги двигаются, заши руки словно ветки, у вас полное брюхо. Подумали ли вы о том, чтобы уступить мне чуточку вашей жизни? Самую малость. Я прошу немного: ровно столько, сколько нужно, чтобы набить трубку и пойти посидеть под деревом.

— Ты знаешь, Жанэ, что это невозможно. Не надо сердиться на нас за это. И потом, думаешь ли ты хоть немного о Бастидах? Об этом клочке земли, который принадлежит нам, об этих домах, где пережито много и хорошего, и плохого, о своей дочери, о Гондране, который делает тебе такой хороший абсент.

— Он мне его больше не дает с тех пор, как я заболел.

— И о дочках Арбо, об этих молодых всходах, и о Бабете, которая пришла из Пертюи жить с нами и всегда цвела здоровьем? Всему этому еще не пришла пора умирать.

— Зато мне пора.

— И о своих полях, о кусках чистой земли между деревьями, о своих оливах, о своих дынях. Думаешь ли ты хоть немного обо всем этом? Или ты хочешь, чтобы это снова сделалось дикой травой?

— Н... мне на все это. Я иду впереди, а это — сзади. Там, куда я иду, мне это не понадобится.

— Ты эгоист.

— А мне на это наплевать! И говорю тебе еще раз: вам — крышка! Не пройдет месяца, как вас не будет. И ты знаешь, что, когда я что-нибудь говорю, то это верно. Помнишь ли ты свою жену? Разве я не предупреждал тебя? Видел ты ее в петле? А твою дочь наяривает слюнявый...

Жом вскакивает. Стул падает сзади. Он хватает Жанэ за горло.

— Довольно! — говорит он, и слова брызжут сквозь его стиснутые зубы. — Довольно! Мне надоели твои пакости. Ты хуже волка. Ты знаешь, что о моей жене никто не может сказать ничего худого, в особенности же ты. А о моей дочери... Кабы моя власть, я заткнул бы тебе глотку кулаком!

— Руки коротки.

Жом успокаивается; полной грудью вдыхает воздух, прислушивается к комнате, где спит Маргарита.

Поднимает стул и садится. Он овладел собой.

Жанэ кажется мертвым. Но слышен его смешок, гложущий молчание.

— Жанэ, я пришел не для того, чтобы спорить. Ты видишь, я теперь спокоен. Не я один подвергаюсь опасности, а все, — подумай об этом. Если ты знаешь, что надо делать, — скажи.

— Я скажу тебе это. Это не так просто. Надо взглянуть на вещи сверху, как бы с вершины дерева, так, чтобы вся земля расстилалась внизу.

Жанэ едва дышит. Чуть заметное, птичье дыхание. Он закрыл глаза. Он смотрит внутрь—в подвал своей груди, где скопилось столько всего за восемьдесят лет жизни.

И это хлынуло разом, это потекло, светлое, потом мутное, потом опять светлое, точно вино, смешанное с осадком на дне, как будто втулка выскочила из бочки.

... Ты хочешь знать, что надо делать, а не знаешь даже мира, где ты живешь. Ты понимаешь, что против тебя поднялось что-то, но не знаешь, что это такое. Все это потому, что ты смотрел вокруг, не задумываясь. Держу пари, что ты никогда не думал о великой силе.

О великой силе зверей, растений и камня.

Земля не создана для тебя одного, — для того, чтобы ты пользовался ею без конца, не спрашивая время от времени согласия хозяина. Ты арендатор, но есть и хозяин. Хозяин в куртке с шестью пуговицами, в жилете из коричневого плиса, в плаще из овчины. Знаешь ли ты его?

Ты слышишь шелест как будто от ветра — листа, листочка, листика и яблони, покрытой яблоками. Это его ласковый голос, он говорит так с деревьями и с животными. Он — отец всего, в его жилах кровь всего.

Он берет в руки запыхавшихся кроликов: «А, мой красавец, — говорит он, — ты весь мокрый, твой глаз косит, твое ухо в крови. Ты бежал со всех ног, спасая свою шкуру? Ляг между моих ног. Не бойся, там тебе будет хорошо. И волчьи ягоды и ручей...»

Потом приходят собаки.

Когда я говорю тебе: собака охотится одна, это значит, что она покинула тебя, чтобы итти к хозяину.

Прекрасная куртка с шестью пуговицами и колоколец на шее барана...

Под кровлей хижины из его ног собака и кролик делаются друзьями, касаясь мордой морды, шерстью шерсти. Крольчишка чувствует, что твоя собака дышит ему в ухо, твоя собака трясет ухом, потому что кролик дохнул в него. Он оглядывается и как будто хочет сказать: «Не моя вина, что я бежал целый день по зарослям дрока, по пашне и по колдобинам ручья, где в глубине травы, как силки, опутывают руки и ноги».

Все приходят потом: горлица, лисица, змея, ящерица, полевая мышь, кузнечик, крыса, куница и паук, водяная курочка, сорока, — все, что ходит, все, что бегает. Дороги кажутся ручьями из животных, они поют и прыгают, как ручей, текут и трутся о берега дороги, отрывают куски земли и уносят с собой целые ветви боярышника.

И все это приходит, потому что хозяин со всеми милостив.

«Голубка — гуль-гуль-гуль, лисичка — лис-лис-лис», — и он тянет ее за шерстинки.

«Телочка, телочка — мордой в ведерочко...»

После он обходит деревья.

И деревья то же самое: знают и не боятся его.

Ты до сих пор видел только деревья, которые пугливо озираются, — ты не знаешь, что такое на самом деле дерево. А с ним они — как в первые дни мира, когда еще не было срублено ни одной ветки.

...Был лес, и не было еще стука топора, не было еще ни серпа, ни ножа на холме, лес на холме, и не было топора.

Он проходит мимо в овчинном полушубке, и липа плачет, как котенок, каштан стонет, как женщина, а платан охает, как человек, который просит милостыню.

Он видит раны от ударов ножом и топором — и утешает.

Он говорит с липой, с платаном, с лавром, с оливой, с чаберником, и за это, за его милосердие, они любят хозяина и повинуются ему.

А если он захочет смести Бастиды с бугра холма за грехи людей, то ему немного надо, ему незачем даже показывать свое лицо людскому сброду. Он дунет слегка в воздух — и конец...

Великая сила в его руке.

Животные, растения, камни!

Сильно дерево: сотни лет оно отталкивает тяжесть неба скрученной ветвью.

Сильно животное. Чем меньше, тем сильнее. Оно спит одинокое в пазухе травы, одинокое в мире.

Одинокое в пазухе травы, и мир кругом.

Оно сильно сердцем; оно не кричит, когда ты убиваешь его, оно пристально смотрит тебе в глаза, пронзает тебя глазами, как иглой.

Ты мало смотрел на умирающих животных.

Силен камень, один из тех больших камней, которые разрезают ветер и стоят с незапамятных времен, — кто знает, — может быть, тысячи лет...

Один из тех камней, которые всегда были в мире до тебя, Жом, до яблони и оливы, до меня, до леса и животных, и до отцов всего этого, твоего, моего и яблони, до того, как отец всего этого был только семенем своего отца.

Одни из камней, видевших первый день творения, которые существуют вечно, все те же, без перемен. Это надо знать, чтобы ведать средство спасения...

Жом слушает. Он чувствует, что мир шатается под его ногами, как дно лодки.

Его голова полна образов земли: он видит деревья, растения, животных, от кузнечика до кабана, и это для него незыблемый мир, где он шагает вдоль неподвижных борозд.

А теперь?

Конечно, он не думал, что Жанэ так силен, и прежде всего эта открывшаяся сила устрашает его. На этот раз перед ним кто-то, кто знает, что говорит.

Вещие слова Жанэ освещают темное, объясняют непонятное. Но страшно то, на что падает этот свет.

Прежде все было так просто: человек, а вокруг, пониже его — животные, растения, и все шло хорошо. Убивали зайца, срывали плод; персик был сладким соком во рту, заяц — кушаньем, изобилующим черным мясом. А после вытирали рот и закуривали трубку на пороге.

Это было просто, но многое оставалось во тьме.

Теперь придется жить с тем, что отныне освещено, и это ужасно!

Ужасно, так как отныне это не человек и все остальное внизу, но и великая злая сила, а под нею — человек вперемешку с животными и деревьями.

Жом чувствует, что под его ногами шевелится холм, грозный и живой.

— Я открою тебе тайну.

Жом предпочел бы теперь, чтобы Жанэ молчал.

... Я открою тебе тайну: все пахнет смертью.

Вокруг нас слишком много крови.

Десять дыр, сто дыр в телах, в живом дереве, и через них кровь и сок текут на мир, как Дюранс.

Сотни дыр, тысячи дыр сделали мы своими руками.

И хозяину не хватает слюны и слов, чтобы исцелять.

В конце концов эти животные, эти деревья принадлежат ему, принадлежат хозяину. Овчину на полушубок дал ему баран, — не сдирая с себя шкуру, не истекая кровью, вот так. И пуговицы из костей барана — вот так, не истекая кровью, пуговицы из костей — баран...

Мы с тобою также принадлежим ему, только мы стали забывать дорогу, которая поднимается к его коленам. Мы пытались исцелиться, утешиться одни, без него, а эту дорожку надо бы снова найти. Найти под мертвыми листьями. Есть листья на дороге, надо поднять их рукой, один за другим, осторожно, чтобы луна не обожгла дорожку, которая прыгает, как козленок, под лучами луны.

И когда мы будем около него, в ручьях его слюны и в ветре его слов, он скажет нам:

«Человечек, мой красавчик с прекрасными пальцами, которые берут и сжимают, поди сюда, человек, — дай посмотреть, помнишь ли ты, как ласкать руками, — я тебя первого научил этому, когда ты был на моих коленах, малюткой, с ртом, полным моего молока...»

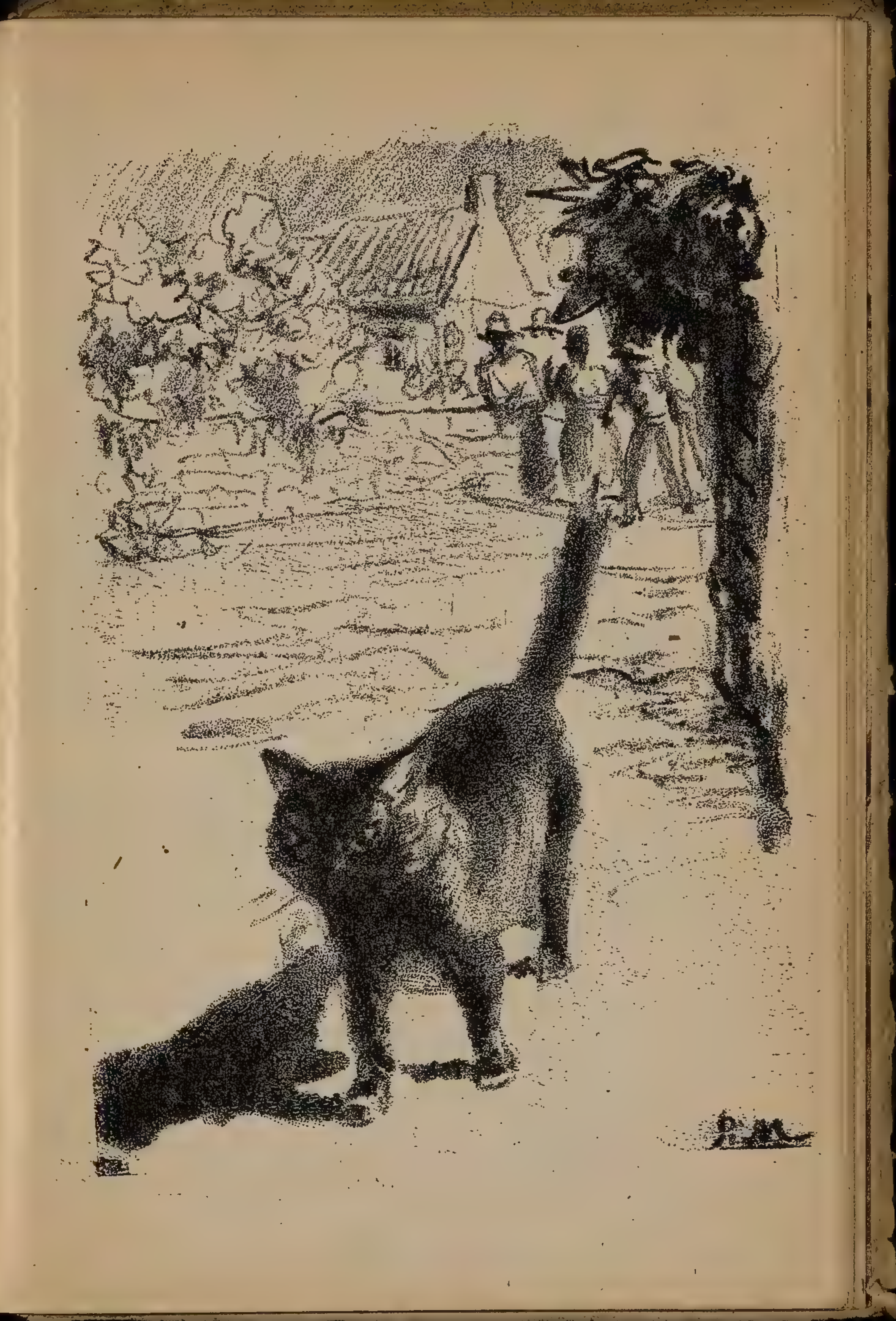
Внезапно видение делается смутным:

— ... молока... лока... лока... ро... ро... рот... олный... олный...

Потом хрип, скребущий воздух, как тормоз телеги при спуске.

Жом одним прыжком — у постели.

Жанэ вытянулся, голова его ушла в подушку. Темная



жидкость клокочет в глубине разинутого рта. «Что, если он помрет?..»

— Жанэ, Жанэ, Эй! Жанэ!

Глаз, уже почти закатившийся, возвращается на место, еще содрогаясь, как барвинок, треплемый ветром, делается тверже, — язык начинает ворочаться.

— ... молока, рот полный молока, а руки твои еще не были в крови...

Молчание.

Слышен храп Маргариты.

— Кончено, — говорит Жанэ. — Успокойся.

В мертвой деревне, куда ходили за водой, Жом нашел женский гребень: один из тех черепаховых гребней, которые втыкают в шиньон. Он нашел его под тутовым деревом, в том месте, где трава была сильно примята, как будто кто-то имел обыкновение лежать там. Ему вспомнились некоторые слова Жанэ и намек Мора также. Он сунул гребень в карман.

Вернувшись домой, Жом, не распрягая мула, пошел прямо в комнату дочери и оставил гребень на комоде, между стеклянным колпаком часов и плетеным блюдцем, полным пуговиц.

Он оглядывал комнату, как бы ожидая, что она откроет ему интимную жизнь дочери. Юбки на стене, старый корсет на стуле, шнурок на коврике перед кроватью. Ящик комода выдвинут наполовину; высунулся желтый край грубой рубашки.

На спинке кровати растянуты женские панталоны; большая овальная щель зияет между ляжками из серой фланели. На ночном столике книжка романа: «Оскверненная девственница».

Гребень на хорошем месте, его отлично видно.

И утром Юлалия, причесываясь перед зеркалом, естественно, воткнула гребень в волосы: но, идя на луг, она остановилась в лощинке, где проходит дорога, — там ее ниоткуда не было видно. Она вынула гребень и стала вертеть его в руках, рассматривая со всех сторон.

Она долго не двигалась, ее мысли витали где-то.

Юлалия вернулась домой. Жом искоса посматривает на шиньон. Гребень там.

— Отец, вы принесли это? — говорит она, вытаски-

вая гребень из волос.

— Что?

— Этот гребень.

— Гребень? Нет. Откуда ты взяла?

— Не знаю. Он был на моем комоде. Это не мой гребень.

— Брось его, коли не твой.

— Конечно, я его брошу, — может, он от какой-нибудь больной. Не понимаю, кто мог положить его ко мне на комод! Утром, причесываясь, я не обратила внимания...

И она кидает гребень за окно.

В это утро как будто кто-то нарочно подстроил это. Все они были на площадке, каждый готовился отправиться в свою сторону, так как они действовали все так же вразброд, и вдруг все разом обернулись, как лист, подхваченный ветром: появился кот.

Он медленно пересек площадку, не спеша, как у себя дома.

Он шел к дому Гондрана. Через отворенное окно кухни виднелась постель Жанэ, а посреди постели — горб: тело Жанэ.

Кот свертывается клубком, прыгает на подоконник и входит.

После этого появления кота глыба страха снова наваливается на них.

С той поры, как поспорили Мора и Жом, все четверо жили врозь. Мора ходил за водой для себя, другие — тоже порознь. Уходили в одиночку по горным тропам, и корзина с кувшинами возвращалась в один дом. А когда кувшины были пусты, не просили у соседа, в одиночку уходили по горным тропам.

Но этот разъединявший их эгоизм вернул к заботам о земле, освободил от вечного страха, и они готовы были сжить.

Арбо пошел посмотреть заброшенные поля пшеницы: слишком тяжелые колосья пригнули стебли к земле, чертополох брызнул сквозь этот тяжелый войлок. Терпеливо, серпом, начал Арбо жать и связал сноп, наслаждаясь жизнью на свежем воздухе, вдалеке от стонов Бабеты и наводящего ужас тела Марии. Гондран, вдали от Жома,

собрал в винограднике корзину винограда. Там также было царство ос, полевых мышей, пернатых хищников. Жом в деревенской кузне выправил лемех своего плуга; взмахи руки и мерные удары молота мало-по-малу усыпили его подозрения. Мора, вдали от Жома, ел фиги. «Завтра, — думал он, — я скажу ему: давай помиримся. Я погорячился, но это прошло, — я пойду за водой для всех».

Они готовы были воспрянуть к жизни, говорю вам, для этого немного было надо. И вот пришел кот. Он выскочил из тутового куста, прошел, купаясь в солнце, прыгнул на окно Жанэ. Всего каких-нибудь пять минут продолжалось это, не больше. Но сейчас же и воздух, и земля приняли зловещий вид.

Кот снова появился. Из окна он прыгнул на фиговое дерево, по фиговому дереву вскарабкался до крыши. Он шагает по черепицам, направляясь к дому Мора. И страх, неистовый страх вновь спаял Мора с другими. Он дотрагивается до руки Жома.

— А что, если я его сниму? — и с этими словами спускает с плеча ремень ружья.

— Нет, брось, только не это.

Мора повинуется.

Отныне они крепкими узами связаны до конца. Зерна пшеницы будут падать одно за другим сквозь войлок стеблей на землю к муравьям; сорока будет клевать виноград и фиги, лемех заржавеет от осеннего дождя.

Они теперь — одно большое тело, скованное страхом.

Кот возвращался два или три раза. Он всегда выскакивает из тутового куста; тугими лапами шагает на выпущенных когтях, с поднятой головой проходит, не глядя, мимо людей.

Или идет, изгибаясь, и его усы осязают воздух, а его остроконечные уши ловят шорохи в тишине.

Или же, сидя дома с задвинутыми засовами, вдруг видят его на подоконнике.

Это случилось с Мадлон Мора. Она пошла за картошкой на чердак. Набрала картошки в передник, еле передвигая ноги. Старость — не радость...

Знаете ли вы, что такое чердак? Полным-полно вещей,

которые кажутся мертвыми: старые сломанные шкафы, рваные башмаки, изношенные корсеты, — словом вещи, которые оставлены тут умирать в полном одиночестве. Когда видишь их снова, они всегда как будто упрекают вас и навевают грусть.

Кроме того, в этот раз была пасмурная погода. Мадлон услышала треск штукатурки на стене, подняла голову: в слуховом окне, на подоконнике примостился кот; он лизал лапу и умывался.

Мадлон рассыпала картошку и мигом спустилась в кухню — откуда прыть взялась! — и выпила ковшик воды, чтобы успокоиться.

Один Гагу не обнаруживает страха. Когда проходит кот, Гагу смеется, показывая длинные лошадиные зубы, наклоняет к коту сморщенный нос, отвислые губы и ласково говорит ему: «Га-гу, га-гу», — ласково, нежно, с такой нежностью и с таким усердием, что шелковистая пена струится под его подбородком.

Однако его также что-то беспокоит. Что?

С наступлением ночи он начинает бродить между забаррикадированными домами. Впервые вместо обычного крика из его закрытого рта исходит какой-то стон, похожий на завывание потерянной собаки, которая зовет хозяина.

Гагу смотрит в окна комнат, где ложатся спать или проходят тени женщин в ночных сорочках, с распущенными волосами.

Гасят лампы. Гагу ждет неподвижно во тьме.

Вечером, как раз в то время, когда спустились сумерки, но глаза еще не освоились с темнотой, Марию стали сводить судороги.

Это началось вдруг: мать услышала, что девочка скрежещет зубами; Бабета дотронулась до нее, почувствовала, что она холодеет и что по ней волнами пробегают судороги, от которых хрустят кости.

Бабета взвыла. Арбо шарит в темноте, ищет лампу. Наконец находит. Стекло катится по скатерти стола, он останавливает его на самом краю. Ищет спички — нет спичек. Вот они, наконец. Он чиркает так сильно, что они не загораются, а только чертят в темноте голубые линии.

Слышен хруст костей Марии. Бабета стонет:

— Головка ее, Афродис, головка...

Наконец лампа зажжена.

Крошка на руках мамы. Теперь, при свете лампы, обе они изменились до неузнаваемости: при последних отсветах умирающего дня, минуту назад, они были совсем другими.

У Бабеты округлившиеся, безумные глаза, рот черный, как дыра источника, откуда безостановочно текут причитания. Мария... Мария у нее на руках — или же большой узловатый корень вереска, который корчится, как на угольях? Две коченеющих ручки царапают тьму.

Слышно только могучее дыхание Арбо и переходящее из одного тона в другой пение коптящей лампы. Бабета осыпает неистовыми поцелуями корень вереска.

Девочку положили на большую постель родителей.

— Открой ей ноги, осторожно.

— Натри ее уксусом.

— А где уксус?

— Там, на камине.

— Нету.

— Там.

— Нету.

— Там, там.

— А, вот он!

Они хлопочут вокруг постели, сталкиваются, отстраняются, цепляются друг за друга, протягивают руки к Марии и стонут.

Ее раздевают. Папа пытается расстегнуть рубашку; перламутровая пуговка выскальзывает из его пальцев, возвращается обратно, танцует, играет; и Арбо с одного маха разрывает рубашку сверху донизу.

Перед ними жалкое тельце. И точно гроза разражается в Бабете:

Ее Мария!

Толстушка, розовая, как роза, — во что она превратилась?

Она сделалась вещью, которую бросают на стеганое одеяло двуспальной кровати и вертят в руках.

Лампа поет.

Они натирают желтое тельце уксусом, пахнущим лавандой и иссопом. Тело делается гибче, шея мягче, голова качается. Рот открывается, зубы разжимаются. Вздох. Ноги и руки отдыхают от напряжения. Пальчики

один за другим удлиняются, раздвигаются, сгибаются, принимая обычное положение спокойной руки. Теперь это опять их Мария, их плоть, два их лица, слившиеся в одно; их дочка вернулась.

— Отнеси ее в кроватку, — говорит Арбо, — положи горячий камень ей в ноги. Прошло.

Он выпрямляет свое большое туловище, делает два шага, протягивает широкую руку к лампе, убавляет фитиль. Лампа умолкает.

«А если это неправда?» — думает вдруг Жом. Он пытается освоиться с представлением о мире в духе Жанэ, и чем больше он размышляет об этом, тем больше сомневается.

«А если это ложь? Если он хотел меня обмануть, чтобы поймать?»

Жом прислушивается к медленной жизни деревьев вокруг, и ему чудится в ней враждебная сила.

На току — трава, пучки желтой травы, как на холме. Этот ток постепенно делается снова куском дикого холма, каким он был прежде. Проселочная дорога с равнины почти совсем загорожена рухнувшим сверху большим кустом ломоноса. В обычное время живо очистили бы дорогу. Мир деревьев и трав исподтишка подбирается к Бастидам.

— Милосердие, — сказал он. — Милосердие... Легко сказать!

Если не копать лопатой и не рубить топором, если не расчищать место вокруг себя, если хоть раз выпустить сталь из рук, то зеленое полчище затопить твои ноги и стены.

Жом поднимает голову. Перед ним, на другом конце тока, под сенью дуба крадется тень: кабан. Кабан среди бела дня в Бастидах!

Животное пробирается под листвой деревьев, почти не пригибаясь к земле. Оно идет к источнику, обнюхивает пустой бассейн, роет копытом землю.

Ружье Жома здесь, у стены; ему достаточно протянуть руку. Он не протягивает руки. В этом есть что-то новое и тревожное.

Кабан увидел человека. Он спокойно выбирает себе ложе и валяется в пыли. Ружье остается у стены. Склонив лоб, сложив руки между колен, Жом смотрит перед со-

бой, как бы не замечая кабана. Он и не думает о ружье. Он боится. Его страх — как заноза в нем, и все его тело болит вокруг. Он боится, поэтому он не протянул руки к ружью. Он не думает больше о своей силе — силе человека; он размышляет о своем страхе и съеживается в этом страхе, как орех в скорлупе.

Зверь трется спиной и хрюкает. Он становится на ноги, поводит рылом, неуклюже прыгает и затем рысцой преспокойно добирается до леса.

Время за полдень. Прекрасная погода; луна галькой катится по песку неба. А между тем со стороны Пьеревер поднимается невиданный огненно-красный туман.

Жом встает. Там, у Гондрана, отворено окно. Виден белый горб под простынями — Жанэ.

— А, Жанэ, я знаю теперь твои козни! Твоя злоба прямо передо мной, как гора. Ты против нас, с другой стороны баррикады — с землей, с деревьями, с животными. Ты негодяй! Моя жена повесилась в овине в ту ночь, когда я подстерегал зайца. Ты это сделал. Не твоими руками, конечно, а твоим проклятущим языком. Отравленный сок зла собрался весь в твоем рту.

Жом подходит ближе. Перед окном расходятся два сука фигового дерева. Жом влезает на эти вилы. Отсюда видно комнату.

Жанэ недвижим. В сумраке его взгляд падает на стену, где висит отрывной календарь. Он тихо бормочет что-то. Он один?

Нет.

Рядом с ним, на постели — кот.

Бегут по камням холма. Кто? Мора. Прижав локти к туловищу, нагнув голову, он несется, как пуля. В чем дело? Он дышит так, что отсюда слышно.

Очутившись на площадке, Мора с криком кидается к дому. Прежде чем начать говорить, он жестикулирует, весь красный, обливаясь потом. Разинув рот, спешит глотнуть побольше воздуха и не может произнести ни слова.

Наконец, у него вырывается:

— Пожар! Пожар!..

Он протягивает руку к холму.

Этот, только что появившийся туман полыхает теперь

по всему небу. Сквозь него можно смотреть на солнце: оно круглое и рыжее, как абрикос.

Усы Жома дрожат. Он смачивает палец слюной, поднимает его в воздух:

— Ветер дует сюда. Скорее!..

Они бегут к домам и, крича, грохочут в двери ногой, рукой, плечом.

— Сейчас, сейчас! — вопит Арбо, кубарем скатываясь с лестницы.

Гондран, Маргарита, Мадлон, малыш-батрак, Юлалия— все кидаются с порога в шумную толчею юбок и плисовых штанов. В головах — дыры расширившихся глаз и зияющих ртов. Бабета отворяет окно комнаты.

— Что такое? Что такое еще?

— Пожар, пожар!..

Мора топчется на месте между матерью и Гондраном;

— ...Занялся Монастырский лес. Дальше, к Десяти Холмам, все кончено, все сгорело дотла. Когда я попал на высоты Эспеля и увидел это... Боже мой, боже мой!..

— А Гаридель?

— Огонь спускается туда.

— А Год?

— Все в огне.

Жом стоит один, в стороне от толпы. Он чувствует, что становится большим и крепким, как дерево. Его сердце сразу освободилось от страха. Он слышит, как оно отчетливо стучит внутри и гонит горячую кровь:

«Ладно. В этот раз известно, откуда это идет, видно, что это такое, ясно, что надо делать. Могло бы быть еще хуже. Мы тут. Я тут. Наша возьмет: мы знаем, в чем дело».

Воздух — точно ароматный сироп, насыщенный запахом и жаром.

Шаг — и Жом среди них. Его правая рука на плече Мора, левая рука — на плече Гондрана, он среди них, как ветвистое дерево:

— Все идем, ребята! Арбо, вели отнести девочку к Гондрану, ее положат в задней комнате. Юлалия, помогай Бабете. Мать Мадлон — тоже к Гондрану. Все жен-

щины у Гондрана. Идите! Не разлучайтесь, чтобы знать, где вы, если вы понадобитесь. И потом, если будете все вместе, вам не будет так страшно.

«Мы:

«Арбо — топор и мотыгу.

«Мора — мотыгу, захвати также трезубец.

«Гондран — топор, веревки и бич.

«Малыш, ты пойдешь с нами. Беги ко мне, возьми два моих топора — большой и маленький; они под верстаком.

Женщины бегут.

— Бабета! Эй, Бабета, заверни хорошенько крошку в одеяло.

— Мать, захвати, чем покрыться.

— Деточка, не оставайся тут, беги скорее.

Окна отворяются.

— Отец, вы взяли ключ от шкафа?

— Идите, идите скорее! — говорит Жом.

— Отец, ключ от шкафа, отец, ключ?

— Что?

— Ключ от шкафа?

— За стеклянным колпаком часов.

Двери хлопают.

— Топоры, малыш!

— Не нашел.

— Под верстаком, говорят тебе, чертенок.

— Арбо, ты все взял?

— Я взял также и садовый нож.

— Со мной две мотыги, — говорит Мора.

Гондран выходит из Монж.

— Марию уложили.

— Она не плакала?

— А моя мать?

— Готовы ли вы, чорт вас дери?! Да или нет? — кричит Жом.

Стая птиц, густая, как река, проносится мимо.

Жом влезает на фиговое дерево.

В комнате Жанэ недвижим, спокоен, в том же положении. Подле него кот расчесывает шерсть когтями.

— Жанэ, горит Монастырский лес, понимаешь? Ветер оттуда. Что ты скажешь?

Молчание, в котором гудит волна ветра, отягченная резким запахом горящей смолы. Потом раздается крик Жанэ; он кричит изо всех сил:

— Балда!

Загорелось между двумя деревнями, где жгли картофельную ботву.

Гибкий зверь огня запрыгал по вереску рано утром, когда пробило три. Теперь он бесновался в сосновом бору. Одну минуту надеялись обуздать его, отделавшись небольшими потерями. Но он ринулся сплошным пламенем, пылая весь день и часть следующей ночи, и усталость сломила руки и истомила мозг всех парней. Когда занялась заря, увидели, что он извивается между холмами своим широким телом, похожим на поток, еще более могучий и веселый. Опоздали.

А потом он протолкнул свою красную голову сквозь леса и пустоши; чрево из пламени потянулось за ним, а сзади его хвост глушил горящие уголья и пепел. Зверь ползет, прыгает, подвигается вперед: удар когтями вправо, удар влево; здесь он вспарывает брюхо дубовой роще, там, лязгая зубами, пожирает своей пастью двадцать нетронутых дубов и три пушистых сосны сразу. Жало его языка щупает ветер, прежде чем принять направление. Можно подумать, что он знает, куда идет...

Его окровавленную морду увидел Мора в котловине.

Бабете страшно в задней комнате: стелят тюфяк на полу в кухне для Марии, а рядом — мешки для ее матери и сестренки. Между задней дверью и буфетом наваливают кучу бурачника, на которую ляжет Мадлон.

— Не беспокойтесь обо мне, — говорит Юлалия, — я найду себе уголок.

— Сколько народу! — восклицает Маргарита. — На миру и смерть красна.

Стены комнаты отбрасывают ее, как мяч: она идет от бельевого шкафа к буфету, хочет дать простыни, подать кофе — все сразу — и ходит с пустыми руками, не зная, с чего начать; на лице ее застыла широкая улыбка, как у изваяния.

— Устраивайтесь сами, устраивайтесь сами. У меня голова идет кругом!.. Бабета, возьми чашки... Юлалия, дай простыни, возьми цветное одеяло, потом...

Зажгли керосиновую лампу. Постель Жанэ поднимает тело старика до кромки тени абажура.

Маргарита уже два раза сказала:

— Юлалия, ложись, поди туда, за печку. Там тебе будет хорошо, там есть место.

— Оставьте меня, я еще успею. Мне не спится, я думаю о них.

Остальные, окончив приготовления, легли на соломенниках на полу. Теперь они успокоились, раскинувшись на своих ложах. Бабета — между двумя дочурками. Мадлон — в углу между дверью и буфетом, не раздеваясь, в юбке с тремя оборками и в косынке, Маргарита — на коврике перед постелью. Она сняла лифчик. Юбка и чулки остались на ней. Она лежит навзничь; ее объемистые груди, покрытые веснушками, свисают — одна с одной стороны, другая — с другой; торчат закругленные красные концы.

Уже запело глубокое и протяжное дыхание; в него вплетаются — прерывистое, вырывающееся из пересохших от лихорадки губ Марии, потом — сопение в два тона, играющее в ноздрях Маргариты, и пыхтенье старухи Мадлон — словно курильщика с трубкой. Время от времени в этот концерт вступает хриплое клокотанье; оно усиливается, ослабевает, умолкает: Жанэ дышит с трудом.

Убавили фитиль лампы. Свет похож на желтый шарик, прилепленный к железным ободкам висячей лампы. Одинокий огонек посреди комнаты, не достигающий даже углов. Он едва касается красивого, точеного белого носа Бабеты, груди Маргариты и края юбки Мадлон.

Вдруг стена озаряется ярким светом, пронзающим тьму. Танцует черный силуэт кастрюли. Окно напротив освещено большим, ослепительным рыжим цветком.

Юлалия подходит к окну.

— Уже перекинулось на Юбаки, — бормочет она.

Снаружи — темное тело пустынных домов, потом — холм, касающийся чрева ночи. Контуры окаймлены от-

блесками рыжего пламени, пожирающего леса Юбак на соседнем бугре.

Холм, с грузом растений и животных, поднимается черный, тяжелый, гнетущий своей неподвижностью и силой.

Что, если разгневается и он?

Лампа гаснет, шарик света суживается. От носа Бабеты остался только бледный, расплывающийся треугольник; видна лишь грудь Маргариты, поднимающаяся и опускающаяся в такт двум тонам ее сопения.

Отблеск пожара врезает в черное дерево комнаты искаженные черты лица Юлалии.

Лампа погасла. Незаметно. Грудь, нос стерлись. На стене, где прицеплены кастрюли, дрожит большое рыжее пятно, в центре его вырисовывается словно яйцо — оно удлиняется, делается плоским: это отражение, в увеличенном виде, пузырька в стекле окна, сквозь которое текут отблески пылающих Юбак.

В очаге стонет, потом гаснет головешка.

Поет петух. Дуб полощется в ветре. Должно быть, заря.

Тусклая и серая ниточка зари.

Часы показывают семь. Они, наверное, остановились.

Маргарита просыпается первой; садится на коврик, где спала; долго и ожесточенно скребет ногтями живот, тугой, как барабан; просовывает груди под перемычки рубашки и, загребая рукой, помещает их во впадинах лифчика.

Отворяется дверь. Юлалия просовывает голову в отверстие; она как будто смущена, увидя проснувшуюся Маргариту.

— Ты уже встала?

— Я не могла заснуть. Смотри, уже горят Юбаки.

— Юбаки?

Маргарита повторяет: Юбаки. Она на ногах, но еще дремлет; она не отдает себе отчета в том, что означает пожар в Юбаках.

— Который час?

— Почти половина восьмого.

— Половина восьмого? А как плохо видно!

— Юбаки горят, поэтому плохо видно, — такой дым, что не видать больше Святой Ростани.

— Ах, вот оно что! — со страхом произносит Маргарита, поняв наконец.

И прибавляет, как бы приходя в себя:

— Я сейчас сварю кофе.

Бабета пробуждается сразу, вскрикивает, отмахивается руками, как бы защищаясь:

— Ах, что такое? Я испугалась. Как пахнет гарью!

— Юбаки горят, — равнодушно отвечает Маргарита, приготовляя кофе.

Дверь распахивается настежь и ударяет в стену. Все женщины оборачиваются. На пороге Жом.

Молчание. Слышно, как чашка катится по столу, падает и разбивается.

— О, Жом! — восклицает Бабета.

Юлалия подходит и дотрагивается до отца.

— Что, что с тобой?

Длинные усы Жома с одной стороны сгорели совсем, глаза блестят среди сажи и пота. Он без куртки; нет одного рукава рубахи; видна длинная сухая рука, где сухожилия в палец толщиной извиваются между пучками седых волос.

— А Афродис?

— А Гондран?

— Целы, целы! Я оставил их на склоне Нового ручья. Там погасло. Я пришел взять кофе, «очищенной», хлеба — всего. Если у тебя еще остался омлет, заверни в кусок бумаги, дай также немного ветчины... Теперь занялись Юбаки. Плохо дело: ветер оттуда. Я увидел это, когда шел сюда. Среди этого дыма я не знал, где я. Поторапливайтесь, я ухожу... Бутылки не надо: куда я ее дену? Я не могу нести это в руке всю дорогу. Налей в кувшин, закрой его крышкой от кастрюли: она — в самый раз. Не выходите. В этих холмах неизвестно, куда пойдет, — занимается везде. Оставайтесь тут, все вместе. Или Гондран, или я вернемся вечером.

Жом наклоняется к Маргарите и тихо спрашивает:

— А отец? Он ничего не говорил?

Красная луна толстого лица приподнимается: добрые круглые голубые глаза, голубые, как просветы в листве, а за ними — ничего.

— Нет. А что?

Жом в полном снаряжении: ремни через плечо, торбы, кувшин и корзина в руках. Перед тем как переступить порог, он вспоминает:

— Юлалия, ножницы с тобой? Отрежь это, — говорит он, показывая на уцелевшую половину усов, — мне это мешает.

У водопоя Жом встречает Гагу.

— Эй, парень, иди сюда!

Тот подходит бочком, как собака, которая видит кнут.

— Не бойся, чертяга. Держи, тащи это!

Жом протягивает ему кувшин — и айда.

Жом широко шагает впереди. Гагу, запыхавшись, весело бежит вслед за ним и вступает в объятую гневом область горных высот.

Они идут вдоль долины по склону холма. Кругом них, со всех сторон, клубы дыма и треск. Видно место, где ступает нога, и пространство в пятьдесят метров вокруг и в два метра над головой — вот и все. Дальше — дым.

Навстречу им из полога дыма вдруг встает куст, близится, проходит мимо, исчезает.

Иногда обезумевшая птица падает, ползет по земле, собирается с силами и опять погружается в темную мглу, которая течет, как река, там, где должно быть небо.

Жом следит за идиотом.

— Эй, Гагу, не спускайся вниз, там плохо, — иди вслед за мной, вот тут.

Он показывает место за собой, и Гагу послушно идет за ним по пятам. Большое лезвие пламени вдруг разрезает дым слева. Сосна отбивается, крякает, корчится, рушится среди треска искр. Пламя взвивается в сухой траве.

— Гагу, сынок, наддай пару, лезем в гору!

Они поднимаются на холм наискосок. Три шага — и они в дыму, в клубах дыма. Жом сует руку назад, хватает на лету Гагу и тянет его к себе.

— Сюда, паренек.

Чертовски пахнет гарью; слышно, как трещат и лопаются шишки. Что, если горит впереди?

Один за другим два крупных зайца, твердых, как камень, выкатываются под ноги Жома; потом слышно, как

они кричат внизу, добежав до острия пламени.

Мора на холме один-одинешенек. Один рядом с большой, кряжистой глянцевитой сосной. Дерево топорщит свое густое зеленое оперение и поет. Ствол согнулся и лег в ложе ветра, потом одним взмахом, подняв вверх свои красные руки, взметнул в небо пышную хвою и замер так. Он таинственно поет тихим голосом.

Мора взглянул на сосну, потом на дым, вырывавшийся из кустов, внизу, — это делалось без размышления, инстинктивно, — и сказал:

— Эту, нет — эту ты не возьмешь!

И начал рубить кругом.

Внизу сразу разъярилась земля. Кусты защищались с проклятиями: огонь встал на дыбы и вмиг раздавил их своими голубыми ступнями. Он заплясал, крича от радости. Продолжая плясать, хитрец маленькими шажками подобрался к можжевельнику, который даже не защищался. В мгновение ока можжевельник был повален и кричал еще, когда пламя, дойдя до ровного и свободного пространства, запрыгало по траве.

Оно уже не танцует. Его торс оголен, рыжие мускулы извиваются, знойное дыхание пробивает в небе пышущую жаром дыру. Под ступнями пламени слышен хруст костей лесной пустоши.

Мора наносит удары направо и налево, спереди и сзади, потом прыгает назад и возвращается снова. Вдруг Мора и пламя очутились лицом к лицу. Они пляшут один против другого, толкаются, отступают, кидаются навстречу, раздирают друг друга, изрыгают проклятия...

Мора искоса посматривает на красавицу-сосну.

Но пламя берет хитростью.

Присев на задние лапы, оно прыгает, словно хочет покинуть землю навсегда; сквозь его вытянувшееся в нитку туловище можно видеть обгорелый холм — от края до края. Еще мгновение — и оно уже на сосне и потрошит ее.

— Дьявол! — вопит Мора и прыгает назад, в дым.

Он со всех ног катится вниз по откосу. Пласт горящей коры покрывает вдруг его хребет; морда пожара дует ему вслед. Пламя перекидывается через гребень холма.

Слева дым плотен и неподвижен, как валун. Кашляя и

отхаркиваясь, прыгает какая-то тень. Ругань.

— Это ты, Жом?

— Э-э! Наверху горит?

— Все. Нельзя мешкать ни минуты. Осталась свободная дыра только со стороны Бурн.

Это означает, что надо бежать по крайней мере пятьсот метров по крутым изломам узкой долины.

Тут не до смеху.

Жом бросает корзину, задвигает бутылку с «очищенной» поглубже в карман и — вперед.

— А Гагу?..

Жом останавливается на бегу.

— Гагу, Гагу!..

Сосна валится сверху в фейерверке искр.

— Гагу!..

Лавина дыма низвергается вниз.

Тем хуже.

И потом — надо спасать и свою шкуру. И Жом возобновляет свой бег — могучий бег охотника.

Вырвавшись из царства дыма, трое людей бегут по светлому ковру пустоши.

Один, конечно, Мора: только он выбрасывает так ноги на бегу.

Кто двое других? Жом надеется, что один из них — Гагу. Нет, это Арбо и Гондран. Когда они сходятся, их можно узнать только по голосу. Они опалены, у них нет больше ресниц, они задыхаются, их белье дымится и пахнет горелым.

Горящая бахрома внизу штанов Арбо грызет материю, нить за нитью.

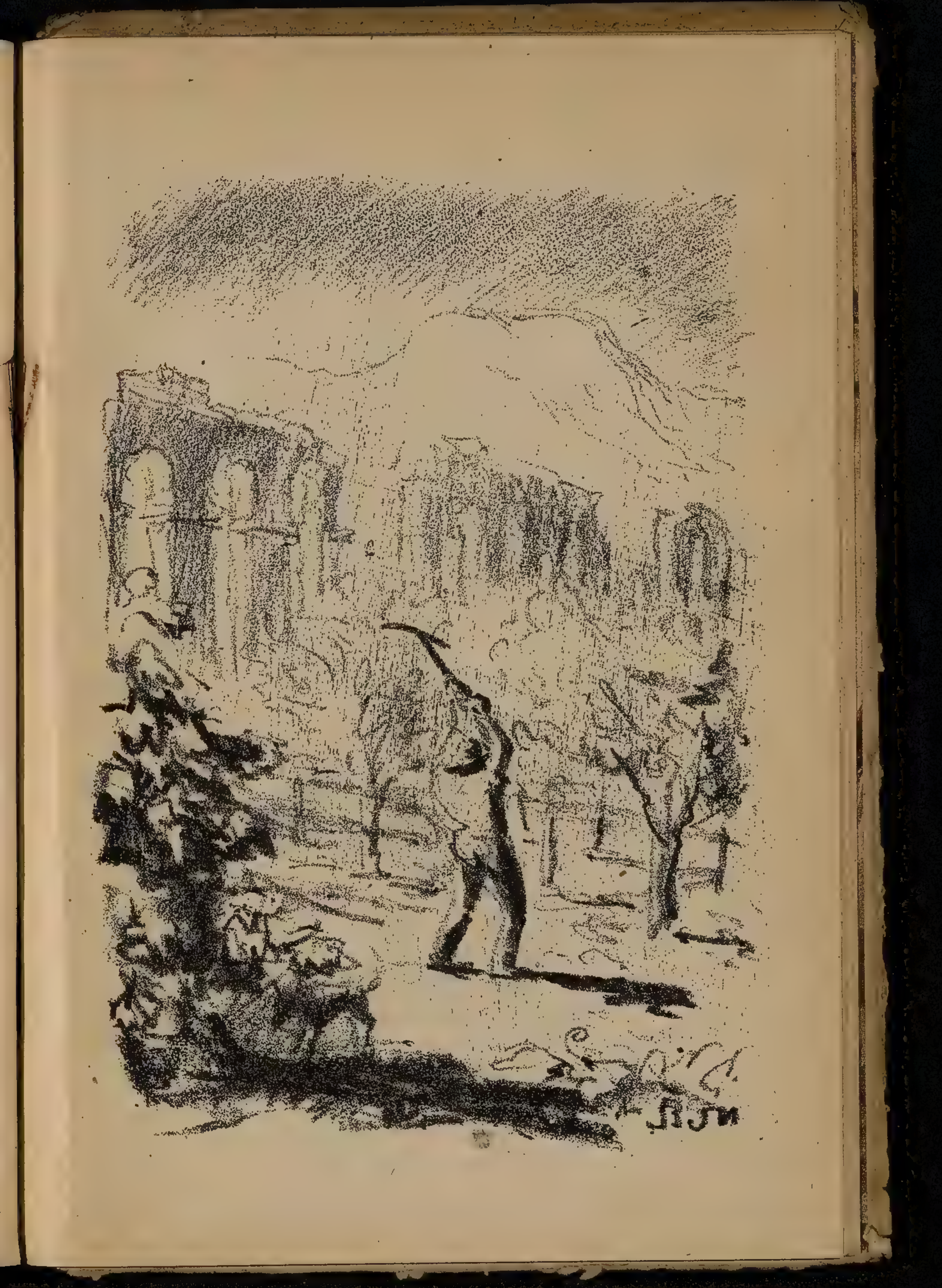
— Нечего больше делать?

— Нет, парнишку отослали: опасность слишком велика.

Они поднимаются вчетвером к последнему оплоту Бастид — отрогу Бурн; он еще не тронут пожаром, но пламя уже атакует его подошву.

С вершины виден раскинувшийся на необъятном пространстве горелый лес: черный, сверкающий раскаленными угольями ковер идет, расширяясь, до околицы деревни, которую раньше, когда были высокие деревья, не было видно отсюда; а теперь она блестит, как обглоданная кость.

*



Это вид с одной стороны.

С другой — нежная зелень, буйные травы, чаща олив; котловина — точно отпечаток женской груди в траве; посредине — Бастиды, а около домов — белое движущееся пятнышко: может быть, Бабета, Юлалия, Мадлон, Маргарита, или просто младшая дочка Арбо играет на площадке.

Огонь поднимается.

Они стоят вчетвером и смотрят. Внизу уже трещат леса. Клинок ветра скользит между стенами Люра, разрывает дым. Пламя прыгает как вода в гневе. Небо несет тяжелый дождь горящих сосновых игл. Шишки летят, шурша, и прорезают полог дыма кровавой чертой. Туча птиц поднимается прямо к небу, в высокий резкий воздух, пьянеет от чистого ветра, падает снова, опять поднимается, крутится вихрем, кричит. Страшное дыхание пылающего костра вырывает целиком и уносит окровавленные крылья; они кружатся, как мертвые листья. Поток дыма взвивается, наваливается на небо, миг колышется на ветру, затем, напрягая землистые мускулы, сопротивляется, раскидывается вширь, и писк птиц в агонии наполняет его утробу.

Жом дрожит с головы до ног.

Как бы желая избавиться от дурного сна, взгляд Мора переносится с котловины на Жома, ощупывает его лицо, ищет надежду в морщинах, в складках под глазами, у рта.

— А твои усы?

Жом фыркает, делает движение, означающее: «Это все та же сила, которая несет смерть и нам, и земле. Мой ус? Он остался там, в огне».

А внизу девочка играет на току Бастид.

— Идем!

Когда Гагу выпустил куртку Жома, он, растерявшись, побежал прямо в дым. Он кричал, как испуганный олень, и вдруг остановился неподвижно, очарованный, весь дрожа от радости. Струйка слюны сочилась из его губ.

Густой полог разорвался. Перед Гагу пылали десять кустов можжевельника. Мигом покончив с ними, пламя прыгает, но теперь это словно десять золотых сверкающих канделябров. Все суки и ветви и сетка тонких веточек превратились в раскаленные угли. Все это продол-

жает стоять прямо, как живые деревья, но вместо черного и неподвижного дерева огненные черви извиваются и скручиваются, свертываются кругами, развертываются, слегка потрескивая. Это так красиво!

— Га-гу...

Гагу приближается, протягивает руки и, несмотря на огненные тиски, сжимающие его ступни, входит в царство тысячи золотых канделябров.

Женщины не ждали этого. Пожар был далеко, и вот вдруг мужчины несутся и кричат:

— Живо, мокрые простыни в окна! Все в комнаты!

Потом они принимаются дубасить землю, как бесноватые, — роют перед домами канаву. Арбо косит сухую траву, свалявшиеся дико растущие колосья, беспорядочными, яростными взмахами косы, как пьяный или безумный.

Бабета плачет. Маргарита всхлипывает сквозь слезы. Юлалия нарушила приказ, она вышла и теперь, рядом с мужчинами, режет серпом траву и кусты, чтобы очистить место перед Бастидами.

У Жома сто рук. Серый липкий воздух несомненно изменяет очертания предметов, ибо Жом кажется огромным и проворным, как допотопный ящер. Он везде одновременно: ударяет заступом, бегает, вопит — слова, которых нельзя разобрать, но все же весело слышать.

«Ну и молодчага!» — думает Мора.

Да, но бедняга борется так яростно потому, что чувствует в глубине души страх и заглушает его неистовством своих движений.

Пока Жом был далеко от Бастид, он боролся против пожара. Пожар — в порядке вещей. А сейчас, прибежав сюда, он увидел прежде всего окно Жанэ, постель Жанэ, в постели белый горб — тело Жанэ.

Тогда он понял, что центр всего, узел, ось неумолимого колеса — эта кучка костей и кожи—Жанэ. Жом только что видел вокруг себя жизнь земли, брызжущую в прыжках зайца, в стремительном беге кроликов, в полете птиц. Под его ногами земля кишит животными: трещат кузнечики, гудят рои ос. Там, на конце старой виноградной лозы зеленая развернутая мантия устремляет к пламени свой хобот, унизанный зубцами, как пила. Ошалевший навозный жук кряхтит у пня; ручьи червей

волнуются под травой. Животные чуют опасность и бегут.

«Скоро мы останемся одни. Против нас поднялся весь холм, необъятное тело холма. Холм качается, как коромысло, и готовится раздавить нам голову. Я его вижу, ясно вижу теперь! Я понимаю, почему с самого утра мне так страшно...»

— Жанэ, ты добился своего, негодяй!

Жом выпрямляется в порыве гнева:

— А мы-то, мы, значит, в счет не идем?

Он хватает цеп. Кулак сжимает деревянную рукоятку. Сила переливается в руке, вздуваясь желваками. По телу бегают мурашки.

Жом идет прямо на пламя, трава горит под его ногами.

— Постой, я доберусь до тебя, гадина!

Жом молотит холм цепом. Вокруг него пламя отступает. Черное пятно дымится там, где обрушивается самшитовая дубина.

— Каналья!..

Удары звенят, и кажется, что холм, поруганный, избитый, наконец побежден.

— Жом, Жом!..

Мора бежит за ним, хватает его за плечи, трясет, чтобы заставить притти в себя.

— Ты с ума спятил, или ты ослеп?

Пора. Пламя исподтишка окружило бойца; еще немного — и оно сомкнуло бы над ним свою огромную златозубую пасть.

Жом прыжком вырывается из пламени.

— Зажигай встречный огонь!

Убегает дружественное пламя, оно бежит из-под их ног, пригнувшись к земле, как боец, который с разбегу кидается на врага, и вот оно обхватывает противника, валит на землю, душит...

— О, ужас! Теперь они повернули и оба бросаются на нас!

Страшный гром потрясает небо. Чудовище-земля подымается, ее широкие гранитные члены со свистом прорезывают лоно неба.

Мора бросает мотыгу и убегает. Коса Арбо со всего размаха звенит по камням.

Хлопает дверь, сыплются оконные стекла.

Сквозь рев бури доносятся крики женщин:

— Отец, отец!..
Трещит листва великана-дуба.
Ноги Жома подкашиваются, голова его пуста. Он грохается на землю.
— Потаскуха! — кричит он, падая, и свирепо бьет гору кулаками.

Жом самым серьезным образом думал, что умер. Он видел уже скалы из серы и кипарисы.
Он лежал распростертый на спине, без дыхания. Воздух бежал мимо его рта, проходил перед его устами, как стена. Все частицы плоти, где образуется жизнь, плясали на бурных волнах его крови. Большие водовороты приносили водоросли, поднятые со дна: жена, повесившаяся перед слуховым окном риги, треугольник зари на ее лице цвета красного вина и движение губ дочери-малютки, когда она в первый раз сказала «папа». Потом громада дыма рухнула на него, и он подумал: «Конец».
После — сразу тишина и дневной свет. И Жом увидел, что он жив.
Он не вполне был в этом уверен; в первое мгновение ему показалось, что смерть почти ничего не изменила, но он тотчас же понял, что не умер.
Он поднялся на ноги, и снова увидел Бастиды: нетронутые. Немного опалило дуб; кроме того, крыша риги дымится и сама гаснет.
Жом с одного взгляда понял, что произошло: водоворот встречного огня, толкаемый тяжестью главного потока пламени, перепрыгнул голую землю и ринулся на фермы, но река огня все же обошла Бастиды и течет теперь влево.
Спасены!
Юлалия бежит через площадку, где дремлет еще болото дыма. Она высовывается из него наполовину.
— Цел ты, отец?
— Цел, дочка.
Мора хохочет, блестя зубами.
— Теперь спускается к Пьервер. Опасность миновала.
— А там ему плохо придется, — говорит Арбо, — не найдет ничего, кроме камня: не разгуляется. С нами — шабаш!
Маргарита выходит из Монж. Она в красной кофте с белыми горошинками, выцветшей подмышками от пота.

Она шагает плоскими ступнями в больших, подбитых мехом туфлях, как будто вытаскивает ноги из глубокой грязи. Она идет, предшествуемая запахом пригорелого масла.

— Я приготовила омлет с салом, — говорит она.

Ели все вместе у Гондрана. И каждый расстегнулся.

— Ну, старина, мне пришлось туго: занималось тут, занималось там, трещало уже у меня под ногами...

— Я соскребал с себя, соскребал, а потом рубаха спалила мне спину...

— Сосновая шишка угодила мне в морду, — стреляло, как из ружья. Сосновая шишка треснула меня у самого глаза...

Они говорят, размахивая руками и стуча по столу так, что стаканы подпрыгивают. Арбо целует Бабету, оставляя черные следы на ее лбу и щеках. Он хочет во что бы то ни стало отнести стаканчик вина и печенье Марии, которая лежит, вытянувшись на тюфяке. Она высовывает из одеяла запястье, тонкое, как нитка, и ее пальчики, похожие на лапки паука, дрожат, сжимая стакан.

— Сегодня это не повредит.

Сегодня — золотой день. Вино, омлет, табак никогда не были так хороши.

— Ты готовишь, как в гостинице, — говорит Гондран, похлопывая Маргариту по ягодицам.

Один только Жом остается хмурым среди общего веселья; мрачная тень легла на его лоб.

Конечно, и он, подобно остальным, ощущает теплую и благоуханную ласку жизни, но горечь тревоги не покидает его сердца.

Перед тем как войти, он посмотрел на Бастиды — невредимые, с их обычным лицом, — четыре дома, прикорнувшие под дубом. Ну, а поля?

Дрались и победили, но удары другого оставили жестокий след.

Со своего места Жом видит постель Жанэ и — Жанэ, как ствол дерева, под простынями.

Только что пытались заставить старика выпить; он прикинулся мертвым. Маргарита настаивала; он резким движением повернул голову, открыл глаза, его взгляд скользнул по ним, ясный и твердый, как нож.

... Наша взяла.

Наша взяла, — очень хорошо.

Чего это стоило — сейчас будет видно. Я боюсь, что это стоило дорого, очень дорого, но, как-никак, наша взяла.

Все тут, целы, но...

Но все тут потому только, что это кончилось во-время.

Как раз во-время: еще немного — и пропали бы все. Еще десять минут — и меня не было бы в живых, и Бастиды погибли бы. Для этого немного было надо.

В итоге это еще один удар, такой же, как источник, как ссора с Мора, как эта дурацкая история с Юлалией,— она с тех пор не выходит у меня из головы, как болезнь Марии.

И на этот раз отразили удар, но с каким трудом!

Кое-что оставили там.

Этот удар отразили. Ну, а следующий удар?

Холм?

Он все там же.

Жанэ?

Он все там же.

Если бы холм ударил немного посильнее, то теперь...

Холм всегда будет там, против нас, со своей великой, злой силой. Он не может уйти, его нельзя победить раз навсегда.

На этот раз наша взяла — завтра он возьмет верх.

Это вопрос времени. Чего мы достигли в конце концов? Протянем еще немного — вот и все.

На этот раз он промахнулся, — немного, но промахнулся. Завтра он хватит нас в самую середку.

И кто знает, может быть, он не станет дожидаться завтрашнего дня.

Может быть, он уже собирает силу в мускулах, чтобы сразить нас одним ударом, прежде чем мы допьем кофе. Тут ничего не поделаешь. Надо, чтобы холм забыл это, и тогда мы будем жить вместе, как жили всегда: добрыми соседями, добрыми друзьями, не делая друг другу зла.

Но пока жив Жанэ...

Гад!

Он сделал все это, — он, своей башкой.

Раньше все шло хорошо. Холм никогда ничего не говорил, никогда ничего не делал во вред нам. Это был добрый холм. Он знал прекрасные песни. Он гудел, как

большой шмель. Он позволял делать с собой что угодно. Но и мы никогда не рыли его очень глубоко: один-два удара мотыгой — пустяк. По нему ходили без страха. Когда он говорил с нами, то журчал, как родник. Он говорил голосом студеных ключей и сосен.

И вот Жанэ понадобилось вмешаться в это дело.

Как на грех, этот проклятый гад знал секрет, как повелеват холмом, как держать его в беспрекословном повиновении и, по желанию, приводить его в ярость. Как на грех, эта паскуда знал секрет.

С минуты на минуту может издохнуть — и все-таки причиняет зло.

Он не хочет уйти туда один: он хочет, чтобы его сопровождали все — женщины, деревья, куры, козы, мулы, — целая свита, как короля...

Конечно, он хочет всех нас потащить на тот свет вместе с собой.

А его жизнь — как нитка.

Надо не дать ему времени...

— Александр, дай твою чашку, — говорит Маргарита, подходя.

«Я не дам ему времени», — думает Жом, и ярость клокочет в его голове.

После кофе — водка из выжимок. На столе бутылочка, которую Жом все утро таскал с собой в кармане.

Гондран шутит, наливая водки:

— Если бы это было молоко, ты сбил бы масло.

Затем пауза. Чиркают спичками, выколачивают трубки об стол.

Час цветет, как луг в апреле.

Вдруг Жом встает. На него смотрят. Он в замешательстве. Бабета не осмеливается окунуть сахар в чашку.

— Мужчины, надо выйти. Мне надо сказать вам коечто важное.

По лицу Жома видят, что дело нешуточное.

Небритые щеки белеют под щетиной, как воск свечи.

— Ладно, идем.

Грузно встают, встревоженные. Неохотно оставляют расцветшие маргаритки этого часа.

— Идем под дуб. Женщинам незачем слышать все. Им скажут, что найдут нужным.

— Разве что-нибудь неладно? — спрашивает Гондран.

— Да, кое-что неладно, — произнес Жом, показывая на землю за Бастидами — голую, покрытую рубцами, черную, дымящуюся.

— Сядем — скоро не управимся. Я не хотел говорить вам этого там по нескольким причинам: во-первых — женщины, потом по другой причине, которую вы сейчас поймете. Я уже некоторое время думаю об этом, но я не знал наверняка. Теперь же я знаю и скажу вам сейчас. Однако прежде я хочу знать, доверяете ли вы мне. То, что я вам скажу, слишком важно для меня и для вас также: неизвестно, будем ли мы единодушны, или нет. Я хочу сказать, верите ли вы, что когда я прошу вас сделать что-нибудь, то я прошу об этом потому, что это правильно и этого требует благо всех.

Жом посмотрел особенно внимательно на Мора.

— Я — я верю, — произносит Мора.

Он искренен: это видно.

— Ты никогда не делал плохого, — говорят другие.

Жом все более и более бледнеет.

— Я никогда не делал плохого — это верно. Я ошибался, как и все, но это нельзя поставить мне в вину. На этот раз я не ошибаюсь. Я уверен в том, что вам скажу. Запомните: я уверен в этом. Мне нет нужды говорить вам о том, что произошло этой ночью и утром. Когда я вам скажу, что мы были на волосок от смерти, то никто не будет спорить, не правда ли? Но не кажется ли вам, что этот пожар — тоже подвох, вроде тех, которые были за последнее время.

— Что ты хочешь сказать?

— Помните, несколько месяцев тому назад мы жили спокойно, все шло как нельзя лучше: хлеба хорошо росли, жили припеваючи между бочкой с вином и кадкой с солониной. Я уж замолвил словечко маклеру из Пертюи о своих абрикосах, он давал хорошую цену. Все было ладно. Вдруг это началось. Если память мне не изменяет, это пошло с того дня, когда Гондран сказал нам, что Жанэ заговаривается. Мы пришли к тебе, слушали его: странно как-то мне это показалось. Вы также, помните, толковали об этом вечером, уходя от Гондрана. Потом произошла эта история с Гондраном, когда он окапывал оливы. Это уже пахло чем-то похуже. После этого —

кот. Затем — источник, Мария, пожар... Источник — это удалось уладить. Девочка — незаметно, чтобы ей было хуже, — не так ли, Арбо? — но и улучшения нет. Пожар неизвестно еще, чем кончится. Когда я увидел кота, я не скрыл этого от вас. Я сказал вам: «Берегитесь холмов!» Но, откровенно говоря, я не думал, что обернется так плохо. Я долго размышлял об этом: что, если теперь, после источника, после болезни, после пожара — еще какая-нибудь напасть свалится нам на голову, что тогда делать?

— ?..

— Нас и без того уже здорово тряхнуло.

— ?..

— Коли говорить начистоту, случись с нами в эти дни еще такая же беда, нам — крышка. Я так думаю.

— Я — тоже, — говорит Арбо.

— И вот что хуже всего: кабы во всем этом не было ничего сверхъестественного, то все уладилось бы. Не вечно же быть беде, рано или поздно от нее избавляются. Но сказать вам правду?.. Все это подстроено против нас, нас и наших семей, против Бастид, вот что. И кем-то, кто сильнее нас.

— Кем же?

Жом смотрит на Гондрана.

— Жанэ, — медленно произнес он.

— Дрянь старикашка, что правда, то правда, — говорит Мора.

Гондран перестает курить.

— Я назвал Жанэ потому, что знаю это, уверен в этом. Я не из таких, чтобы вредить кому бы то ни было ни с того, ни с сего. Запомните хорошенько: я уверен во всем, что сказал, во всем, что скажу: все улики налицо. Я все взвесил, я твердо уверен.

Гондран кашляет.

— Почему ты уверен в этом? Почему? — произносит он едва слышно. — Я не сомневаюсь в тебе, доверяю тебе. Но скажи, почему именно? Я хотел бы знать, то ли это самое, что и я думал.

— Слушай: когда источник умер, мы целый день ковырялись в кустарнике в поисках водяной жилы и, наконец, вернулись вечером с пустыми руками. Я всю ночь ломал над этим голову. Мне казалось странным, что ни-

чего не удалось найти. Наша люрская земля пропитана водой, а мы не нашли ни капли, словно сна из огня. Мне пришло в голову, что за воздухом и в земле чья-то воля шла навстречу нашей воле, и что эти две воли сшибались лбами, как две козы в драке. Наше дело было правое, искали добросовестно, лучше нельзя искать. Почему же тогда мы не могли сломить другой воли? Утром я пошел повидать Жанэ. Он самый старый, он мог знать кое-что полезное. И он знал это, он хвастался этим, но не хотел мне сказать. Когда я не мог вылечить Марию, я еще раз заставил себя пойти поговорить с Жанэ. Большой охоты итти к нему у меня не было, уверяю вас, — раз я уже ушел от него не солоно хлебавши. Теперь он сбросил с себя личину. Вы представить себе не можете, что он мне наговорил! И я увидел его лютую злобу прямо перед собой, лицом к лицу. Он сказал мне, что все мы подохнем и что это доставит ему удовольствие, и что он сделает все, что надо, для этого. Я пытался его уговорить, под конец вышел из себя: как об стену горох... И вот он принялся говорить так, как будто тайна забила из него ключом. Целый мир родился из его слов. Словами он поднимал земли, холмы, реки, деревья и животных, его слова бежали, поднимая пыль всего мира. Это плясало, как вертящееся колесо, я был ослеплен этим. Вдруг я увидел отчетливо землю и небеса, слитые вместе, — землю, где мы находимся, но преображенную, словно покрытую лаком, словно намасленную, скользкую от злобы и зла. Там, где раньше я видел дерево, холм, — словом, то, что видят обыкновенно, попрежнему было дерево, холм, но сквозь них я увидел их грозную душу — силу в зеленых ветвях, силу в рыжих складках земли и ненависть, поднимавшуюся в зеленых ручьях сока, ненависть, трепетавшую в ранах борозд. И потом я увидел того, кто держал колючки в руке и растравлял язвы, чтобы разъярить холм...

Глаза их округлились, рот разинут, губа отвисла, зрачки расширены, руки не двигаются, — они слушают, подавленные призраком фурий травы.

— Я видел, как холм шевелился, — бормочет Гондран.

— ...И Жанэ держит колючки, — кончает Жом. Пот течет по его побелевшему лбу.

— Гад! — произносит Арбо.

Наступает тишина. Со времени пожара тишина стала еще тяжелее, чем раньше; деревья не держат ее больше над головами людей, она давит землю всей своей тяжестью. Потом с черной пустоши доносится вой собаки.

— Ну, и что же?
— Значит, он, — нет никакого сомнения.
— Жанэ?
Гондран кусает руку, огромную руку, бесполезную в этом деле. Наконец он отводит ее ото рта, чтобы дать своей мысли выйти наружу.
— Это так. Я ничего не говорил, но давно понял это. Не так, как ты говоришь, — у тебя котелок варит лучше, чем у нас у всех, но и у меня было подозрение. Ты прав, — это идет от Жанэ, но тут ничего не поделаешь.
— Как ничего не поделаешь?
— А что же?
Под губой Жома появляется и исчезает желтый зуб.
— Его надо убить, — говорит он.
Такого рода мысли не сразу входят в голову.
— Господи боже! — восклицает Арбо, поняв наконец.

После того как произнесено это слово, Жом чувствует, что у него точно гора свалилась с плеч, и облегченно вздыхает. Он сделался вдруг красным, как кумач. На висках вздулись вены, как корни дуба. Жом говорит теперь угасшим голосом, который едва проходит сквозь уста и струится по нему: он кажется олицетворением идеи в покрове из слов, как деревянная статуя святого в мантии.

— Убить его — единственное средство. Может быть, он уже замышляет что-нибудь, что должно убить нас самих. Хотим мы жить, хотим спасти Бабету, девочек, Бастиды? Вот как стоит вопрос. Нам ничего не остается кроме этого, если мы хотим защитить себя. Мы боролись против тела холма, — надо раздавить голову. Покамест голова поднята, смерть смотрит нам в лицо.
— Но это все-таки человек, — говорит Гондран.
— Это не человек, — отвечает Жом. — Люди: ты, я, все мы, — мы бережем жизнь, мы как будто несем лам-

почку, которую задувает ветер, мы заслоняем ее рукой, мы боимся за нее. Держал ли ты маленьких цыплят в руке — тепленьких цыпляток, которые умещаются во впадине ладони? Когда они были там, тебе достаточно было слегка сжать пальцы, чтобы раздавить их. Но у нас никогда не являлось даже искушения сделать это, потому что мы — люди. Он держит в ладони руки не цыплят, а нас, и мы уже почувствовали, как он сжимает пальцы и намерен сжать их до конца. Это не человек.

— Я не спорю с вами, — продолжает Гондран тихо, — я его знаю, недаром я прожил с ним двадцать пять лет. Я согласен с тобой, — от него все идет, и... надо бы его убить, как ты говоришь, если мы хотим избавиться от беды, но он еле дышит. Может быть, не долго ждать, — сам помрет...

— Коли станешь ждать, — бросает Жом, — коли станешь ждать, он будет тебе вредить, пока в нем остается хоть капля жизни. Чем ближе он будет к концу, тем злее будет. Если мы будем ждать, то в один день с ним отправимся на тот свет: он впереди, а мы — сзади, как процессия кающихся грешников. Ему-то что?

— Ты прав, — говорит Гондран. — Я говорю это потому, что он мне тесть, понимаешь? И потом, пожалуй, надо сказать об этом Маргарите.

— Поди к ней. С ним надо покончить сегодня же вечером.

Гондран входит в Монж.

Жом смотрит на Арбо и Мора.

— Надо покончить с этим раз навсегда, — говорит он.

И оба отвечают решительно, как один:

— Да, конечно. И потом — шабаш.

С Маргаритой дело живо уладилось. Когда Гондран входил в Монж, трое мужчин вдруг испугались при мысли о том, что будет с Маргаритой. Они уже видели, как она бросается на траву, протягивает руки вперед и оглашает воздух воплями. Жом заранее обдумал, что сказать ей. «Я скажу ей: — Что же, значит, ты хочешь, чтобы все заросло сорняком? — Я ей скажу...»

Нет, Маргарите не пришлось ничего говорить, дело живо уладилось. Она прибрела, тяжело ступая по траве, и плачет теперь, присев у водопоя.

Они отошли от нее в сторону, чтобы кончить дело.

— Только ты можешь это сделать, — шепчет Жом Гондрану, — тебе он доверяет.

— А чем?

— Руками. Он так плох, что ему немного надо.

— Вот сюда, — говорит Мора, показывая на свой затылок. — Я был мясником в полку, я знаю. Сюда, как кролика. Резкий удар, потом положишь ему подушку на лицо.

— Покажи, — просит Гондран.

Мора нагибает голову и заставляет Гондрана потрогать узел сухожилий на затылке.

— Вот сюда, ребром руки.

А кровь пойдет?

— Нет, если будет резкий удар. Может, капля и будет, не обращай внимания, — клади подушку на голову и нажимай.

Молчание. Все четверо неподвижны. Гондран собирается с духом: шаг — на ноге точно гиря, потом бросается вперед, держа одеревеневшие руки далеко от туловища, точно боясь испачкать об них штаны. Он ступает так, как будто хочет убедиться в прочности земли.

В сером вечере коршун с Люра пролетает, выпустив когти

Крик Хлопает дверь, и Бабета бежит, роняя косынку.

— Он умер! Жанэ умер! Идите скорее!

На террасе появляется старуха Мадлон. Тихо, без особого волнения, делает знак:

— Войдите.

Гондран был у самого порога в Монж. Он отпрыгивает, чтобы быть подальше от двери, чтобы показать, что он тут не при чем, что он не входил, что Жанэ умер сам, своею смертью.

Бабета под дубом: она объясняет, жестикулируя; ее шиньон съехал набок. Она поправляет его, продолжая говорить. И вдруг Гондран испытывает волнение при виде этих, аркой изогнутых над головой, прекрасных рук. Жизнь возвращается к нему, как большая ревущая волна. Его уши полны музыки, и он тяжело садится на землю, как пьяный.

Действительно, Жанэ умер.

Они сняли шляпы. Жом положил трубку на буфет и, так

как она продолжает дымиться, то он выходит на улицу, чтобы выбить из нее пепел, стараясь не шуметь. Маргарита сопит, всхлипывая, без слез.

— Грита, надо его одеть, пока он еще теплый. После он окостенеет. Дай нам его воскресную куртку.

Жом берет труп под мышки, чтобы Гондран и Мора могли надеть на него плисовые штаны, и голова Жанэ валится назад, на плечо Жома.

Его положили на кровать, стянули челюсть белым платком.

— Грита, затвори ставни, зажги свечу. Мы будем дежурить около него, а женщины пусть идут спать.

Гондран роется в ящике комода — ищет трубку.

— У тебя остался еще табак? — спрашивает он Арбо.

Наступает непроницаемая, темная ночь. Вдали, по направлению к Маноску еще горит немного. Сверчок поет на террасе.

Гондран, верхом на стуле, посасывает трубку, закрыв глаза.

А Жанэ попрежнему смотрит на отрывной календарь.

Они оставались так, не говоря ни слова, покуривая, до одиннадцати вечера. И в то мгновение, когда прозвучал последний удар стенных часов, Жом поднял руку и сказал:

— Слушайте...

Снаружи, во тьме, какой-то шум.

— Что это? Ветер? Или, может быть, дождь?

Мороз подрал их по коже.

Они отворили дверь, прислушиваясь. Им пришла одна и та же мысль.

— Бери фонарь!

Вышли на улицу. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, но они хотели удостовериться глазами и руками.

Источник течет.

Мора смотрит по направлению к Монж, откуда просачивается желтый свет — свет свечей, зажженных около покойника, и дотрагивается до руки Жома.

— Не прошло и пяти часов, — говорит он.

По истечении положенных суток, вечером, зарыли Жа

нэ на краю земли, пощаженной пожаром.

Гроб сделал Мора, а Бабета прочла над могилой отрывок из молитвенника.

Гондран сказал Жому на обратном пути:

— Завтра тебе надо бы сходить в Маноск для регистрации. Господин Венсен выдаст тебе удостоверение, потом ты пойдешь в мэрию...

— Я пойду завтра, но только после полудня. Я спущусь на равнину и доеду в банонском дилижансе. Что ты скажешь, Юлалия?

Они вернулись домой. Юлалия, охваченная загадочной тревогой, ходит вокруг стола и смотрит в окно, полное тьмы и звезд.

— Как хочешь...

Но уже с шести часов утра Жом на ногах. Итти в Маноск — дело нешуточное. Надо достать праздничный костюм, расправить складки, отряхнуть нафталин, найти шейный платок, вычистить шляпу, штиблеты, побриться...

Жом взбивает мыльную пену, подливая прекрасную светлую воду источника. Он думает о том недавнем утре, когда Гондран брился вином. Теперь над Жанэ два метра хорошо утрамбованной земли, и ключ снова забил. «Не прошло и пяти часов», как сказал Мора. Жом достаточно намучился; он устал, похудел. Он думает о цветах, о лугах в цвету, о женщинах, которые перекликаются, вороша сено.

— Эй, Жом! — кричит Арбо снизу.

Нервы Жома еще не в порядке, он сильно вздрагивает, но, отворяя окно, видит за дубом бугорок свежей земли в рост человека...

— Что случилось?

— Я только что был в долине Бурн, там мертвец, должно быть — Гагу...

За эти два дня никто ни разу не вспомнил о Гагу.

— ...Его всего объели крысы, как кузнечика. По-моему, это он. Я видел его лицо. Крысы отъели нос. Я узнал его по большому зубу. Я иду сказать об этом Гондрану.

Гагу!.. Значит, не все еще кончено. В мозгу Жома еще сидят слова Жанэ: он умер, а они живы.

«Ну, что же! Еще одно испытание. Лучше уж разрубить и это сразу — немного пострадать, но зато узнать всю правду».

Жом вновь принимается за бритье.

Юлалия входит с кувшином.

Жом говорит, не переставая намыливать лицо:

— Ну и дела, Юлалия! Арбо нашел сейчас мертвого Гагу. Обгорелого. Внизу, в Бурнах. Крысы отъели ему нос.

— Я знаю. Я слышала.

Она ставит кувшин под жолоб.

Жом смотрит на ее отражение в зеркале, не переставая водить кистью по подбородку.

— Где, ты говоришь?

— В Бурнах.

Она идет в угол, где сложены орудия, перебирает их и достает новый заступ.

Жом следит в зеркале за всеми ее движениями.

Она пробует острие заступа, затем идет к двери. Жом оборачивается. Он пытается обернуться медленно, пытается говорить ясно, и глухой шопот прорывается сквозь мыльную пену.

— Ты куда?

— Туда, где, ты говоришь, он, — произносит еще раз Юлалия.

Они смотрят друг другу прямо в глаза. Черты лица Юлалии чуть заметно искажаются, морщинка образуется около рта, ползет кверху, веки вздрагивают. Она потихоньку тянет дверь к себе и спускается с крыльца.

Итак, значит, это правда?

Над Жанэ два метра земли, и уже гниль во рту Жанэ, но слова, посеянные им, живучи, как сорные травы.

«Ты можешь торжествовать, старый пакостник. Ты все-таки пересилил меня. Теперь мне на всю жизнь хватит жевать и пережевывать это».

Его вдруг охватывает желание покорно отдаться ветру судьбы, как шквалу, который подхватывает и уносит.

Только бы немножко покоя! Спокойно посидеть на крылечке, впивая солнце и покуривая трубку!

Юлалия вернулась:

Жом прифрантился. Он гладко выбрит; белый платок, свободно обвязанный вокруг шеи, оставляет открытым красноватый и остроконечный кадык. Плисовая куртка,

долго висевшая в шкафу, вся в складках. На стуле рядом — светлая фетровая шляпа с широкими полями и палка.

Юлалия вернулась. В половине первого.

Прежде чем войти в дом, она тщательно соскоблила плоским камешком землю с заступа.

Отец за столом, один, перед тарелкой с ветчиной и литром вина.

Она идет в угол, где орудия, кладет заступ, вытирает руки о передник, оборачивается...

У нее такое же лицо, как всегда, только верхняя губа заходит за нижнюю. Тонкий рот совсем исчез.

— А супу нет? — говорит Жом.

— Нет, мне было некогда.

Она садится у стола. Руки на коленях. Молчит.

— А ты не хочешь есть?

— Я не голодна.

Она с трудом глотает густую слюну. Тяжелая дума давит ей мозг.

И вдруг, после паузы, произносит тоненьким, жалобным голосом, как будто сама с собой:

— А как же я-то? Что же я буду делать теперь?

Он смотрит на нее — на свою дочь. Это та самая Лили, которая бегала когда-то под яблонями в белом чепце. Она очень некрасива, но под красными веками глаза блестят, как угли, разбитые кочергой.

И, однако, это так. Неужели же ей навсегда лишиться женских радостей?

Пора уходить. Жом встает.

— Юлалия, — говорит он, — послушай: можно взять парнишку из приюта. Лет шестнадцати. Уже совсем мужчина, а из него можно веревки вить, понимаешь?

Жом и Гондран сидят на краю бассейна источника и пьют абсент. Бутылка танцует в светлой воде водопоя.

Сумерки; загораются холодные звезды.

— А хороша наша вода!

Тень Люра покрывает половину земли. Из домов доносятся звяканье посуды и колыбельная песня.

— Афродис посылает девочку в Пертюи, к бабушке, чтобы переменить климат.

— Кажется, пошло на поправку?

— Да, как и остальное.

— А, знаешь, мы оставили у себя кота. Он из Больших Бастид. Помнишь, Шабасю привез мне воз сена? Кот, верно, забрался туда, это его кот. Молодчага! Посмотрел бы ты, как он ловит крыс!

— Когда ты начинаешь пахать, Александр?

— Завтра.

Металлический запах лугового кресса идет от ручейков, образуемых источником. Родник поет протяжную песню о холодных камнях и сумраке. Водопой трепещет, как живой.

Вдруг Жом нагибается и кладет стакан в траву.

— Посмотри... — говорит он тихо.

На склоне, по направлению к пустыне, двигается что-то черное. Кабан.

— А, сукин сын!

Жом уже взял ружье и приложился. Он целит не спеша, с твердым намерением убить. Выстрел раздирает знакомые шумы, бегущие от источника и из домов.

— Попало.

— О, о! — кричит Арбо с поля.

— О! — кричит Мора из олив.

Они бегут вчетвером к зверю, который бьется так, что комья летят.

Это крупный молодой кабан, ощетинившийся, как каштан. Картечь пробила ему брюхо, и кровь хлещет между ляжек. Он пытается снова подняться на ноги и визжит, скаля большие белые клыки.

Мора приканчивает его кривым садовым ножом.

Кабана освежевали, когда он был еще совсем теплый, и разделили между собой тушу. Мужчины вымыли руки в водопое светлой водой. Жом оставил шкуру себе. Он растянул ее на двух ивовых жердочках и повесил на нижнем суку дуба, чтобы роса сделала ее мягче.

Теперь ночь. Свет только что погас в последнем окне. Большая звезда бодрствует над Люром.

Шкура поворачивается на ночном ветру и гудит, как барабан.

Слезы черной крови падают и плачут в траве.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Редактор З. А. Вершинина
Технический редактор Н. И. Гарвей
★
Огиз X—50 № 157. Тираж 8000
Уполномоч. Главлита № Б—31018.
Сдано в набор 27 июля 1933
Подп. к печ. 13 декабря 1933
Форм. бум. 82+110 в $^1/_{32}$
$4^3/_4$ бум. л. на 72000 зн.
Заказ № 2312
19 п. л.
★

ЧИТАТЕЛЬ,

СООБЩИТЕ ВАШ ОТЗЫВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ, УКАЗАВ ВАШ ВОЗРАСТ И ВАШУ ПРОФЕССИЮ,

ПО АДРЕСУ:

Москва. Центр, ул. 25 Октября (быв. Никольская) д. 10/2.

Государственное издательство художественной литературы

МАССОВЫЙ СЕКТОР


21/IV-40

4 руб.

Пер. 50 к.



АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Москва — Центр, ул. 25 Октября, 10

СКЛАД ИЗДАНИЙ:

Москва — Центр, Б. Черкасский пер., 2